

ВРЕМЯ
И МЫ 136
1997



МАРК ГОЛИН
“УБИТЬ ПРЕЗИДЕНТА!”

АМЕРИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХИАТРИИ

ВРЕМЯ и МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

ДВАДЦАТЬ третий год ИЗДАНИЯ

**Выходит один раз
в три месяца**

**136
1997**

НЬЮ-ЙОРК - МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» - 1997

**ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ЛЕВ АННИНСКИЙ	ГРИГОРИЙ ПОЛЯК
ВАГРИЧ БАХЧАНЯН	ЛЕВ НАВРОЗОВ
ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ	ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН
ДЖОН ГЛЭД	ИЛЬЯ СУСЛОВ
ВЛАДИМИР ДОБИН	МОРИС ФРИДБЕРГ
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ	ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ	ЭДУАРД ШТЕЙН
ЕФИМ ПИЩАНСКИЙ	ЕФИМ ЭТКИНД (зам. гл. редактора)
ЯСЕН ЗАСУРСКИЙ	

Главная редакция журнала "Время и мы"
409 Highwood Ave, Leonia,
New Jersey 07605, USA
Тел.: (201)592-61-55
Факс: (201)592-69-58

Московский центр журнала "Время и мы"
Заведующий центром Лев Аннинский
Адрес центра: 117415 Москва,
ул. Удальцова, 16/19.
Тел.: 131-62-45

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Владимир Добин
Адрес отделения: Ha-avot Street 20-6,
Richon Le-Zion, 75323 ISRAEL
Tel.: 03-976-42

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: Rezidence Lorilleux
Esc.U. appt 929, 15 Allee Henri Sellier,
92800 PUTEAUX, FRANCE

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА	
Инна ЛЕСОВАЯ	
Золушка и ее сестра.....	5
Руфь ЗЕРНОВА	
Ах, Самара городок.....	65
ПОЭЗИЯ	
Григорий МАРК	
Летящий медный всадник.....	82
Владимир ДОБИН	
Увижу я солнце вдали.....	87
Ной РУДОЙ	
Последний уличный фонарь.....	92
РОССИЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ	
Владимир ШЛЯПЕНТОХ	
Децентрализация страхов.....	97
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ	
Марк ХОЛМЯНСКИЙ	
О правде войны полвека спустя.....	111
ЛИТЕРАТУРА И КРИТИКА	
Андрей ГРИЦМАН	
Какое время — таков мессия.....	132
Лев АННИНСКИЙ	
Барды.....	145
ИНТЕРВЬЮ «ВРЕМЯ И МЫ»	
Марк ГОЛИН	
«Убить президента!».....	160
ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО	
Джозеф МИТЧЕЛЛ	
Секрет Джо Гульда.....	180
Василий АГАФОНОВ	
Московские картинки — год 1997.....	263
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ	
Владимир ВИШНЯК	
«Где-то часов в девять вечера...».....	274
ВЕРНИСАЖ «ВРЕМЯ И МЫ»	
В. ПЕТРОВСКИЙ	
Casa de Colon.....	282



Инна ЛЕСОВАЯ

ЗОЛУШКА И ЕЕ СЕСТРА

1.

1930 год.

Скрипки полыхнули, лизнули густеющую вечернюю синеву, и запели, закружили, прихватили с собой знобящий речной ветерок...

Девушки придержали на коленях разволновавшиеся маркизетовые юбки, подставили ветру бессмысленно счастливые лица и пышные вьющиеся волосы.

Музыканты, сидящие слева, все посматривали на них поверх своих пюпитров, поверх оранжевых скрипок. Черные фраки на спинах напрягались и морщились, смычки восторженно взмывали и яростно рвали вниз поперек грифов.

Господи! Не девушки, а волшебное видение! И как-то особо интересно казалось то, что их двое, то, что они

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции

© "Время и мы"

ISSN 0737-7061

Сокращенный журнальный вариант повести

совсем разные, а вместе с тем чем-то похожи, хотя старшая, конечно, гораздо красивее. Глаза просто-таки немислимые!

Казалось, весь оркестр играет только для этих двоих.

Ии-ии-та-тим-тата, тим-тата, тим-тата...

— Этот в очках, со светлыми волосами — правда красивый? Он все время на нас смотрит! — шепнула младшая прямо в пышные завитки сестры.

Та усмехнулась, потянула ее за руку.

— Пойдем!

Было странно и даже как будто оскорбительно, что музыка продолжается там без них.

— Зачем мы так рано уходим? Ты боялась, что он пристанет, да, Соня?

По городу вечно ходили жуткие истории: то о ребенке, побежавшем за обручем, то о девушке, отпрянувшей от нахального кавалера. В последние годы к этим историям прибавились новые — с яркой политической окраской: бежавший из тюрьмы бандит... мстительный белогвардеец, пробравшийся из-за границы, подкарауливает старого врага, или просто какого-нибудь ценного ответственного работника...

Глухие стволы стояли неподвижно и беспорядочно, будто замерли, принимая важное решение. Лизочка, младшая, прямо-таки обрадовалась, когда за крутым поворотом наткнулась на милиционера.

Он прохаживался под фонарем, вдоль газона с горящими цветами, вырванными из темноты. Их краски и запахи казались Лизочке нестерпимо яркими.

— Видела?!

— Что видела? — снисходительно улыбнулась Соня, ловя и прижимая к коленям заматававшееся платье.

— Милиционера. Он и сейчас на тебя таращится, даже рот открыл.

Соня фыркнула. Они как раз подошли к первому пролету парадных ступеней. Люди, поднимавшиеся навстречу, смотрели на них. Лизочка знала, что не будь рядом Сони,

на нее бы никто не оглянулся. И этот красивый скрипач не отворачивался бы так беспокойно и не был бы так напряжен его светлый висок.

— Соня! Как я тебе завидую! — в голосе ее не было зависти. — Какая ты счастливая!

Трамвай уже трогался с остановки, но вагоновожатый издали заметил их и подождал, пока они добегают и сядут. В тусклом свете трамвайного нутра, без цветов, без скрипок, без реки, беззвучно движущейся в черной бездне, Соня как-то поблекла. Лизочка бегло взглянула на свое отражение поверх плотной темноты окна и показала себе не настолько уж хуже сестры. Она тут же ужаснулась, возмутилась своей крамольной мыслью.

— Если бы я захотела, — сказала вдруг Соня, будто угадала мелькнувшую в душе сестры тень сомнения, — если бы я только захотела, все эти мужчины, — провела она по кругу подбородком, — сейчас же пошли бы за мной! Выскочили бы на этой же остановке!

Они вышли. Подождали, пока трамвай отъедет, и перешли дорогу.

— Смотри! — дернула Лизочку за руку неугомонившаяся Соня.

По тротуару со стороны их дома шел молодой священник. Шел, торопливо налегая на левую сторону, черная ряса полоскалась, обрисовывая крупное тело.

Лизочка послушно остановилась на перекрестке у гранитной надолбы. Стыдась и восхищаясь, следила за тем, как сестра поплыла ему навстречу. Раз два блеснули глаза на низко опущенном лице священника. Поравнявшись с Соней, он ускорил шаг, но, пройдя еще немного, будто запнулся. Постоял. И повернулся назад, тяжело, неуверенно, неизвестно зачем... Ветер дернул черное покрывало и залепил ему лицо. И тут же Соня, которая не могла ничего этого видеть, скользнула в чужое парадное.

Лизочка ждала, пока священник пройдет мимо. Она чувствовала себя виноватой перед этим красивым большим человеком, чуждым всему вокруг. Она поспешила к парадному, где пряталась Соня. Там было темно, и казалось, что в этой темноте никого нет.

— Со-оня! — позвала Лиза.

— Ушел? — донеслось из-за двери.

Соня шагнула на улицу.

— Фу! — брезгливо поежилась она. — Там такая вонь! и паутина!

Их собственное парадное находилось в двух шагах. Домой не хотелось. Они присели рядышком на подоконнике.

— И как это у тебя получается? — сказала Лиза, любясь освещенным сбоку лицом сестры.

— Ты о ком это? О попе?

— Да так, вообще... Обо всем.

За дверью брякнула цепочка, щелкнул замок. Отец показался на пороге. Страшный, как привидение, в белом белье, с небритым лицом, освещенным снизу керосиновой лампой.

— Что, не нагулялись еще? Не наговорились?

Лиза скользнула мимо отца, на ходу чмокнув его в мятую щеку. Запах родного дома поднял в ней привычное чувство разочарования. Мать заворочалась на кровати и забурчала, будто и не останавливалась никогда:

— Где это видано, чтобы девушки из порядочной семьи так поздно возвращались домой? И ты тоже хорош! Ты отец или не отец?

Девушки зашли в маленькую комнату, захлопнули за собой дверь.

— Как мне все это надоело! — сказала Соня, окидывая брезгливым взглядом старенькую мебель, линялые коврики.

— Да, — подхватила Лиза, — надо тут что-нибудь изменить. Ну хоть шкаф этот допотопный выбросить. Или дверцу новую сделать.

— Хочешь — переделывай, — лениво откликнулась Соня. — Я здесь жить не собираюсь. Как только встречу то, что мне нужно, так и ту-ту-у отсюда.

Сонина головка исчезла в воздушных дебрях стаскиваемого платья. Лиза задумчиво откусила булочку, отпила из чашки компот. Ей было грустно, что сестра в своих планах так легко бросает ее.

— А вдруг ты не найдешь такого, какой тебя достоин? «Найдется, конечно, найдется! — воскликнула мысленно Лизочка. — Увезет ее в Москву... Или даже за границу... Какой-нибудь военный или дипломат».

— Соня, — сказала Лизочка, — ведь ты не бросишь меня? Если ты уедешь, ты будешь сюда приезжать?

— Конечно, — удивилась Соня. — Буду приезжать, буду помогать родителям. И для тебя постараюсь сделать все, что смогу.

— Соня, — помявшись, начала Лизочка, — у меня к тебе просьба... Вот этот скрипач... Сегодня... Ты не могла бы с ним познакомиться?

— Зачем?

— Он мне нравится, — призналась Лизочка. — Ну просто очень!

2.

1937 год.

Илья подошел к окну. Погода была тусклая, несолнечная, но снег почему-то сиял, и это сияние поднималось снизу, как туман, звучало одной непрерывной нотой. Эту идиллическую картину портили уродливые современные сооружения на краю поселка. Идя по дороге от станции, Илья принял их за тот самый пресловутый лагерь, которым командует Лизочкин таинственный супруг.

Илья почти испытал разочарование, когда узнал, что это всего лишь какие-то склады. Можно подумать, что он тащился в такую даль, чтобы поглазеть на лагерь. И это называется: «от города рукой подать»! Три часа мерз в поезде, чтобы передать посылку этой Лизе, сестре своей бывшей жены. Да еще поволок за собой скрипку... Зачем? Играть для нее? Или для ее супруга, начальника лагеря?

Лизочка вошла, тоже отуманенная — паром, валящим из огромного чайника.

— Что же ты не снял до сих пор пальто?!

Илья неловко поежился, стал боком стаскивать тяжелое синее пальто на вате.

— Ну что же ты!

Лизочка уверенно потянула к себе пальто и легко уложила его на диване рядом с черным футляром скрипки. Ей показалось, что седенький каракулевый воротничок хранит запах ее родного дома. Лизочку растрогал этот запах, хоть она и не скучала по дому. Да и не жил Илья, бывший Сонин муж, давным-давно уже в этом доме.

Илья мучился от неловкости. Лизочка видела это, но не знала, как ему помочь.

Она скрипела дверцами буфета, доставала чашки, перекладывала варенье из банки в вазочку. Варенье показалось Илье странным. Видно, из каких-то северных ягод. Но для Лизочки и это варенье, и фанерный буфет, и лес недалеко за окном давно стали привычными, не останавливали взгляд. Все было тихо, сонно, и Лизочкин кокетливый халатик вступал в противоречие с этой туманной гармонией. Халатик. Стрижка. Напряженно стройная спина... Илья поморщился, хотя сходство с Соней было незначительное. Только вот эта напряженная стройность... смело выступающая грудь.

Илья зачем-то снял очки и стал протирать их платком. Лиза с улыбкой следила за его движениями, такими же робкими, как когда-то. И виски были такие же по-юношески нежные, и светло-русые курчавые волосы ничуть не поредели. Лизе очень хотелось их погладить.

— Что же ты не берешь варенье? — ласково спросила она.

— Да-да, я возьму. А из чего это?

— Черемуха.

— Черемуха? — удивился он. — Я думал, из нее только букеты.

Слово «букеты» опять возрождало их к прошлому.

— Какие ты приносил букеты! — мечтательно помотала Лизочка головкой, опирающейся на кулачки. — Я ужасно завидовала Соне! Если хочешь знать, это я тебя заметила первая. Ты сидел с краю во втором ряду. Ты был такой красивый. Такой... вдохновенный. Мне казалось, что я слышу звук твоей скрипки отдельно от всего оркестра. Я влюбилась в тебя с первого взгляда. — Лизочка все

больше возбуждалась и хорошела. — Это я таскала Соню на ваши концерты. Ей вовсе не хотелось!

Илья сделал вид, что поперхнулся, слегка покашлял.

— Вот значит кому я обязан своим счастьем...

— Не передергивай! — шутливо возмутилась Лизочка. — Ты в первый же вечер засек ее! Сам говорил, что после концерта бросился ее искать!

— Да, так и было, — понуро признался он. — Точно помню, что был влюблен, хотя теперь в это трудно поверить. Твоя сестра, Лиза, издали похожа на сказочную фею. Но когда пробьет двенадцать часов... Я все это очень быстро понял... Я не знал, как мне выпутаться, а весь оркестр мне завидовал. Помнишь, как она сидела в первом ряду — с таким видом, будто все пришли смотреть на нее?

— И все смотрели.

— Смотрели.

— Вот потому я и уехала, — рассмеялась Лизочка. — Как бы я ни понравилась мужчине, стоило ей появиться, и он тут же терял ко мне интерес.

— Значит, ты боялась, что при ней останешься старой девой?

— Да нет, — Лизочка помедлила, подумала. — Боялась, что возненавижу ее. Ты понимаешь, вы уже женаты были, а она все равно каждому старалась понравиться. Она просто больная становилась, если кто-то не обращал на нее внимание.

— Так вот почему ты прячешь от родни своего Андрея! Боишься, что Соня произведет впечатление?

— Нет, — медленно и победно помотала она головой. — Просто не хочу никого между нами. Веришь, — у нее вытянулось лицо и глаза строго сузились, — я рада, что нас загнали в такую глушь! По мне, чем хуже — тем лучше. Мне тут даже работать негде. Я весь день знаешь что делаю? Жду его! И больше мне ничего на свете не нужно. Ни мне, ни ему. Я поэтому и детей не хотела. Это, — покосилась она на свой невысокий живот, — случайно вышло.

— Теперь вы, наконец, распишитесь?

— Зачем? Я же сказала: не хочу ничем его связывать. Ну и потом... Он на такой должности... а мои родители... все-

таки у отца была собственная мастерская. Знаешь, — помялась она, — когда тут живешь... сталкиваешься с такими странными случаями. Но дело даже не в этом... Наш дом, мама, папа... Для него это все будет чужое... слишком еврейское.

Илья понимающе кивнул. Он помнил, какое пережил потрясение, когда обнаружил, что у этих двух фей такие дремучие местечковые родители.

— Ты только не подумай, Илюша, что он антисемит.

— А хоть бы и антисемит. Лишь бы ты была с ним счастлива. Ведь ты счастлива? Показала бы хоть его фотографию.

— Да вон же! — ткнула пальцем Лизочка и смутилась.

Еще входя, Илья заметил висящий над трюмо портрет Сони в тяжелой лакированной раме. Знаменитый портрет в «венгерском костюме». Собственно, костюма никакого не было. Только тяжелая шаль, завязанная узлом на затылке и почти до бровей скрывающая лоб. Соня улыбалась через голое плечо. Нижнюю часть плеча прикрывала вставленная в угол рамы фотография мужчины в военной форме. Казалось, Соня спрашивает взглядом: «Ну, кто из нас лучше?»

Илья осторожно вытащил фотографию и поднес ее ближе к свету. Узколицый человек пристально и весело смотрел на Илью. Лучились светлые, длинные, от виска до виска, глаза.

Илья подумал, что совсем не чувствует, не понимает этого человека. Но вслух сказал:

— Да. Тебе повезло.

— А тебе?

Он уклончиво кивнул.

— Она красивая? У тебя ее фотография есть?

— О нет! Самая обыкновенная, слава Богу! Я красотой сыт по горло после Сони. До тошноты! — Илья кивнул в сторону портрета. — Надо же додуматься подарить эту громадину! Твоя сестра обожает портреты. Такой же висел у нас.

— А напротив — твой со скрипкой. Наверное, теперь в твою раму вставили нового ее мужа со всеми его знаками отличия.

— Не угадала! — по-мальчишески свободно расхохотался Илья. — Вместо меня теперь висит Ворошилов!

Он быстро скользнул глазами по комнате: испугался, что допустил бестактность.

— Ты часто бываешь у них? — спросила Лиза. — Они не запрещают тебе видиться с ребенком?

— Нет, не запрещают. — Илья посмотрел на часы. — Но знаешь... Это не мой ребенок. Почему-то Мишка даже лицом похож на этого ее офицера.

— Ну что ж... — вздохнула Лизочка. — Они живут в одном доме.

— Да, и вообще он привлекательнее для Мишки. Герой! Илья потянулся за пальто.

— Ты никак не можешь задержаться? — спросила Лизочка. — Мне так хочется познакомиться тебя с Андреем. Наверное, ты единственный из родных, кого я хотела бы с ним познакомиться.

— Да, жаль, — откликнулся он, не трудясь выразить голосом эту жалость. — Но и так хорошо, все-таки повидались. Скажу тебе откровенно: если бы я знал, что к тебе так трудно добираться, я не взял бы посылку. Но сейчас я рад.

— А я как рада! — подхватила Лизочка. — Как ты думаешь: удобно передать родителям деньги? Я тут собрала все, что было в доме, по всем карманам... — Лиза неуверенно протянула ему увесистую пачку. Илья подумал, что по карманам у них валялось довольно много. — Ты же видишь, какая у нас глушь. Нам и тратить не на что. А знаешь что? Давай-ка я сейчас наряжусь и пойду тебя провожу. Не бойся, я тебя не задержу. У меня есть такая тропинка между сараями, по ней до станции в два раза быстрее.

Пухлый снег между настроенными взброс сараями не был утопан. Илья покорно погружал ноги в глубокие узкие воронки, оставленные Лизочкиными сапогами. Он снова начинал сердиться на себя. Забраться в такую глушь, зачем?

— Видишь, Илюша, — тараторила, не оглядываясь,

Лизочка, — этой дорогой гораздо быстрее. Если Андрюша не на машине, он всегда так идет. А я у окошка жду. Или выхожу ему навстречу.

«Зачем мне это все? — мрачно думал Илья, уходя ногами глубоко в снег и с трудом их вытаскивая. — Кто мне теперь Лиза? Что мне до подробностей ее жизни?»

— ...Я не знаю даже, когда сильнее: когда он рядом, или когда я жду его, а...

Длинный состав поравнялся с ними, грохотом и затхлым ветром разметал Лизочкины слова.

Лизочка мельком глянула вслед эшелону с брезгливым страхом.

— Везут и везут...

Илья сощурился, провожая взглядом черный хвост, быстро уходящий в смежное сияние пустого горизонта.

— У вас большой лагерь?

— Большой, — вздохнула она с досадой. — А теперь еще достраивают. Случается, я не вижу его по три дня.

...— Ну все, прыгай!

Лизочка услышала, как ухнула вниз сумка, скользнула с подоконника. Ноги воткнулись глубоко в невидимый снег, но до земли не достали. И тут же над ее головой ухнули оконные рамы, щелкнули шпингалеты.

Толчок был такой сильный, что ей показалось, будто ребенок вырвался откуда-то и стоит уже на выходе. Лизочке захотелось сесть в снег, чтобы удержать его. Вместо этого она выпрямилась, откинулась назад, высвобождая из снега увязшую ногу и подтягивая за ремень тяжелую сумку. Сумка не проваливалась в снег и помогала удерживать равновесие.

Лиза не оглядывалась. Она знала, что Андрей не смотрит ей вслед. Сейчас он одевается... пошел открывать дверь. Огибая угол сарая, она заметила, что в комнате уже зажегся тусклый свет. За сараями было пусто: ни шороха, ни звука. Сделав еще несколько шагов, она увидела едва заметную цепочку темных пятен. Это были ее собственные следы, протоптанные утром щегольскими холодными ботинками и удобно развороченные широ-

кими ботинками Ильи. Илья... За день она успела совершенно забыть о нем. А теперь думала о его кратком появлении, как о чуде. Она двигалась в возбужденном ритме, освобождающем часть ее существа от усилий, и этой части ее существа казалось, что она догоняет чуть ушедшего вперед Илью.

«Что это я?» — строго сказала себе Лиза и остановилась. Опустила сумку на дорогу. Проверила, не выбилась ли из-под юбки ночная рубаша. Поправила шапку и платок. Дышать носом было больно. Она пошла к станции напрямик, спокойной и уравновешенной походкой, не стараясь казаться меньше и незаметнее. В зале ожидания никого не было. Она подошла к окошку кассы и назвала город, о котором ничего не знала, кроме того, что он находится где-то на Урале. Единственный, который запомнила из трех названных Андреем. Умышленно долго искала в сумке деньги, пыталась понять, что он успел бросить туда в темноте, впопыхах. Не потому, что боялась какой-нибудь там проверки дорожной милиции. Просто хотела знать, с чем начинает новую жизнь. Расплатилась. Вышла на перрон. Вдали уже желтели огни поезда, росли, надвигались. Лиза бросилась догонять свой вагон, уплывший недалеко вперед. Проводница протянула ей руку, помогла затащить в тамбур сумку. Поезд, не успевший толком остановиться, снова раскачался, набирая скорость. Лиза нашла свое купе, поставила сумку, прижалась лбом к ледяному стеклу. В темноте ничего нельзя было разобрать. Теперь это был ее дом на целых три дня. Она поудобнее переставила на столе лампочку под апельсиновым абажуром, достала фотографию и приставила ее к пустому стакану. Затем стала раскладывать вещи на полке. Снова уложила их и поставила сумку в ящик. Платком повязала плечи и наконец легла. Вытянулась под одеялом, прислушалась. Ребенок пошевелился внутри... как-то осмысленно, будто подал знак, что с ним все в порядке. Лиза закрыла глаза и сквозь надвигающуюся дрему вдруг вспомнила, что за сегодняшнюю ночь она ложится второй раз, что она уже стелила постель, устало вытягивалась, что...

Сознание отказывалось объединить все произошедшее в один день. Поезд баюкал и слегка небрежно раскачивал Лизу, она прижималась щекой к нагретой подушке, привыкая к новому запаху, и ей казалось, что это были три разные жизни. Когда-то, давным-давно приезжал на гастроли Илья... а потом, но тоже давным-давно, застучали ночью в дверь, и Андрей замер, но только на секунду. «Конец! Это за мной!» — шепнул он азартно, как игрок, загнавший шар в лузу. Тут же рванулся, задвигался по комнате четко, будто сто раз репетировал все это на учебной тревоге... и она невольно поддалась этому ритму, подчинилась каждому его беззвучному приказу и сама не проронила ни слова, пока он не прижал ее больно в последний раз и жестко проговорил в висок: «Прощай, Лиза! Не обманывай себя. Я — покойник. Не живи прошлым! Сохрани сына! Я хочу, чтобы он был счастливый!» — «Да», — сказала она. — «А теперь — все! Скорее! Прыгай!»

3.

1943 год.

Верочка, всеми позабытая, терпеливо топталась в углу кухни. Незнакомые или просто неузнаваемые в темноте взрослые люди проходили мимо... Высокий лысый старик... Старуха в золотых очках с растрепанной седой косой на спине... Несколько раз она уходила к себе и возвращалась с какими-то пузырьками... Один раз старуха забыла закрыть за собой дверь, и Верочке стала видна чужая комната с повисшим в полумраке оранжевым абажуром, чужая кровать, свисающие с нее мамыны ноги. Склонившаяся над мамой женщина тихо повторяла: «Ну Лиза, Лиза! Возьми себя в руки! Успокойся! Нельзя же так!» И еще чей-то голос: «подумай, Лиза, о ребенке!»

Услышав эти слова, Верочка нерешительно приблизилась к двери. Как раз в это время Лиза присела на кровати, чтобы проглотить какое-то лекарство, протянутое ей в

рюмке. Но, увидев Верочкино личико — тугие овальные щечки, обрамленные двумя кисточками ровных волос, длинные недетские глазки, сплошная голубизна от виска до виска, тонкий, будто застывший в ожидании носик, — она отшатнулась, снова упала на спину и зарыдала еще громче. На Верочку замахали руками, она отступила обратно в кухню и плотно закрыла за собой дверь. Постояла, подумала, сняла пальтишко и шапку.

Маленькая девочка с тоненькими сросшимися бровями испуганно и уважительно следила за ее действиями. Верочка улыбнулась ей поощрительно, и девочка, осмелев, спросила:

— Тебя зовут Вера? А меня — Оля. У вас что случилось — похоронка пришла?

— Нет, — помотала головой Верочка. — Это тетя Соня порвала папину фотографию. И бросила в печку. Понимаешь, папу убили, а у нас другой фотографии нет.

— А почему тебя выгнали?

— Чтобы мама на меня не смотрела, — рассудительно объяснила Верочка. — Я ей папу напоминаю. Я очень на папу похожа.

— Я тоже похожа на папу, — похвастала Оленька.

— Я знаешь почему похожа? — решила выдать секрет Верочка. — Когда мама меня рожала, она все время смотрела на папину фотокарточку. А теперь тетя Соня эту фотокарточку сожгла.

— Твоего папу тоже немцы убили?

— Да, — вздохнула Верочка. — Еще когда была финская война. А твоего на этой войне убили?

— На этой, — неуверенно ответила девочка, не зная, какой вариант предпочтительнее.

Девочки постояли и решили постучать в ближайшую дверь. Стучали осторожно, согнутыми пальчиками. В комнате громко играло радио. Слышно было, как там разговаривают и плюются семечками. «Сколько горя, сколько горя вокруг!»

— Девочки! Где же вы? Ой, бедненькие! Сидят в темноте, тихо, как мышки, и все про них забыли!

Верочка вошла. Посмотрела вопросительно на мать.

Лиза уже сидела на кровати, спустив на пол ноги в чужих балетках. Она чуть виновато поманила к себе Верочку и долго целовала ее гладко расчесанные волосы.

— Ничего, ничего, — суежилась Оленькина мама, маленькая и грудастая, как курочка, Лизина подруга, Клара. Движения у нее были ловкие и сердитые. — Сейчас поужинаем, чаю попьем. Вот у меня свекла сушеная. Такая удачная получилась!

— Спасибо, Клара, я не буду. Мне не наливай, — усталым, незнакомым голосом попросила Лиза. — Веру только покорми.

Девочки лежали на оттоманке, валетом, подпертые двумя стульями. Взрослые говорили тихо, но иногда до Верочки долетали их непонятные слова.

«И зачем ты их сюда перетасщила! Их же в Казахстан эвакуировали — пусть бы там и оставались!» — «Они бы там пропали, Клара! Ты же видишь, родители совсем дряхлые». — «Вот и забрала бы стариков. А эта стерва... Пусть бы поняла, чего она стоит одна!» — «А дети, Клара, дети-то чем виноваты? Умрут от голода. Ты же видишь, какая она». — «Вот именно, я-то вижу. А ты хороша! Как можно было ей доверяться! А вдруг и в самом деле пойдет и заявит?» — «Да брось, Клара! Ведь она все-таки моя сестра! Знаешь, какая она была когда-то! Но вообще-то... Она меня и в молодости предавала. А теперь последнее забрала. А, все равно! Моя жизнь кончена». — «Что значит — кончена! Ты молодая, интересная. Наша заведующая все тебя хвалит. Говорит — ты лучшая операционная сестра. Хочешь, секрет открою... Они мечтают познакомиться тебя со своим сыном...» — «Да о чем ты, Клара! Брось! У меня душа сгорела. Мне только ребенка жалко. Знаешь, Клара, если вдруг меня заберут, оставь Верку у себя».

Утреннее солнце било прямо в окошки, и вся комната — деревянный пол, беленые стены — была испятнана светлыми квадратами.

Соня придвинула стул к двери, поставила на него таз и

залила воду. Сбросила с себя рубашку, с силой заполоскала в воде рукой, как бы взбивая на ней пену, и начала с лица. Сониная тень на облупившейся двери тоже мылась, бережно придерживая клубы волос на затылке, ненадолго застывала, выставляя свой безукоризненный профиль.

Солнце пригревало через окно, но Соня поспешила одеться. Отглаженное платье висело на ширме. Черное, с белым вышитым воротничком. Она осторожно натянула платье, строго его одернула, перевязала мягкую талию витым пояском. Расчесала волосы на прямой пробор. Свернула их по бокам в толстые валики и сзади скрутила в узел, такой тугой, что от шпилек заболел затылок. Потом посмотрела на свое отражение широко распахнутыми, смелыми глазами. Ноздри ее взволнованно затрепетали.

— Товарищи! — сказала она звонким голосом, и ей самой показалось, что это заработало радио. — Товарищи...

Соня опустила голову и заплакала. Ну почему, почему она должна мучиться, почему должна бояться?! Она не может хитрить и увильнуть. Она должна думать о детях.

Дети возились на солнышке недалеко от дома, строили что-то из снега. Господи! Как она могла, Лиза, столько лет скрывать правду! Как посмела подвергнуть такой опасности всю семью! И кто просил ее зазывать их сюда! Прекрасно прожили бы и без нее. В Казахстане и теплее, и с продуктами, наверное, лучше. Нет, Соня хочет честно смотреть людям в глаза. Она не может покрывать врагов — тем более сейчас, когда идет война, когда ее Федор проливает на фронте кровь.

Соня красиво вычесала и уложила двумя шнурками свои высокие густые брови. Наковыряла мизинцем остатки помады из тюбика и с расточительной щедростью провела две малиновые дужки и снизу третью.

— Товарищи! — снова обратилась она к своему отражению. — Вчера мне стало известно... мне совершенно случайно стало известно... — она поднялась и, решительно сдвинув занавеску, сняла с вешалки каракулевый полушубок сестры. Он был чуть великоват на Соню, но

выглядел внушительнее, строже чем Сонино собственное пальто.

В сенях она столкнулась с родителями, и те испуганно шарахнулись в сторону. Видно, сразу догадались, куда она идет. Соня хлопнула дверью и зашагала по узкой дорожке к калитке.

— Я — жена офицера! — твердо произнесла она.

У Сони налились глаза, что-то кольнуло в носу, будто лопнул сосудик. Солнце ярко освещало неулежавшийся снег, каждая снежинка блестела. В такое чистое утро представлялось совершенно невозможным жить дальше во лжи, душившей ее все эти дни. Ей надо было пойти в тот же вечер, сразу, как входят в холодную воду.

Позади заскрипели чьи-то шаги. Соня сразу догадалась, кто это.

— Подожди, красавица, не торопись!

Коротышка Клара — она сразу узнала новую Лизину подругу — задыхалась, пытаясь ее догнать.

— Ты куда это собралась? — кричала она Соне в спину. — Можешь не говорить, я сама знаю. Я тебя насквозь вижу!

Клара чувствовала, что скоро отстанет, и потому начала без обиняков:

— Иди-иди, паразитка! До весны сдохнешь с голоду со своими детьми! Ты же не пойдешь на завод таскать ящики или нянкой в госпиталь, правда? Да тебя и выгонят на второй день!

— У меня аттестат! И пенсия на Мишеньку! — не выдержала Соня, тотчас вспомнив об их с Ильей сыне.

— Аттеста-ат! Пе-енсия! — передразнила Клара. — Может, тебе и хватит, чтобы карточки выкупить!

Соня ускорила шаг.

— Ты учти, — торопливо продолжала Клара, — морковочки в суп тебе не дам! Ни одной картошки! Все лежит в моем сарае! И дрова! Это мы с Лизой заготовили! А ты тут ни при чем! Ты и пальцем не шевельнула!

— Вам никто не давал разрешения сажать в лесу свою картошку!

— Ну пойди, пойди, заяви на нас! Только не забудь рассказать, что ты второй год жрешь эту картошку! А

дрова? На дрова-то было разрешение! Что же ты не пошла с нами тогда? Ты — женщина. Ты не привыкла! А мы с Лизой, наверное, всю жизнь валили деревья? Всю жизнь таскали сани с дровами? Между прочим, твой Федор войну начинал капитаном, а мой — подполковником. И ничего, впряглась вместо лошади! Учти: я ни детей, ни стариков не пожалею! Если с Лизой что случится, Верку к себе возьму, а вы — пропадите! Шубу эту заберу и продам, чтоб содержать ребенка. Все знают, что это Лизина шуба!

Клара остановилась. Режущая боль в печени стала такой сильной, что нельзя было уже и выпрямиться, не то что сдвинуться с места.

Но и Соня вдруг остановилась, вернулась на несколько шагов к отставшей Кларе и закричала сдавленным истеричным голосом:

— Чего ты хочешь от меня?! Чтобы я покрывала жену врага народа?!

Она заплакала, злобно и растерянно, не скрывая лица. Клара смотрела на это лицо, которым привыкла восхищаться, и со злорадством отмечала проявившиеся в нем недостатки: слишком широкие скулы, слишком впалые щеки. Да и в искаженных губах появилось что-то противное, чего она не замечала раньше. Ей даже стало жаль Сою.

— Соня! — сказала Клара новым проникновенным голосом. — Послушай меня. Лизы тут нет, мы можем называть вещи своими именами. Ведь она ему никакая не жена. Расписаны они не были. Мало ли с кем там он спал! Ты подумай: сколько лет прошло! А теперь ты хочешь все разворошить. В какое положение ты ставишь себя, родителей, Федю, мужа своего? Кто тебе поверит, что ты только сейчас все узнала? Смешно!

Клара почувствовала, что сказала именно то, что нужно. Она повернулась и пошла в сторону базара. У скобяного рундучка остановилась. Уголком глаза видела, как Соня стоит среди дороги и наматывает на палец кончик вязаного шарфа.

4.

1947 год.

Где-то среди молодых вишневых листьев назойливо тенькала птица, будто точила что-то. Соня распахнула настежь окно, стала протирать подоконник. Пересохшие остатки краски шелушились и приставали к мокрой тряпке. Уже два года как вернулись домой, а все никак не сделают ремонт.

Высокий хмурый дом слева накрывал двор огромной сиреновой тенью. Только в дальнем конце лучился и сиял косо отрезанный угол, в который попадала половина двухэтажного флигеля. Оттуда и весь двор наливался отраженным, как бы тайным сиянием радости и праздника. В начале лета каждое утро — праздник. Тем более, когда в доме гости. Соня обмерила ласковым взглядом Лизин чемодан, пирамидку дорогих консервов на углу стола. Заглянула в комнату. Лиза все еще спала с Верочкой в обнимку.

Напрасно Соня послушалась ее. Надо было постелить им по-человечески. Соня прошла на цыпочках в комнату, умиляясь на собственную нежность, накинула фланелевое одеяльце на зябко подтянутые плечики племянницы, налитые коленки сестры. Непонятно было, из чего сделаны Лизочкины чулки. Дорогие, наверное. Там, где дело касается тряпок — Лиза всегда первая. Всегда устроится так, что все ей завидуют. Тот лагерный дарил каракулевые шубы, этот — хирург, идет в гору.

Соня стала разбирать консервные банки. Она остановилась на шпротах. Сперва хотела их припрятать и съесть после отъезда Лизы. Для Лизы коробка шпрот — не событие: старик — профессор, начальник облздрави, старуха — доцент, гинеколог. Гинекологи сейчас в золоте купаются. Попасть в такую семью! И ведь кто-кто, а Соня отлично знает, что сестра не приложила к этому никаких усилий. Все устроила старуха. Соня вдруг подумала, что если бы не та ссора, Лиза не перешла бы жить к Кларе, не сблизилась бы с матерью Сергея и ничего бы у них с

Сергеем не было. С легким злорадством она вспомнила страшное от рыданий лицо сестры, низкий рвущийся голос: «Что же ты со мной сделала! У меня же после Андрюши никогда никого больше не будет!»

Соня испытывала некоторое недовольство общим устройством жизни, но не завидовала сестре. Даже напротив — ждала, чтобы Лиза скорей проснулась и рассказала ей что-нибудь необыкновенное, чем можно было бы похвастать перед соседями. Она снова заглянула в комнату. Лиза уже не спала. Мать сидела рядом с нею на диване, отец — спиной к Соне, за столом.

— Ты знаешь, что случилось? — повернулся отец на скрип двери. — Он, оказывается, умер!

— Василь Василич?! — всплеснула руками Соня.

— Нет! — досадливо мотнул головой отец. — Сын! Сережа!

— Как — Сережа?! — искренне испугалась Соня. — Ты же писала, что он демобилизовался!

— Демобилизовался, — ответила с неохотой Лиза. — Демобилизовался, потому что заболел. У него оказалось белокровие.

— Как же это?! — заметалась Соня. — Пройти всю войну!

Она бросилась на родительскую кровать, забилась, закаталась в истерике.

— Соня! Соня! — запричитала над нею мать. — Разве тебе можно?! Ты же в положении!

Соня хрипела что-то, теперь уже про Илюшу. Лиза машинально посмотрела на то место, где когда-то висел портрет Ильи со скрипкой. Там торчал лишь одинокий гвоздь. Видно, Ворошилова выставили те, кто занимал квартиру во время войны. А, может, Илья тогда шутил? Сонин портрет в «венгерском костюме» висел там же, где всегда. Зачем-то Лиза стала высчитывать, в каком году он был сделан.

Кто-то подошел к ней сзади, маленькие ручки пояском сомкнулись на Лизиной талии.

— Это ты, Боська?

Она развернулась, потрепала племянника за уши, запу-

стила растопыренные пальцы в густые светло-русые кудряшки. Серые глазки с бессмысленным обожанием уставились в лицо Лизы.

— Тетя Лиза! У вас новый муж умер, да?

— Да, — кивнула Лиза и подумала, что в Борькином простодушии все заметнее проступает патология.

— Но ведь это не Верин папа умер, правда? Веринного папу на войне убили. У нас с Мишей первого папу тоже убили, — удовлетворенно добавил он, ожидая похвалы.

Лиза поцеловала его в нежный височек и в который раз удивилась: почему этот второй Сонин сын Боська так похож на покойного Илью? И еще она подумала, что так сильно любит Бореньку именно за это сходство, хотя самого Илью уже почти забыла.

Кутерьма в комнате как-то неестественно резко улеглась. Соня просохла так же быстро, как разошлась, и уже тараторила — правда, без праздничного возбуждения. Накрывала на стол. Кроме миски винегрета и баночки Лизиних шпрот подавать было, в общем-то, нечего. Лиза села на «свой» стул.

— Шпроты будешь? — энергично поинтересовалась Соня.

— Нет.

Соня не стала уговаривать

— А я — буду! — затараторили Боря с Верочкой. Миша, всегда напоминавший своим присутствием Илью, солидно промолчал.

Себе Соня положила сразу несколько рыбок. Дети смотрели в ее тарелку с печальным недоумением.

— Это вашему братику будет, — попыталась смягчить неприятную ситуацию Лиза. — Ведь у вас скоро братик родится или сестричка.

— Зачем ты говоришь такое детям? — смущенно запротестовала Соня.

Лиза почувствовала, что завидует сестре. Носить... Кормить ребенка... Ничего этого у нее уже не будет. Ее жизнь кончена.

Под домом резко затормозила машина.

Соня, пришаркивая, поспешила к окну, потом — к дверям. По дороге всех ошастливила:

— Федор!

Федор вошел в комнату, суровый, с поджатыми в официальной скорби губами. Отдал Соне новенькую офицерскую фуражку, энергично пригладил зачесанные назад волосы.

— Крепись, Лиза! Соня мне только что сказала. Да. Пройти всю войну и умереть от какой-то болезни! Обидно!

Он ненадолго прижал Лизу к своим ремням и колодкам, похлопал ее по плечу. От него пахло необношенной кожей. Начальник.

— Да... — сказал он, принимаясь за винегрет и не выказывая никакого удивления по поводу шпрот. — Не повезло. Ты хоть успела с этим Сергеем расписаться?

— Нет.

— Как же так? — огорчился он. — Теперь ты не имеешь права на жилплощадь. А так могла бы подать в суд. Сейчас, если попадается свободный мужчина, он ищет женщину с квартирой, с обстановкой. И попробуй найди такого, кто пойдет на чужого ребенка!

Верочка, и без того придавленная густым голосом дяди, испуганно заморгала.

— Федя, — сказала Лиза как можно спокойнее, — я не собираюсь у вас жить. Мне нужно только прописаться.

Клара с Лизой, сидя на диванчике, умиленно посматривали, как девочки, приложив ухо к уху, примеряют, у кого косы длиннее.

Девочки подтащили табуретки к окну, взобрались на них, положили на подоконник локотки.

— Ну посмотри, Лиза, посмотри! Разве ради этого не стоит жить?

— Конечно, стоит. Я и не хочу ничего другого. Просто устала, Клара. Ты понимаешь... Умирал Сережа почти три месяца, и я от него не отходила. Господи! Как это было ужасно!

Клара все-таки не выдержала и спросила:

— Ты любила его, Лиза?

— Не знаю... — ответила Лиза очень просто. — Когда мы познакомились... как-то все происходило помимо моей воли... само собой. Мы почти не говорили. Потом прогулялись вечером. Сережа ждал меня возле госпиталя. Я как раз задержалась после дежурства. Вдруг он стучится ночью. За два дня до отъезда. Ты понимаешь, человек возвращается на фронт. Я так и чувствовала, что он не будет жить. А тут еще его родители стали относиться ко мне как к невестке.

Он раньше выглядел таким мужественным, уверенным. А он был ребенком, Клара! Милый, умирающий ребенок...

Лиза наконец заплакала. Тихо, беззвучно. Не так, как когда-то из-за порванной фотографии.

С крутого спуска съезжали трамваи и сворачивали как раз у Кларинаго дома. И Лизе каждый раз казалось, что трамвай с разбегу врежется в низкое окно подвала.

— Между вами... что-то было? — не справилась с любопытством Клара.

— Чего только не было... — невразумительно отозвалась Лиза. — Я так хотела хоть что-нибудь... хоть как-то его удержать... Вот сейчас я тебе точно скажу: я его очень любила... но, когда он умер, я уже через день стала думать об Андрюше... Как же я могла со всем этим остаться у его родителей? Тем более что у меня есть и мать, и отец, и сестра. Я не ожидала, что они так поступят с нами.

— Ты на меня не обижайся, но я твою родню никогда не уважала. Когда ты с ними помирилась... после этой истории с фотографией... Я готова была тебя разорвать!

— Да куда ж мне было деваться? Как раз Федя приехал в отпуск после госпиталя. Я прихожу к ним, а в доме есть нечего. Соня моя разоделась, нарядилась, как невеста, расселась на стуле, а его дрова колоть послала. Я побежала за дом, а он там стоит, курит, злой, как черт. Хотел уехать в тот же день. Я его еле удержала.

— И напрасно! Пусть бы бросил ее. Я бы посмотрела, что она сейчас бы делала. Сама бы тебя звала! Не знаю... По-моему, лучше бы тебе в Харькове остаться. Были бы у ребенка бабушка и дедушка. А тут что? Разве это родные? Почему твой отец не сказал: «Это моя квартира, и Лиза

имеет на нее столько же прав, сколько и вы! Даже больше! Как вдова с сиротой».

— Да о чем ты говоришь? Я и не собиралась с ними жить! — разволновалась Лиза. — Там такая теснота.

— Не знаю! Неужели в комнате стариков нельзя было поставить две раскладушки? А если бы меня здесь не было, куда бы ты делась?

— Даже и не знаю. Честное слово. Но ты не думай. Это только на первое время, пока я устроюсь и сниму угол.

— Как тебе не стыдно! Ты меня обидишь насмерть! Чего тебе тут не хватает? — Клара обвела широким жестом свое продолговатое жилище с марлевыми шторками на приплюснутых окнах под потолком. — Если захочешь, можно будет для вас с Верой занавесочку вон там повесить. Ты думаешь, что у хозяйки будет лучше?

В комнате вдруг потемнело. В окне показались две пары ножек, затем две косо склоненные головки.

— Ма-ам! Можно снять кофту? На улице жа-арко.

— Давай, — разрешила Клара.

Оленька быстро высвободилась из своего синего джемпера и бросила его в окно.

— Мам! А у Оли летнее платье, а у меня — зимнее, — тут же заканючила Верочка. — Все уже ходят в летних платьях!

— Ну ладно. Иди сюда.

Лиза открыла чемодан. Нужное платье оказалось сразу под крышкой, аккуратно разложенное.

— Ты думаешь, ей жарко? — усмехнулась Лиза. — Просто хочет надеть новое платье. Это я сама сшила.

— Прелесть! — восхитилась Клара. — Хоть помещай в журнал мод! Смотри — почти не помялось.

— Помялось! — заспорила подросевшая Верочка. — Тут и вот тут надо погладить.

— Давай утюг, — покачала головой Лиза. — Она не отстанет.

Верочка, поспешившая снять с себя платье, ежилась в беленькой рубашечке, вправленной в трусики. Лиза обняла ее, но Верочка вывернулась, поспешила облачиться в обновку и ушла вместе с пригорюнившейся Оленькой. Клара пошла закрыть за ними дверь и, удивленно улыба-

ясь, следила за тем, как Верочка поднимается по лестнице, стройно ступая тяжеловатыми ножками и крепко сдвигнув лопатки.

— Послушай, Лиза, — сказала она. — Ты замечаешь, какая походка у твоей красавицы?

— Ой! Такая растет кокетка! — с притворной досадой вздохнула Лиза.

— Моя Олька по сравнению с ней — просто пупс бесформенный! Это же маленькая женщина! Талия, попка — все на месте. Скоро пойдем покупать ей лифчик!

5.

1963 год.

В уютный тупичок коридора свет проникал только из-за угла. Грохот оркестра и бряцание свадьбы доходили будто издали.

Повзрослевшие Кларина Оля и Верочка сидели на столе. Им были хорошо видны все четыре окна зала. Огромная белая голова Ленина с воинственным любопытством устремленная в зал, пугающе нависала над женихом и невестой.

Женские шаги быстро прошаркали по коридору, зазвякали пустые бутылки.

— Вот вы где! — радостно вскрикнула Соня. — А я уж думала, что вы ушли. Ну, как вам свадьба? А невеста? Правда, Женечка прелесть? А как тебе, Оленька, жених?

— Ой, тетя Соня, ваш Борька — просто красавец!

Соня удовлетворенно поджала губы.

— Да, Боря интересный. Но если бы ты видела моего младшенького, моего Юзеньку! — она налилась внезапно слезами. — Ему служить еще полгода. Мне кажется, я столько не выдержу! — И тут же расцвела. — Как только он вернется, у нас будет еще одна свадьба! Он познакомился по письмам с одной девушкой. Из Гусятина. Такая любовь — я вам передать не могу! Нэлечка... Я ее еще не видела, а уже в этой Нэлечке души не чаю! Я Мише прямо сказала: «Миша — ты старший, ищи себе женщину с квартирой и

освобождай мне комнату. Я буду жить только с Юзенькой, Нэлечкой и их семьей!» Вы знаете, что Миша снова развелся? Это была у него уже вторая. Весь в папочку, в Илью! Он ведь у меня от первого мужа, — доверительно пояснила Соня. — У меня, Оля, первый муж погиб. Он был такой интересный! Скрипач, — голос ее задрожал и так же внезапно выправился. — Но Федя гораздо лучше! Ты бы видела, как он выглядел в военной форме! Он был большим начальником! Его очень, очень обидели! Когда надо было кровь проливать, он им был достаточно грамотный, а как...

— Теперь понятно, — сказала Оля, — почему дядя Федя такой мрачный.

— Ерунда, — пожала плечами Верочка. — Его выперли из армии десять лет назад. Так о чем я... — поморщила она переносицу. — Ах да! Ты не думай, что я с ним встречалась ради того, чтобы за границу уехать. Он мне нравился. Он из интеллигентной семьи. Родители учились в Сорбонне. Прекрасно воспитан, очень элегантен. Вообще, ты замечала когда-нибудь, как бывают элегантны негры? Это что-то такое... в крови, природный артистизм.

Оля растерянно кивнула, круглые глаза ее от изумления раскрылись, как цветы.

— Вер! А как мама на это смотрит?

— Мама? — Верочка вытянула ногу, носком золотистой туфельки коснулась подоконника. — Что она может предложить мне взамен? Инженера? Бухгалтера? Ты представь себе всех этих мужчин, которых встречаешь в институте, на улице. Вспомни хоть одного, который подходил бы мне!

Верочка встала и выпрямилась, как бы давая Оле возможность рассмотреть свою странную фигуру: высокие, массивные ноги, округлый, необычайной ширины таз, неожиданно переходящий в тончайшую талию.

Оля подумала, что для этой талии, для узких покаты плеч вроде бы совсем не подходит крупноватая грудь, но как-то все оно вместе выглядело удивительно складно, включая невероятно длинную шею и узкое овальное лицо, дополнительно вытянутое узлом каштановых волос на затылке.

— Вот видишь! — сказала Верочка.

Длинные ее глаза, как бы без белков, как бы сплошное голубое сияние от виска до виска, удовлетворенно улыбались. Она опиралась левой рукой о стену, и рукав ее черного платья, отороченный широкой полосой золотистого кружева, свисал, как раскрывшийся веер.

— Вся эта страна не для меня! Куда ни пойдешь, везде на тебя таращатся! Вот знаешь, я нарочно так одеваюсь, всем назло! Я иду по улице, и на меня все бабы плюются. Пару раз даже милиция остановила. У меня был такой наряд: длинная юбка, желтая, начиналась вот тут, чуть ниже талии, и коротенькая оранжевая блузка, наподобие индийской. Я еще и чалму иногда наматывала. Знаешь, они меня даже в «Окне сатиры» так изобразили!

— А на работу не сообщили?!

— А как же! Даже собрание устроили. Я им предложила голосовать отдельно: против блузки, против юбки и против чалмы.

— Господи! И чем же это кончилось?

— Да ничем. Поругали для вида. У нас народ интеллигентный, все понимают. Почему я обязательно должна быть, как все? У нас и так не страна, а инкубатор! — она кивнула в сторону зала. — Ты посмотри, как они одеты! Платье полуприлегающее, рукав три четверти. И еще дурацкая пуговица у шеи! Это же униформа, только разного цвета! И мозги у них такие же, полуприлегающие. С пуговицей!

Оля порадовалась, что не настояла на своем, не обредела рукава до модной длины.

— Мне тут скучно, мне тут делать нечего, понимаешь? — не горячася продолжала Верочка. — Я все равно отсюда уеду!

— Женечка! Иди сюда, лапочка! — раздался совсем рядом чуть насмороочный голос жениха. — Ой! А тут оказывается — вы!

— Пойдем, Боря, — смутилась Женечка, невеста. — Не надо им мешать.

Чувствовалось, что ей хотелось бы остаться.

У Женечки было широковатое, но очень благодородное

личико. За толстыми стеклами очков виновато моргали милые глаза. Она все поправляла на плечах белый шарф, призванный скрыть небольшой горбик. Портит ее, собственно, не горбик, — просто приплюснутое туловище было слишком коротко для красивых, мягко вылепленных ножек и ручек.

— Побудьте с нами! — попросила Верочка. — У нас нет никаких тайн.

Она замолчала, придумывая, с чего бы начать новый разговор. Почему-то вдруг стал очень слышен звук дождя.

— Пойдем к гостям, неудобно, — вздохнула Женечка.

Боря не отозвался. Он стоял у окна, подставив лицо влажному потоку воздуха, и вдохновенно шурился в темноту. Встряхнувшись, вспомнил, наконец, о присутствующих:

— Ну как вы? У вас все хорошо? Я рад, — кивнул он. — Я очень рад. Вы знаете, что мы купим за тети Лизины деньги? Электробритву. Это гораздо удобнее! Ну ладно, мы пойдем... — он бережно взял Женечку за локоть.

— Подумать только! Это тот Боренька, который когда-то утопил валенок в сугробе! Помнишь, Вера? — сказала Олечка. — Тебе не кажется, что он чем-то похож на князя Мышкина?

— Не кажется. Он, конечно, идиот, но никак не князь Мышкин. Вообще мои братья...

Где-то внизу монотонно засигналила машина.

«Мышкин» вернулся. С зонтом.

— Пойдемте скорее! За вами приехало такси!

Лиза и Клара уже стояли в пальто.

— Мы тоже едем, — возбужденно пояснила дочери Клара. — Они нас подвезут.

Соня, не удовлетворенная таким скомканым финалом, бросилась за ними на улицу, прямо под дождь, зябко обнимая себя голыми по локоть руками.

— Простудишься! — испуганно повторяла Лиза. — Иди, иди скорее!

Но Соня обнимала сестру, будто прощалась с ней навеки. Ко всему этому Боря прибавлял суматоху, пытаясь всех накрыть одним зонтом.

— Сначала час ищи эту дыру, потом жди, пока они расцелуются, — забубнил было шофер и умолк: литая Верочкина нога двинулась на него из сырой осенней ночи.

Лиза и Клара с Олей разместились на заднем сидении. Жених, галантно помогавший женщинам сесть в машину, под конец еще и сунулся внутрь: проверил, как они там устроились.

— Иди же, Боренька, — попросила Лиза. — У тебя уже мокрая спина. И вот еще... Запомни, Боренька: у Женечки, конечно, есть недостаток, но ты должен понимать, что она выше тебя на три головы.

— Какой недостаток? — светло удивился Боря. — Вы знаете, она умеет играть на пианино!

Он говорил бы еще, но шофер включил зажигание. Машина тронулась.

— Нет, подумать только, как тесен мир! — откинулась на спинку сидения Клара. — Мы до самой свадьбы понятия не имели, что Женечка выходит за Сониного Борьку. Я, когда в зал вошла, так вся и обомлела! Смотрю — Соня стоит! Точно такая, как была, только поседела чуть-чуть. Но ей так даже лучше. Между прочим, Лиза, ты тоже совсем не изменилась. Мы сколько не виделись? Лет десять?

— Ну что ты! Хотя... — Лиза задумалась. — С тех пор, как мы переехали на Ереванскую.

— Да... Так вы бы видели, какой Соня подняла из-за нас тарарам! Усадила меня рядом с собой и такую чепуху несла весь вечер, что у меня уши вяли! Я ее спрашиваю: «Почему Лизы нет?», а она говорит: «Ты же знаешь мою сестру! Она дружит только с высокопоставленными! С тех пор, как Федю выжили из армии, она нас знать не знает!»

Оля потихоньку дернула мать за рукав.

— Вообще, ты меня, Лиза, извини, — продолжала Клара, — но у твоей сестры какой-то особенный склероз! «Моя, говорит, Лиза тогда где-то разнюхала, что из подвалов будут выселять в первую очередь, и переехала, Клара, к тебе, а мы, говорит, остались в квартире без удобств!»

— Ой! Бог с ней, Клара, — мягко улыбнулась Лиза. — Ты же знаешь Соню.

Верочка обернулась к ним, задевая своим пышным узлом потолок машины.

— Жаль Женечку. Чокнутая свекровь, чокнутый муж... Она не должна была выходить за него.

— А куда ей было деваться? — вздохнула Клара. — В ее возрасте и здоровой девушке трудно найти себе достойного человека. Что это за жизнь: без мужа, без ребенка.

— Вот я о ребенке и говорю. Кто может родиться от моего братика? Только какой-нибудь неполноценный. Я бы на ее месте нашла нормального человека и родила бы от него.

— Верочка! — тихо возмутилась Лиза. — Ну что ты такое говоришь? Просто помешалась на этой «наследственности»! Когда я была студенткой, считалось, что вся эта генетика — абсолютная ерунда.

— Ну как же ерунда? Я ни разу в жизни не видела папу, а ты сама говоришь, что я — его копия. Кстати, тетя Клара, вы видели ту фотографию. Я действительно так на него похожа?

— Да, глаза такие же. И улыбка.

— Бандитская, — со страстью добавила Лиза. — И характер такой же.

Машина чуть не проехала мимо парадного Клары.

— Вот здесь, здесь остановите.

Дождя уже не было, только ветер срывал с мокрых деревьев крупные капли.

Клара отперла дверь, с неудовольствием осмотрелась в передней.

— Все! Решено! Возьму деньги в кассе взаимопомощи и сделаем ремонт.

— Ты пригласила их к нам? О чем, мама, вы шептались с тетей Лизой?

— Она обещала показать меня профессору Абхакадзе.

— Аа-а... — протянула разочарованно Оля и стала расшнуровывать туфли.

Постель была холодная. Оля вытянулась, потом свернулась калачиком. Она чувствовала, что уснуть так скоро не удастся.

— Мам, я вот все думаю... Что, от Борьки действительно может родиться умственно отсталый ребенок?

— Чепуха! Все дело в воспитании. Возьми хоть Сониного старшего, Мишку. Обратила внимание, как он похож на Федю? Те же ужимки, те же шуточки. И как он волосы все время поправляет! Все потому, что с детства ему подражал.

— Зато Борька на отца совсем не похож.

— Борька? — Клара спустила с плеча шлейку лифчика. Помолчала, подумала. — Лиза всегда говорила, что он похож на Сонькиного первого мужа, скрипача.

— Что ж, — улыбнулась Оля. — Может, Соня где-то встретилась с ним и по старой памяти...

— Нет, — уверенно перебила Клара. — Она все-таки не такая. К тому же говорят, что Юзя, их младший, и Борька очень похожи. А Юзя вообще родился после войны... Жалко, что его не было на свадьбе. Сонька уверяет, что он просто красавец.

— Они все красивые. Только Миша зря наставил себе полный рот серебряных зубов. Я вот так смотрела на них сегодня: если о них ничего не знать, можно подумать, что это какие-то... молодые ученые...

— Как Сонька... — рассмеялась Клара. — Ее встретишь на улице — подумаешь, это актриса какая-нибудь. А ведь она даже как хозяйка — полное ничтожество. Они же у нее все по столовкам питались! Кто в школе, кто на работе. А в воскресенье она уж, так и быть, соизволит сходить к трамвайной остановке, накупит полную авоську пирожков «с мясом» по пять копеек и пару бутылок лимонада. Это у нее «праздничный обед»!

— Но теперь уж Женечкина мама Рахиль Давидовна Борьку откормит.

— Это точно! Борьке повезло. Да и Женечке тоже, я считаю. Конечно, ей не с кем будет слово сказать, но выйти с Борькой на улицу, показаться на людях — это ж одно удовольствие! Пока он рот не раскроет, никто и не догадается, что он из себя представляет. Да и муж он будет неплохой. Ты заметила, как он с ней? «Лапочка», «кошечка». Ручки целует.

— Нет, — сказала Оля. — Я бы на Женечкином месте не вышла замуж за такого. Или хоть ребенка родила от кого-нибудь другого, не стала бы рисковать.

— С ума сошла! — подскочила Клара. — Я смотрю, Вера тебя сильно просветила за сегодняшний вечер. Может, и ты начнешь с неграми гулять?

— Тебе кто это сказал про негра? Тетя Лиза, что ли?

— Да нет, конечно. Соня. Я спросила, где Вера взяла такие кружева и туфли. Ну, она и сказала, что Вера гуляет с очень богатым негром.

— Вот врунья! — возмутилась Оля. — Во-первых, Вера с этим негром давно уже не встречается, ему родители не разрешили на ней жениться, а без их разрешения Вера не захотела. Во-вторых, кружева эти знаешь что? Кромка от старых занавесей. Вера их сама покрасила. И туфли тоже. Она смешала бронзу с лаком для ногтей.

— Молодец! — одобрительно крякнула Клара. — И подать себя умеет. Как она в зал вошла! Королева! Другая с такой попой стеснялась бы из дому выйти. А Вера еще и платье шьет, которое обтягивает ее со всех сторон! Ведь если разобраться, она просто уродливо сложена!

Чем-то Оле приятны были слова матери, однако она заспорила:

— Все чепуха! Вера — настоящая красавица. А главное — не такая, как все. Я завтра же отпорю эту дурацкую пуговицу с синего платья. И вообще, в таком виде больше его не надену.

6.

1967 год.

Почему-то Соня страшно боялась паспортистки. Они жили через два дома друг от друга, и частенько Соня, завидев, что паспортистка стоит у своего парадного в линялом платье, с дырой под мышкой, делала здоровенный крюк для того, чтобы не поздороваться с ней, не попасть под ее похмельно-пристальный взгляд.

Соня знала, что кое-кто из соседей, неизвестно для чего, таскает паспортистке подарки на праздники. И сейчас ей было жаль, что она никогда не делала этого. Принеси она ей какую-нибудь пудру или кусок мыла на восьмое марта — и сейчас было бы не так страшно.

Ноги ее дрожали, когда она переступала порог кабинета, но Соня вся подобралась и уверенно села, напряженно держа руки на сумочке, прижатой к коленям. Не поднимая головы, паспортистка с любопытством уставилась на нее поверх очков. Казалось, очки, съехавшие на кончик носа, продолжают читать разложенные на столе бумаги, а безжалостные глазки предупреждают, что не будет Соне никакого снисхождения.

— Я слушаю.

— Я хочу у вас спросить, — звенящим голосом начала Соня. — Что нужно сделать, чтобы отречься от сестры?

Паспортистка не удивилась, и это окончательно испугало Соню.

— Вот. Я на всякий случай написала заявление... — Соня открыла сумочку со второго раза и положила на стол большой лист, исписанный с обеих сторон.

Паспортистка сунула лист под самую лампу, подсадила на место очки. Читала она долго и внимательно, не поднимая глаз, но Соня все равно старалась всем своим видом выразить спокойствие. С притворным интересом и уважением оглядывала обстановку, постепенно проявляющуюся во мраке комнаты. Шкафы. Сейф. Китайская роза. Роза обильно цвела. Соня свернула набок голову, подчеркнуто восхищаясь ею. Она больше не выдерживала молчания и решила вслух похвалить цветок.

— Прекра... — начала она, но паспортистка поднялась и вышла из кабинета вместе с Сониным письмом. Соне казалось, что кто-то следит за ней из темноты, и она продолжала делать вид, что любит розой. Возвратилась паспортистка несколько оттаявшая, хотя и по-прежнему строгая.

— В общем, так... — обратила она к Соне набрякшее лицо. — Сейчас у нас не культ личности, понятно? Даже сын за отца не в ответе. Чего ж вы должны отвечать за

племянницу? Тем более, вы пишете, что ни сестра, ни племянница до вас не ходят.

— Вот именно! — счастливо заклекотала Соня. — Они даже на свадьбу к моему сыну не пришли! Мой сын — простой рабочий, женился на бедной девочке из села. Зачем они ей? Ей лучше с черномазыми на курорт ездить.

— Это вы оставьте! — перебила Соню паспортистка, сурово насупив нарисованные брови. — Что значит «с черномазыми»?! Нам все нации равны! Ты можешь не знаться с ней за то, что она... плохого поведения! А негры тут ни при чем! У нас дружба с Африкой. Она же не с американцем каким-нибудь гуляет. Вот вам ваше письмо — порвите его. А то за такие выражения...

— Спасибо! — горячо воскликнула Соня. — У меня такой груз, такой груз упал с души! — и приложила руку к груди, демонстрируя это облегчение.

За дверью кабинета она яростно порвала письмо и затолкала обрывки в карман. На улице к этой радости разрешившейся проблемы прибавилась легкость мартовского вечернего воздуха. Соня улыбалась прохожим, пассажирам в трамвае. И даже сама какой-то артистической частью своего существа верила в избавление, хотя другая часть трезво осознавала, что номер, возможно, не прошел, что не случайно паспортистка упомянула об американце. Почему не француз или немец. Не намекала ли она на то, что им все известно про Верочкиного дипломата и что в своем заявлении Соня о главном-то и не упомянула? И куда это паспортистка ходила с ее письмом? Что, если его там сфотографировали?

Соня была страшно зла на Лизу. Если уж ты не пришла на свадьбу, то нечего было являться через месяц с объяснениями. Кто ее за язык тянул! «Мы были в Москве, Верочка выходит замуж за американца, у нас большие неприятности...» Зачем Соне нужно было знать, куда Веру вызывали и что ей говорили? Подумаешь — избили ее в парадном! Не надо было нахальничать! Язык распускать, как Вера умеет. Да раньше бы ее за такое... Не хочешь, чтобы твою дочь били — не позволяй ей путаться с инос-

транцем! Но у Лизы ведь корысть всегда на первом месте! Вечно ищет себе каких-то обеспеченных, высокопоставленных. Не то что Соня — взяла и вышла за простого лейтенанта. И не позволила мужу пойти работать в торговлю, когда после войны ему предлагали руководить воен-торгом. Потому что для Сони важнее всего — чистая совесть. А благодаря дорогой сестричке она не может теперь спокойно спать. Что, если он еще шпион какой-то, этот Роджер? Чего он сюда ездит? В Америке ему мало глящих?!

Надо было оборвать Лизу, как только она заикнулась об этом. Как-никак Федя военный. Вдруг у них в квартире есть подслушивающее устройство? А еще лучше — громко высказать Лизе, что она, Соня, думает о последних Верочкиных похождениях. И сразу вернуть подарки! А теперь что уж делать? Юзенька посадил пятно на свитер, а его косоглазая Нэлька ни за что не отдаст цепочку.

7.

1968 год.

В лесу было пусто и так светло, что выступали слезы. Прошлогодние листья и хвоя уже просохли, но новой травы еще не было видно. И так пахло, так пахло! Отъезжающая машина дохнула грязным, городским и быстро скрылась за несчастными стволами сосен.

Верочка пошевелилась и стала подниматься. Выглядела она пугающе смешно. Высокий узел начесанных волос съехал набок и торчал над ухом. Узкая юбка, разорванная по обоим швам до самого пояса, висела наподобие передника и оставляла открытыми крутые голые бедра. Еще нелепее смотрелась узенькая курточка с игривым фрачным хвостиком, лихими манжетами и следами от оборванных пуговиц. Казалось, она никак не могла сойтись на этой крупной фигуре.

Верочка уперлась одной рукой в землю, другой — в литое белое колено. Встала. Хвостик опустил и прикрыл свежее бурое пятно на юбке. Верочка пошарила

рукой вдоль застежки курточки, пытаясь обнаружить уцелевшую пуговицу. Потрогала мочки ушей. Сережки были на месте. Она сняла их и кое-как заколола курточку: на шее — под высоким стоячим воротником, украшенным рельефным узором, и на талии. Это ничего не решало: в промежутке топорщилось на виду изодранное белье. Впрочем, в двух шагах валялось черное пальто. Зло охнув, Верочка нагнулась и подняла его. С жадной торопливостью влезла в рукава и застегнулась. Ей сразу стало лучше, но тут-то она почему-то и начала дрожать. Отдельно ей пришлось нагнуться за капюшоном с широкой черной пелериной. Что-то теплое медленно потекло по ноге. Она брезгливо вытерла ногу мятой белой тряпкой, попыталась снять засохшие разводы. Показаться на людях в таком виде было невозможно, но Верочка рассчитывала на неожиданный выход, который, как всегда, появится в последний момент. Какая-нибудь старушка с козой... Или там...

Она подумала, что все не так плохо, как можно было ожидать. Главное — она вполне устойчиво держалась на ногах. Верочка пошла между деревьями в ту сторону, куда уехала машина. Она надеялась, что на земле остались следы колес, по которым будет легче выбраться из лесу. Но следов не было. Будто машина не уехала, а поднялась с места вверх, как летающая тарелка. Верочка даже запрокинула голову. Вверху было небо и неподвижные макушки сосен. Верочка вслух хохотнула — и очень удивилась, услышав собственный смех. Что ж... Почему, собственно, нет? Полчаса назад она была уверена, что ее убьют и зароят наскоро в этом лесу. И вот она идет, видит небо, шелушащиеся стволы сосен. Конечно, случись с ней такое в семнадцать-двадцать — она предпочла бы смерть. А теперь... А теперь она взрослый человек и знает, как все это будет. Сначала станет хуже, начнут одолевать мерзкие подробности. А потом все пройдет, забудется. В ее возрасте — потеря невинности — событие скорее комическое, чем трагическое. И хотя лучше бы все это произошло не так, но... Вряд ли Роджер пришел бы в умиление, обнаружив под своей, прямо скажем, не юной неве-

стой эдакую лужу. Да, без этого дара он точно предпочел бы обойтись.

Верочка снова рассмеялась. Вспомнила огромное пятно на дорогом импортном чехле, белом, с изящными розочками.

— Фиг отстирают! — сказала вслух Верочка и удивилась, как странно и чисто звучит ее голос. Он был такой, как все в этом лесу.

— В химчистку такое не потащишь, — звонко добавила она, будто пробуя новое перо на листе гладкой бумаги. — Или потащат? Скажут, что это враги ранили их товарища... на боевом посту или убили... А скорее всего, в их гадкой организации даже своя химчистка есть!

Верочка говорила, говорила... Необычное звучание голоса, громкие язвительные слова помогали ей отвлечься: высокие каблуки то подворачивались, то внезапно проваливались глубоко в землю, вызывая целый каскад отвратительных ощущений.

— Конечно... Старая лошадь! Все должно происходить вовремя, в положенном возрасте.

Верочка остановилась: ей почудился плеск совсем не подалеку. Она свернула в сторону, поднялась на невысокий гребень и увидела озеро, большое и совсем гладкое, со странно пустынными берегами. Далеко за озером светились, отражая невидимое солнце, беспорядочные кубики недостроенных домов.

«И все это я бросаю?» — дрогнула захваченная врасплох Верочка и строптиво ответила себе: «Да! Бросаю. И лишнего дня не хочу здесь пробыть! Особенно теперь!»

Не получится с Роджером — найдет кого-нибудь другого. самого плюгавого! Только бы выбраться отсюда.

Верочка вдруг почувствовала себя сиротой. Ей стало горько, что нет у нее отца, который бы ужаснулся, бросился куда-то мстить, добиваться правды. Был бы жив отец, он бы им показал! Ведь не может же быть, что этим негодяям дали такое задание в их сволочной конторе! Послали поугавать. А их, гадов, занесло. Вот она сейчас выйдет на дорогу, поймает машину — и прямо в институт судебно-медицинской экспертизы.

Чепуха! Они всегда отвертятся, эти гэбэшники! Скажут, что они тут ни при чем, что на нее напали обыкновенные бандиты. Да они и говорить ни с кем не станут.

Верочка вдруг тоненько и зло заплакала. Мысль, которую она так долго отгоняла от себя, наконец вывернулась и стала перед ней во всей своей пугающей неразрешимости. А вдруг это действительно были бандиты? Нет! Она отказывалась даже допустить, что так легко, почти без сопротивления дала затащить себя в машину обыкновенным уголовникам. Потому что приняла их за...

И с чего, собственно, она решила, что это могли быть уголовники? Из-за того, что они ни словом не заикнулись о Роджере? О ее звонках в посольство?

Верочка чувствовала, что у нее поднимается температура. Ее все сильнее знобило, и вид холодной весенней воды вызывал отвращение. Но она пересилила себя и, придерживаясь рукой за крепкую ветку вербы, нагнулась, намочила тряпку и стала протирать ноги заодно с порванными чулками.

8.

1972 год.

Соне остро дуло в глаз из замочной скважины. Лиза стояла слишком близко за дверью, и, кроме темной ткани ее платья, ничего не было видно. Несколько раз уже Лиза уходила, но минут через пять-десять снова раздавался ее звонок, двойной, резкий. Ребенок, давно одетый для прогулки, устал и захныкал. Нэлька бросилась к нему на цыпочках, сдавленно зашептала. Соне почудился еще и звук шлепка, но она не стала вмешиваться. Это был удобный случай помириться с Юзика женой, и Соня не собиралась его упускать. Нэлька, крадучись, вернулась в коридорчик, с вопросительной ухмылочкой посмотрела на Сою.

Соня раздраженно пожала плечами. Звонков больше не было. Нэлька толстым бедром отпихнула свекровь, заглянула в скважину.

— Убралась! — радостно шепнула она.

Они гуськом переметнулись в маленькую комнату, с двух сторон спрятались за шторами. Лизы на улице не было.

Нэлька ушла на кухню, а Соня еще постояла. Она вдруг поняла, что очень хочет увидеть сестру, хотя бы издали, хотя бы со спины. Какая-то сила толкала ее высунуться из окна, окликнуть Лизу. Или хоть заплакать.

Соня затравленно оглядела комнату. Высоко над дверью торчала плохо забеленная круглая коробочка неизвестного назначения. Особо подозрительным казалось ей старенькое радио. Может, их прямо на заводе уже делают с подслушивающим устройством?

— Что, нету? — крикнула из кухни невестка. — Наверное, она внизу стоит, в парадном. Сейчас Юзька пойдет с работы и наткнется на нее! Вот нахалка!

— Если Юзенька ее встретит, — громко подхватила Соня, старательно направляя голос в сторону радио, — это еще ничего. Но, не дай бог, Федя. Я не знаю, что будет! Он говорит, что таких, как она, не выпускать надо, а судить за предательство Родины! Он спустит ее со всех лестниц!

— А я бы рада была, чтоб спустил! — сказала невестка, возвращаясь в комнату. — Шо ты лезешь до людей, спрашивается?! Едешь до своей проститутки — и едь! А людей нечего пачкать!

Соня солидарно поджалась. Лицом, руками, плечами выразила свое возмущение и полное согласие. Пожалуй, даже перестаралась. Но сейчас для нее главным было — вернуть себе доступ в маленькую комнату, к ребенку.

Нэлька видела ее насквозь и, не тая коварную ухмылку, принимала решение. Соня с трепетом ждала, вглядываясь в ненавистное лицо своей мучительницы. Левый ее глаз нагло тарасился, а правый жался к переносице, как бы жалуясь на что-то.

И такая-то стерва, да еще и длинноногая, да еще и с выпяченным пузом отняла у нее любимого Юзеньку и не дает подойти к малышу, которого Соня любит больше, чем всех своих детей и внуков вместе взятых!

— По-моему, Котика пора снять с горшка, — заискивающе пропела Соня и сделала пробный полушаг в сторону детского манежа.

— Снимайте! — повела плечами невестка, и выражение ее глаз изменилось разом, будто стеклышки скользнули в калейдоскопе, но понятнее при этом не стало.

Соня счастливо метнулась к ребенку. Ей хотелось зацеловать это тоненькое усталое личико. Потом потянула Котика к себе и чуть было не перевернула горшок, прилепившийся к попке.

— Бедный мальчик! — хрипло ворковала она и целовала, целовала тощий запотевший задик с розовым надавленным кольцом.

Невестку растравили не слова свекрови, а вид ее фигуры сзади. Если бы не седина в кудрях, уложенных в узел, ее можно было бы принять за женщину не старше тридцати: гладкие ноги, бедра под черной узкой юбкой, круто стягивающей талию — как нарисованные. И еще эта мужская сорочка с рукавами, подкатанными до локтей, и с кокетливо поднятым воротником. Верхние три пуговицы не были застегнуты, и из глубины маячило кружево дорожной комбинации.

— А ну, отдай сейчас же, сука старая! — вдруг заорала Нэлька и выдернула ребенка из рук опешившей Сони. — Думаешь, я тебе все забыла?! Пускай только вырастет — я ему расскажу, как ты меня гнала аборт делать, когда я с ним ходила, гадина ты такая!

— Смотри, сумасшедшая, ты ребенка испугала!

Привычный к подобным сценам, Котик не испугался, только водил внимательными глазками с одной на другую.

— Надо было за своими детьми смотреть! Ты ж своим детям ни разу супа не сварила! Ни одного дня не проработала, корова!

— А ты чего не идешь работать?!

— Не твое собачье дело! Я с ребенком сижу!

— А я с тремя сидела, и еще двое больных стариков были на моей шее!

— Это ты была на их шее! Они все за тебя делали!

— Откуда ты знаешь?

— Знаю! Я еще много чего знаю... Как ты ночью мужа от себя гоняла, — чуть помедлив, прыснула невестка.

Снова зазвенел звонок.

Лиза еще раз нажала на кнопку. Она знала, что Соня дома. Но решила уйти. Зачем унижаться? Так ли уж это важно для нее — проститься с ними? Давным-давно уже Лизу не тянет в этот дом. И ничто не напоминает о юности. Разве что лестничная площадка.

Лиза подошла к окошку, которое, несмотря на ржавый налет многолетней грязи, пропускало на лестницу зеленоватое сияние раннего лета. Протерла ладонью подоконник, на минуту присела. Перед дорогой. Когда-то они с Соней выглядывали через замочную скважину и видели, как на этом подоконнике курит Илья.

— Все! — сказала она. — Больше я сюда не приду!

Неловко погладила облупленную стену и пошла вниз по ступенькам, придерживая на коленях юбку, которую тербил и рвал лестничный сквозняк.

9.

1979 год.

В ослепительно белом приемном покое было тепло и пусто. Дверь в отделение, плотно прикрытая, выглядела неприступной, от свежеемытого пола разлило хлоркой. Главное же — окошечко с надписью «прием передач» было задраено наглухо изнутри. Соня постояла... еще раз вытерла ноги — и наконец решилась: тихонько постучала по крашеной фанерке. Ей показалось, что жизнь по ту сторону прекращена: ни дальнего звука шагов, ни внезапного звона больничной посуды. Она постучала смелее. А затем — от полной безнадежности — совсем громко, даже с несколько возмущенной интонацией.

Внезапно фанерка поддалась — и на Соню двинулось сердитое смуглое лицо молоденькой няньки.

— Девушка! — виновато взмолилась Соня, — пожалуйста, в шестую палату!

— Вы что, читать не умеете?! — рявкнула нянька. — Ясно же написано: с десяти до двенадцати! А вы когда заявились?

Соня испуганно отшатнулась от распахнувшейся двери. Пожилая сестра в казенной телогрейке с полным безразличием прошла мимо нее. И только у выхода вдруг остановилась и через всю пустую гулкую комнату спросила:

— Послушайте! Вы случайно не сестра Елизаветы Яковлевны? Вижу — вроде лицо знакомое. Лиза вас как-то приводила ноготь снимать. — И крикнула, возвращаясь к окошку. — Надя! Отнеси передачку в шестую. Это же Елизаветы Яковлевны сестра! Ну, как у нее дела, у Лизы? — продолжала она, понизив, наконец, голос. — У меня, знаете, сильные угрызения совести: мы с ней очень дружили, с Лизой. Я бы ни на что не посмотрела, переписывалась бы с ней, но сын не разрешает: он философию преподает в университете, пишет докторскую.

— Конечно, — понимаяюще подхватила Соня. — Я тоже не переписываюсь с ней. У меня три сына — и я не имею морального права портить им карьеру!

Медсестра покивала:

— Чем для детей не пожертвуешь! Если бы не Верочка, Лиза бы тоже с места не тронулась! Как ее все на работе уважали! И квартира была, и все в квартире.

— Вот именно! — вытащила батистовый платочек Соня. — Все Вера! Сорвала мать с места! Вытащила ее в этот Израиль, который все время нападает на кого-нибудь, сама в Париж укатила, а мать бросила в нищете! Одну, без своей постели! без своей подушки!

Женщина оторопело уставилась на Соню.

— Да что вы! Это у вас совсем старые известия! Она давно уже устроилась! Там опытные медсестры ценятся — не то что у нас! У нее уже и квартирка своя, и прекрасная обстановка. Вы ж, наверно, Клару знаете, у которой она жила после войны. Лиза ей такие посылки шлет, что Клара могла бы уйти с работы!

Соня пришла к губам кулак и затрепетала, как пойманная птичка.

— Зайдите к Кларе, — продолжала медсестра, — она вам покажет письма и фото. Лиза так чудно выглядит — куколка! А Ве-е-ера! Она и тут модница была. Когда Лиза уезжала, она Верочкины наряды нашим девочкам подарила! Она вообще почти ничего не продавала. Так, сотрудникам, знакомым раздала.

Вернулась нянька. С чуть виноватым видом вручила Соне мешочек и записку. Соня пробежала глазами по кривым корявым строчкам и даже не попыталась их понять.

— Пойдемте, я вас провожу, — предложила медсестра, — мне как раз надо в терапию, я вам расскажу по дороге...

Славику, Борькиному сыну, еще на первом этаже показалось, что он слышит голос бабушки Сони. Он заскакал через две ступеньки, но под дверью остановился.

— Нет, подумать только! Отдать какой-то няньке телевизор! — кричала баба Соня. Голос ее, и так от природы хриплый, казался совсем сорванным. — И это еще ничего! Он хоть старый был! Но совсем новый холодильник! Отдать чужому человеку, когда ты знаешь, что у твоей сестры паршивый «Саратов»!

Славик поставил на пол портфель, прислонил к стене нотную папку, стряхнул с ушанки капельки растаявшего снега.

— А Клара, Клара-то какова! — продолжала надрывать-ся баба Соня. — Чтоб она подавилась этим холодильником!

Славик резко нажал на звонок.

— Кто там? — донесся из-за двери тихий задыхающийся голос.

— Это я, мам!

— Зайчик, зайчоночек, — Женечка стала на цыпочки и поцеловала мальчика.

Соня, заслышав голос внука, поспешила в коридор, расцветая на ходу.

— Где он, где он, мой внук дорогой? Дайте мне его обнять! — восторженно заклекотала она. — Боже мой, как он вырос!

Славик покорно нагнулся к бабке, и она стала покрывать поцелуями его лицо, курчавые светло-русые волосы, все в мелких капельках растаявших снежинок.

— Боренькина копия! Боренька в детстве был точно какой! — с жаром повторила она несколько раз, не замечая, что та похвала не особенно радует окружающих.

— А почему ты, бабушка, Котика не привела?

— Да эта сумасшедшая, Нэлька, мне не позволяет даже выйти с ним погулять!

— А как дедушка Федя? — поспешил сменить тему Славик.

— Дедушка?.. — Соня горестно скривилась, губы у нее задрожали. — Очень плохо, детка. Очень! Ты же знаешь — дедушке сделали операцию, зарплату ему не дают.

— Нет, — наставительно уточнил Боря. — Зарплату ему не дают, мама, но ему дают бюллетень.

— Бюллетень! — горестно подхватила Соня. — Что такое этот бюллетень! Ты же знаешь, папа еще подрабатывал.

— Да, — согласился Боря, — я знаю.

— Ну вот! — раскисла от жалости к себе Соня. — А теперь он мне из больницы каждый раз пишет что-нибудь другое: то бульончик ему хочется, то морковный сок. А сегодня потребовал кусочек красной рыбы! Где я ему возьму красную рыбу?! Нэля ребенку дает каждый день по такому вот кусочечку, для аппетита. Я у нее попросила — так она мне фигу показала! Вот сволочь! Я ей Юзеньку отдала, такого сына. Такого семьянина! Он еще бакенбарды отпустил! Вы бы видели, какой красавец! А она залепила свой холодильник куском пластилина и делает значком печать, чтобы я не могла туда заглянуть!

— Не может быть! — изумилась Женечка.

— Клянусь тебе детьми! Я же боюсь теперь шаг сделать в собственном доме!

— Это неправильно! — возмутился Боря. — Это твой дом, и ты не должна бояться делать шаг! Правда, Женечка? Правда, золотко мое?

— Да, Боренька.

— Ну вот, — окрыленно продолжил Боря. — А холодильник — их. Значит, холодильник тебе нельзя трогать. Надо

было тебе взять холодильник у тети Лизы. Жалко, что ты не взяла!

— Знаете что, Софья Яковлевна, — прервала мужа Женечка. — Давайте мы с мамой прямо сейчас сложим передачу Федору Захаровичу! У нас есть как раз бульон из курицы. Набери, пожалуйста, мама, в баночку.

— Конечно, конечно, — засуетилась Женечкина мать Рахиль Давидовна. — Бульончик как раз хороший. Мне попала такая чудная курица! Это очень удачно, что вы именно сегодня пришли. У меня еще кое-что есть.

Она полезла в холодильник и вытащила из-под морозилки рюмочку с черной икрой.

— Давайте вашу сумку, — продолжала Женечка. — Мы с мамой все вам туда сложим.

Соня открыла сумку и вытащила мятый кулек с пирожками. На Женечкудохнуло нездоровой отрыжкой.

— Вот, Женечка, возьми. Разогреешь, будет тебе на ужин. Это я Феде несла, а он мне вернул. Он стал такой капризный!

— Послушайте меня, сваха, — мягко вмешалась Рахиль Давидовна. — Сходите к Кларе, возьмите у нее Лизин адрес и напишите ей.

— Не знаю... — замаялась Соня. — Клара, она такая... она всю жизнь старалась меня посорить с Лизой! Она мне адрес не даст!

— Что за чепуха! Даст, конечно! Сообщите Лизе, что и как. Что Федору Захаровичу сделали операцию, что его надо поставить на ноги.

— Да! — вдохновенно подхватила Соня. — Я именно так и сделаю! Вы же знаете, как она любила Федю! Но понимаете. Когда будут проверять письмо, могут подумать, что я жалуясь. Начнут детей вызывать.

— Ну что вы все трясетесь, сваха! Кто такие ваши сыновья? Директора? Их понизят по службе? Переведут из главных грузчиков в рядовые инженеры?

— Папа! — умоляюще вскрикнула Женечка.

— Я работаю на военном заводе, — вставил свое слово Боря. — Мне не нужны родственники за границей!

— Знаете что?! — взмолилась Соня. — Попросите Клару!

Она же все равно с Лизой переписывается — пусть опишет ей мое положение! Только так, чтобы постороннему непонятно было, о ком идет речь.

— Хорошо, — сказала Рахиль Давидовна. — Она как раз обещала заехать ко мне на той неделе.

— Нет-нет! — заканючила Соня. — Поезжайте лучше к ней прямо завтра. И пусть обязательно напишет, что у меня врачи обнаружили катаракту. И пусть напишет, что мне назначили долевую пенсию — 23 рубля и что невестка надо мной издевается и бьет меня.

Утреннее солнце добралось до Сониной подушки. Соня сощурилась, подумала, что надо убрать с кухонного окна продукты. Она накинула халат поверх сорочки, расчесала волосы, но не собрала их, а оставила распущенными — густые и пушистые. Так и проплыла мимо невестки, сурово мешающей манную кашу на плите.

Она взяла с окна сумку с продуктами, унесла к себе. Рахиль Давидовна не поскупилась. В литровой банке плавали две куриные ножки. Другая была наполнена салатом оливье. В пергаментной бумажке поверх бутербродов лежало несколько кружочков сервелата. Все пахло свежо и вкусно. Еда не засохла, только чуть зачерствел хлеб.

Соня слизнула выдавившиеся из щели бутерброда икринки и разняла его. Получилось неаккуратно. Соня пальцем подправила масло, равномерно раскатила икринки. Она взялась было снова сложить бутерброд, но подумала, что когда Федя в больнице разнимет его, он снова будет такой же непривлекательный. А если к тому же его увидят няни или медсестрички, они решат, что Соня какая-нибудь миллионерша и может за каждую мелочь разбрасываться рублями и трешками.

— Котик! — позвала она, выглядывая в коридор. — Иди быстро! Бабушка что-то даст.

«Иди, иди», — послышался за дверью шепот Нэлички. Котик вошел. Без интереса оглядел заваленный угол стола. Соня заманчиво повертела бутербродом у его носика.

— Я не люблю такое, — отодвинулся от икры Котик. —

Дай лучше это! — ткнул он прозрачным пальчиком в колбасу.

— Это же вкуснее! — огорчилась Соня и отломала маленький кусочек. — Открой рот! Съешь это — и я дам тебе колбаску. Можешь хлеб не кушать — только икринки.

Котик, морщась, слизывал икру, а Соня доедала за ним кусочки хлеба с подтаявшим маслом. Салата в банке было гораздо больше, чем нужно одному человеку. Соня свалила половину в миску. В освободившееся место удобно уложила кусок курицы.

Спускаясь по ступенькам с этой баночкой, Соня испытала легкие угрызения совести, но тут же утешила себя тем, что скоро их с Федей жизнь пойдет совершенно по-новому. Рахиль Давидовна наверняка уже побывала у Клары.

Возле почтового ящика Соня остановилась. В дырочках что-то светлело. Сердце у Сони вдруг заекало, как будто это могла быть весточка от Лизы. Она все-таки открыла ящик. Там лежал счет за электричество.

10.

1981 год

Серебристо-серый мех потянулся из туго набитого шкафа, заблестел на солнце, как грозовая туча.

Соня набросила пелерину на плечи, застегнула и, накренив голову, как на своем «венгерском» портрете, вскинула удвоенные очками глаза.

— Ну как, доктор?

— Какая ж красота! — искренне восхитилась участковая, любуясь сиянием меха и пышной Сониной седины. — Оставьте ее себе! Зачем вам ее продавать? У вас же нет такой нужды, как раньше.

— Ну куда я могут надеть такую вещь, доктор? Я нигде не бываю!

— И напрасно, вот что я вам скажу! У вас такие красивые вещи! Наденьте эту пелерину и пойдите куда-нибудь в

театр. Люди будут думать, что вы жена посла или иностранного президента! Или хоть возле дома пройдитесь с Федором Захаровичем!

Соня засмущалась, заиграла своими бывшими ямочками, превратившимися в глубокие бороздки на щеках.

— Нет. Все-таки продам! Чтоб Нэльке не досталось. Я ее больше знать не хочу! Она мне вчера нарочно прибила руку дверью, чтобы я не видела, как она поставила Котика вываривать белье. Я вам скажу, доктор: у меня много внуков — и хороших внуков! Боренькин Славик — это просто вундеркинд: он и отличник, и стихи сочиняет, и учится на пианино. Но настоящее чувство у меня только к Котику. Ведь он вырос у меня на руках.

— Ага! Вы ее больше слушайте, старую брехуху! — раздался из-за плохо прикрытой двери трескучий голос. — Вы ее спросите, или она один раз в жизни дитю пеленку постирала!

— Стирала! Стирала! — воскликнула праведно Соня. — Когда ты в больницу попала!

— Ой! Держите меня! Я через два дня выписалась, а Юзька говорил, что сам все делал ребенку!

— Потому что он научился у тебя быть неблагодарным!

— Чего это я должна быть тебе благодарная?! — Нэля двинула в комнату свой восьмимесячный живот, подвязанный поверх халата красной японской шалью. — Ты меня три аборта делать заставляла, гадина. А я тебе буду благодарная, что чуть калекой не стала?!

— Три аборта! — фыркнула Соня. — Что же ты собиралась — десять детей рожать?

— Сколько захочу — столько нарожаю! Вот назло тебе каждый год буду рожать! — и Нэля вдруг зарыдала бурно в голос.

— Вот получишь свою квартиру — там и рожай! — закричала Соня. Лицо ее пошло красными пятнами.

— Сука! Ты меня с первого дня хотела с Юзькой развести! Ты ж сама с ним заигрываешь — с родным сыном!

— Ну что возьмешь с деревенской дуры?! — с деланной небрежностью усмехнулась Соня.

— Сейчас я ее убью, — спокойно сказала Нэля и схвати-

лась за тяжелую пепельницу из литого стекла. Здоровый глаз ее загорелся и весело забегал. — Еще раз обзовешь меня деревенской — кипятком обварю! Моя мать всю жизнь в школе проработала, а ты кто? Паразитка! Знаете, что она делает целыми днями? Шмотки на себя меряет! А вчера, — поколебавшись секунду, провозгласила невестка, — я застала ее перед зеркалом голой!

Соня завела глаза и покрутила у виска пальцем.

— Семьдесят лет! Уже гроб пора покупать! А она перед зеркалом...

— Семьдесят?! — задохнулась Соня, но спорить не стала. — Кто-то и в семьдесят выглядит получше, чем другой в тридцать!

— О! О! Красавица! Что ж муж от тебя по соседкам бегаёт?

— По каким соседкам? — заморгала Соня.

— А по таким! Все знают, что он до Надежды Васильевны ходит!

Соня рассмеялась. За ней — врачиха. А потом и сама Нэля не выдержала. Смешнее придумать нельзя было: съевшийся, как птенчик, Федор Захарович — и здоровенная грубая тетка со смуглым бородавчатым лицом.

Нэля, довольная собственной шуткой, подобрела и пошла на кухню.

— Ну ладно, Софья Яковлевна. Закатывайте рукав...

Участковая затынула на Сониной руке черную манжету. Соня заглядывала ей в лицо так, будто от той лично зависело, какое у нее будет давление.

— Вы знаете — ничего. Для вас вполне прилично! А теперь послушаем, как работает сердечко.

— И сердечко ничего. — Она сунула стетоскоп в сумку и стала надевать пальто. — Задержалась я у вас, а у меня еще двадцать вызовов. Дома белье замоченное. Нет, правильно сделала ваша сестра, что уехала. Хоть на старости хорошо пожила!

— Моя Лиза! — подхватила Соня, не то одобряя, не то порицая сестру. — Она и здесь каталась, как сыр в масле! Вы думаете, она была какая-нибудь красавица? И вот пожалуйте! Сначала нашла себе начальника лагеря. У

людей в это время нечего было есть, а она расхаживала в каракулевой шубе. Потом нашла себе хирурга с богатыми родителями. А этот у нее — вообще миллионер! У него несколько домов в Париже. И еще где-то. Возит ее по Япониям, по Испаниям. Задержитесь еще на минуточку, я вам его покажу.

— Вот, доктор, моя сестра, а вот ее муж. Это они в Италии.

Старичок был ниже Сониной сестры и казался лет на двадцать ее старше. Но они как-то неожиданно хорошо смотрелись вместе, и как-то очень трогательно держали друг друга за руки.

— Он необыкновенный человек! — прижала руки к груди Соня. — Вот я хочу, чтобы вы прочли, что он мне пишет. Вернее, он диктует, а пишет Лиза. Я бы приняла его приглашение, — продолжала Соня, — но разве можно с моим здоровьем так рисковать? Я не вынесу такую тяжелую дорогу.

— Да на тебе дрова можно возить! — донеслось из кухни. — Ты нас всех переживешь!

— Ну, — снова расстроилась Соня, — и это за все, что я ей дала! Так надо ей еще оставлять пелерину?!

— Что ты мне дала? Что ты мне дала?!

— Я тебе сына отдала, Юзика, такого красавца! Вы давно его видели, доктор? На него посмотреть — душа радуется! Что я ей дала! А квартира, а вещи!

— Вещи! Вещи Лиза присылает!

— Лиза? Может, это она тебе лично все посылает? Да если бы я хотела, я бы тебе ни одной нитки не дала из ее посылок! А я все тебе! Даже этот платок! Она его для Бориной Жени прислала, между прочим!

— На, заberi свой платок, подаvisь! Я у тебя больше и на копейку не возьму! Отдай его своей Жене, пусть она им свой горб закроет!

— Я бы отдала, так ты же сделала из него грязную тряпку! Полотенцем не могла подвязаться!

На лестнице участковая перевела дух. Постояла немного, чтобы остынуть. Посмотрела, как за грязным окошком лениво бродят крупные снежинки.

На углу, возле гранитной надолбы, она встретилась с Федором Захаровичем. Опасливо ворочая свою птичью голову направо и налево, он переходил дорогу. Из-под мышки у него торчал желтый батон, в длинной авоське одиноко болтался плавленный сырок. Он зябко хохлился в своем жиденьком полупальто. Древняя коричневая шляпа, посыпанная снегом, была похожа на пирог.

11.

1989 год.

В парадном было непривычно светло. Видно, кто-то удосужился вымыть, наконец, окно на лестнице. Но, поднявшись на последние несколько ступенек, Женечка поняла, что оно просто выбито. У незапертой двери теснились празднично-яркие бумажные венки. В прихожей громко спорили. Дверь подрагивала от сквозняка.

Боря остановился на пороге, зажал нос.

— Нет. Я туда не пойду!

— Как же, Боренька! Ведь это твоя мама! — умоляюще зашептала Женечка.

— Не хочу!

— Разве так можно?! — испуганно подхватила Женечкина мать Рахиль Давидовна.

— Мама, — попросила Женечка, — вы с тетей Klarой заходите, а я его уговорю.

В комнате было полно народа. В центре, на кухонной табуреточке, ежился Федор Захарович. Увидев вошедших, он просиял от радости и бросился им навстречу.

— Надо что-то делать! — затараторил он, боязливо оглядываясь на дверь спальни. — Никто не хочет ее переодеть... В три часа приедет машина, а я не могу.

— Что значит «никто не хочет»? — возмутилась Клара. — У нее что, детей нет, внуков нет?!

Клара не знала, которые из этих многочисленных женщин — невестки Сони, и на всякий случай обращалась ко всем сразу.

— Вы — медработник! Это ваша непосредственная

обязанность! — внезапно набросился на Klarу осмелевший Федор Захарович.

— Хорошее дело! — хмыкнула Клара, сердясь на себя и на любопытство, приведшее ее в этот дом впервые за столько лет.

— При чем тут ты, Клара? — возмутилась Рахиль Давидовна. — Ты здесь посторонний человек. Пойдемте со мной, — наугад обратилась она к одной из женщин постарше.

— С какой это стати? — возмутилась женщина.

— Пусть ее Нэлька моет! — вскинулась молодая толстуха, повязанная черным платком. — Свекруха к ней всю жизнь подлизывалась, все под нее гребла и под Котика!

Женщины вокруг закивали одобрительно. Нэля под их горящими взглядами держалась так, будто ничего не слышит и не имеет отношения к происходящему.

— Успокойтесь! Хватит! — вмешалась подросевшая Женечка, которой все-таки удалось втащить в дом упрямого Боря. — Сейчас мы с мамой все сделаем!

Но тут Боря снова проявил характер.

— Ты не пойдешь! — строго приказал он. — Пусть Юзья с Нэлькой идут! Она им все Лизины посылки отдавала! И все деньги! А нас даже в гости не пускали! Чтoб мы не видели, что у них есть! Вот пусть теперь сами ее моют! Славика нашего посылали в командировку в Париж, так она мне даже адрес тети Лизы не дала!

— Ты не иди, Боренька, а я пойду, — сказала Женечка. — Мы с мамой справимся. Ты только будешь приносить нам воду.

Нэля смотрела на происходящее, как поглядывают между делом в телевизор. За спиной у нее беспокойно маячила на длинной шее крошечная голова Юзика с живописными остатками былой шевелюры.

Клара только тогда его и узнала, когда он заговорил. Думала — старик какой-то.

— Ну и свинья же ты, Юзья, вместе со своей женой! Вон, на вас все шмотки Лизины, а вы маму голодом уморили! Все соседи так говорят!

— При чем тут мы? — нагло огрызнулся Юзя. — Мы

живем в другом конце города. Мы не могли бегать сюда ее кормить!

— А что ж ты ее к себе не взял? — вмешалась в семейное разбирательство соседка, которую никто не знал по имени.

— А как я мог взять в дом лежачего больного? — не сдавался Юзя. — У меня шестеро детей! А от нее воняло! И зараза разносилась!

Какое-то общее возмущение выразилось на лицах сразу нескольких женщин.

— Да если бы она мне хоть на столько сделала добра, — обратилась к Кларе худая высокая блондинка, — я б не знала, как ее благодарить! Разве я дала бы ей умереть в такой грязи?!

— Да она ж никого в дом не пускала! — подхватила другая, помоложе, крашенная в рыжий цвет. — Я малую к ней послала. Пойди, говорю: все-таки бабушка. Скажи, что ты замуж выходишь. На свадьбу пригласи. Мне от нее ничего не надо было, клянусь вам, я ничего даже не думала! Так она с внучкой со своей родной на лестнице говорила, не пустила в квартиру!

— Она всегда Юзьку больше любила! — заново разгневался Боря. — Она кулек конфет покупала и мне давала одну, а Юзьке — три! — Боря выставил вверх три пальца. — А теперь меня заставляют таскать воду! Пусть Юзка таскает, я больше туда не зайду!

— Что вы накинудись, что вы накинудись! — пошла на всех будто пробудившаяся Нэля. — Она и нам с Юзькой ничего не дала! Она же из моих детей тоже никого не признавала, кроме Котика! И все деньги на него положила! Теперь, пока он не женится, нельзя снять ни копейки! Даже на похороны ничего не оставила, мы дали за гроб свои деньги, а остальное пусть папа дает!

— Откуда у меня деньги? Откуда у меня деньги?! — забеспокоился на своей табуретке Федор Захарович. — У меня пенсия маленькая! Я вообще не смогу жить один с такой пенсией! Я к Юзе пойду жить...

— Здравсьте! — удивленно отпрянула Нэля. — У нас и так повернуться негде, так мне его еще не хватало!

— Перестаньте! — закричала своим слабеньким голо-

сом появившаяся из спальни Рахиль Давидовна, отводя со вспотевшего лба тоненькие седые волосы. — Как вам не стыдно! За дверью покойник лежит! Все, кончились претензии! Ее больше нет! Плохая она была или хорошая — но она умерла! — голос у Женечкиной матери задрожал, и она прибавила с трудом: — Неужели у вас нет для нее ни одного доброго слова?

Рахиль Давидовна заплакала. Тут же у всех женщин налились слезами глаза. Замелькали платочки, послышались всхлипывания.

— Ну почему же, — сказала одна. — Она, например, всегда следила за собой, всегда чистая ходила.

— И вести себя умела культурно.

— Любила Котика... — добавил кто-то.

— Она за Котика, — гордо подхватил Юзя, — дала бы себе руку отрезать!

— Она была такая красавица, — поднялся со своей табуреточки Федор Захарович, — что все мужчины за ней ухаживали, а она ни разу в жизни мне не изменила!

— Это правда! И вообще она была не злая. Нарочно она подлянку никому не делала!

Из спальни вышла Женечка. У нее был вид человека, долго пробовавшего под водой. Она подошла к шкафу, открыла его и стала искать нужные вещи. Вещи все были добротные, праздничные. Слишком яркие для такого случая.

Нэля ревниво насторожилась, стала пробираться поближе к шкафу.

— Вот взяла бы сейчас ее платья, — всхлипывая, проговорила рыжая, — и раздали бы каждому что-то на память!

Нэля спокойно ответила ей кукишем, а Федор Захарович строго отрезал:

— Нет! Соня сказала, чтобы все вещи — Нэле!

Клара решила, что пора ей выбираться из этого сумасшедшего дома.

На лестничной площадке дымила мужской папиросой новая соседка. Клара прошла поближе к выбитому окну. Влажный воздух освежил ее и немного успокоил.

— Вы родственница? — обратилась соседка к Кларе.

— Какое там! — досадливо открестилась Клара. — Были вместе в эвакуации.

— Уходите?

— Нет. Вышла подышать.

— Да. Запах ужасный. Кто ее знает, сколько она так пролежала. Это ж я обнаружила, что она умерла. «Занесу, — думаю, — тарелку супа». Он же ее одними пончиками кормил! Там и сейчас на столе целая гора. Засохшие, как камни.

12.

1991 год.

Славик подошел к окну. Совсем рядом качалось и кивало старое дерево. То так, то этак прикладывало к стеклу свои ажурные листья. С трех сторон прижатое к дому изящной решеткой, оно, казалось, мучается от тесноты.

Славик подумал о том, что их группа сейчас ходит по Версалью, и вздохнул. Всего пять вечеров в Париже, и потратить один из них на старенькую бабкину сестру... Он и к бабке не очень-то ходил...

Лиза вошла в комнату с бутылкой вина, сверху донизу оклеенной внушительными этикетками, и остановилась в дверях.

— Что же вы не сняли до сих пор куртку?!

Славик неловко поежился, стал боком стаскивать ветровку.

— Перестаньте же, наконец, меня стесняться! — сказала Лиза и поставила бутылку на стол. — Вот, откройте, пожалуйста. Это очень хорошее вино. Верочка привезла из Бретани.

Вино показалось Славiku самым обыкновенным. Впрочем, он не разбирался в винах. Но Лиза цедила вино по капельке, явно получая удовольствие. Она сидела на стуле не облокачиваясь, и в этой напряженной стройности было что-то очень напоминающее горделивую осанку

покойной бабки. Славик почувствовал, что и она разглядывает его, снял очки и стал их протирать.

Лиза задыхнулась от умиления. Нет, такое сходство не могло, не могло быть случайным! Те же нежные виски, те же светло-русые курчавые волосы, глаза, сощуренные как бы от скрываемой боли. Как жаль, что она так и не спросила напрямик у Сони. Почему она решила, что это невозможно? А вдруг они встретились где-то с Ильей, случайно. Теперь все. Никто никогда не узнает правды.

— Я всегда очень любила Боря, вашего отца, — сказала Лиза. — Вы на него так похожи. А что другие Сонины внуки — какие они? Тоже светленькие?

— Да нет как будто. Вообще-то я не всех знаю... Вы только не подумайте, — добавил Славик, заметив укоризненную гримасу на лице Лизы, — что это я сторонюсь папиной родни. Они сами почему-то нас избегают.

— Как жаль, — сказала Лиза. — Из-за моих подарков рассорилась вся семья. А я-то старалась каждому сделать что-нибудь приятное.

— После бабушкиных похорон все окончательно разругались. И как вы думаете — из-за чего? Из-за того выцветшего портрета! Помните, висел над диваном?

— Соня в «венгерском» костюме! — оживилась Лиза.

— Вам, наверно, неприятно, что папа так скоро женился? — мягко спросила она. — Но вы ведь все понимаете... Если существует загробная жизнь, Женечка, конечно, рада, что Боря снова как-то пристроен. Она была ангелом!

— Да, мама была ангелом. — Славик споткнулся на слове «была»: он еще не привык говорить о матери в прошедшем времени. — Не знаю, смогу ли вам объяснить. Конечно, она никогда не вышла бы за него замуж, если бы была здорова. Но она его очень любила. Я не встречал семьи, где родители так любили бы друг друга!

— Славик. Вы меня извините, но я хочу спросить. Вас не волнует проблема наследственности?

— Нет, — чуть помешкав, солгал Славик.

— Ну и молодец. А Вера — так прямо помешалась на этом! Она считает, что у нас в семье бродит какой-то неправильный ген. Я буквально умоляла родить ее еще

одного ребенка! Но она побоялась. Кстати, как вам Верочка?

Лиза приготовилась получить удовольствие, и Славик постарался не обмануть ее ожиданий.

— Никогда не видел подобной женщины! Мне о ней мама много рассказывала. Как вы с Верой танцевали у нее на свадьбе, и вся публика была шокирована вашими нарядами. Она все вспоминала какие-то кружева, вырезанные из занавески.

— Не помню, — с сожалением сказала Лиза. — Но Верочка всегда была выдумщицей. Несколько лет назад она пришла ко мне в изумительной шапочке! Я была в восторге, а она выворачивает ее на левую сторону, и оказывается, что это бывшие штанишки моего внука Энди!

Славик улыбнулся. Вообще-то он не понимал, зачем богатой женщине, живущей в Париже, мастерить шапочку из детских штанишек. Да и в целом Верочка его разочаровала. Все, что рассказывали о ней и мать, и бабушка, и тетя Клара, создало в его воображении какой-то странный образ, нечто среднее между Кармен и Софьей Перовской. Красавица, дерзко бросающая вызов всему вокруг. Ничего такого Славик не заметил. Парижу Верочка вызова не бросала. Даже напротив. В ее присутствии сам Париж приобрел излишнюю респектабельность и добротность. Пожалуй, лишь в глазах Верочки было что-то вызывающее и нездешнее: сплошная голубизна от виска до виска.

Может быть, ее взгляд и раздражал Славика больше всего. Эта женщина, ровесница его матери, с ним почти что кокетничала. Хотя надо признать, что выглядела она лет на тридцать, не больше, и чувствовала себя, по видимому, так же. Победоносно выбрасывала из машины свои тяжелые ноги с холеными круглыми коленями.

Славик понимал, что несправедлив к Верочке. Что он все время сравнивает ее с матерью — сравнивает с какой-то укоризной, будто Верочка виновата в том, что радуется и цветет, в то время как Женечка засохла, задохнулась.

— Мне так жаль, что вы разминулись с Энди, — говорила Лиза, — расставляя чайные чашки на маленьком столике. — Он будет очень огорчен.

Движения Лизы были несколько скованные и неуверенные, что никак не вязалось с ее подтянутой фигурой, гладким лицом, спортивной прической. Из-под всего этого, как неуклюжий каркас, пугающе проступала старость. И Славику вдруг стало жаль Лизу. Он представил себе, каких трудов, каких лишений стоит ей эта красота.

— Может быть, не надо чаю, тетя Лиза? Мне уже пора идти.

Лиза не стала спорить.

— Ладно. Не хотите — не будем. Скажу вам откровенно, Славик, я сегодня очень неважно себя чувствую. Меня замучил артрит. — Лиза с болезненной гримаской потерла сухую ручку. — Видно, у нас это наследственное. У Верочки тоже жутко болят колени. А лечиться как следует она не хочет.

Славик потянулся за курткой. Лиза поднялась.

— Вот. — Она положила руку на стопку упакованных вещей. — Я в каждый кулек сунула записку, чтобы вы знали, кому что отдавать. А это передайте Кларе. Скажите ей, что я ее помню и люблю. Но письма писать я уже не могу. И зрение плохое, и суставы... Да и язык я подзабыла. Все, все забывается!

— Бог с вами, тетя Лиза! Ну что вы оправдываетесь! Вы никому ничем не обязаны! Одно дело — бабушка, а дядя Миша, самый старший из сыновей, как-нибудь обойдется и без французских тряпок. На всех его потомков не напасешься. А теперь еще и жена молоденькая...

— Он что, по-прежнему неотразим? — улыбнулась Лиза.

— Да я бы не сказал. Впрочем, последний раз мы виделись при таких обстоятельствах... На дедушкиных похоронах...

— Миша писал, что Федя умер от тоски по Соне... — Лиза поднялась. — Не знаю, стоит ли об этом говорить, но в последних письмах Соня на Федю очень жаловалась. В его возрасте завести любовницу!

Славик рассмеялся.

— Какая ерунда! Ума не приложу, откуда взялась эта легенда! Вообще в самом конце бабушка его страшно мучила. Но после ее смерти он в какой-то месяц зачах.

— Да, — задумчиво проговорила Лиза. — Это божье благословение — умереть вместе с человеком, которого любишь. Мне не дано.

Славик помолчал, замаялся, не находя нужного выражения лица.

— Мне кажется — продолжала Лиза, — я приносила несчастье всем мужчинам, которых любила. Они все рано умерли.

Она взглянула на портрет супруга, висящий над камином. Камин был уставлен китайскими вазочками и статуэтками.

Славик едва подавил улыбку. Он не считал смерть в восемьдесят девять лет преждевременной кончиной. Но неподдельная грусть Лизы его тронула. Славик подошел к камину. Благородная седина, пиджак, галстук были выписаны добротнo, в духе соцреализма. На фоне темных красок ярким пятнышком выделялась засунутая в угол рамы фотография Лизинoго внука, маленького Энди.

— Они были так привязаны друг к другу, — сказала Лиза. — Хотя Энди всегда знал, что родной его дедушка был русский и что его назвали Андреем в дедушкину честь.

— Такого человека действительно можно полюбить. Очень приятное лицо.

— О, да! — с нерусским акцентом подхватила Лиза. — Приятный — не то слово! Просто святой! Многие думали, что я вышла за него из материальных соображений. Уверяю вас — это было не так. Я ни разу ни о чем его не попросила. Все, что он сделал для Верочки и для Сони, он сделал сам, по собственному желанию. Я нарочно отказалась от своей доли наследства, чтобы ни у посторонних, ни у своих не возникало никаких... никаких таких мыслей. Вот только квартира... — виновато замаялась она. — Скромненькая. Но стоит очень дорого!

— Разумеется. Такой район!

— Да... В этой роскоши я не смогла себе отказать. И еще дерево под окном. Это такая редкость в Париже! Вы не

подумайте, его дети были готовы снять мне квартиру и гораздо лучше. Уж тогда я не позволила бы вам жить в гостинице!

— О, тогда я поселился бы у вас со всей съемочной группой и аппаратурой.

Она рассмеялась. Славик стал складывать пакеты в дорожную сумку и вдруг хлопнул себя по лбу.

— Ой! Чуть обратно не увез самое главное! Вот, тетя Лиза, то, что вы просили. Это с бабушкиной могилы.

Он держал в руках мешочек земли и не знал, куда его положить.

— Вон туда, — указала на подоконник Лиза. — Спасибо тебе, дорогой, большое спасибо!

Лизе искренне было жаль, что Славик ушел. Она прикинула даже, не подъехать ли ей на вокзал, но тут же отказалась от этой мысли. Лиза обернулась к портрету мужа и сказала вслух:

— Я смогу звонить ему по телефону. Вышлю приглашение в гости. Вера поможет.

На мраморном подоконнике темнел мешочек. Лиза взяла его, подержала, борясь с брезгливостью. Что за блажь пришла ей в голову — просить его привезти эту землю! Земля как земля. И что теперь с ней делать?

Она вдруг вспомнила о красивой жестяной коробке из-под китайского чая и пошла за ней на кухню. На кухне еще длился закат. Салатовый, в мелких цветочках кафель тепло светился. Не хотелось возвращаться в комнату, где уже начинались сумерки. Лиза подумала, что всего часа два назад солнце так же быстро падало там, далеко, и его было видно из окна комнаты, где когда-то жили они с Соней, а теперь живут чужие, незнакомые люди. Оно освещало последними лучами кладбище, Сонину могилу. Лизе захотелось оказаться там. Поплакать. Положить цветы.

Лиза снова вспомнила о мешочке и поспешила к нему. Но над мешочком не плакалось. Она затолкала его в коробку и накрыла крышечкой. И вдруг ей все показалось таким странным. И коробочка. И остывающая комната. И весь этот Париж. Несколько секунд она не могла даже

сообразить, как здесь оказалась. Ей хотелось домой. Хотелось побежать за Славиком, будто он ушел именно туда.

Она знала, что там уже вечер. Там играет оркестр, прямо под звездами, на ярко освещенной сцене. Там мальчик со светло-русыми курчавыми волосами, так похожий на только что ушедшего Славика, самозабвенно прижимается щекой к хрупкому оранжевому тельцу скрипки. Смычки взмывают разом и разом опускаются, будто зачеркивают все плохое, что будет потом, а поднятый ими ветер полощет на коленях легчайшие юбки.

1994-1996 гг.

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ «ДОСЬЕ БЕГЛЕЦА»

По следам неизвестного Пушкина

Настойчивое желание великого поэта добиться разрешения отправиться в Европу из ссылки в Михайловском и из Москвы (1824-1829). После отказов Николая I и Бенкендорфа - подготовка к побегу под видом слуги своего приятеля и для лечения болезни, которую он выдумал, подкрепив справкой ветеринара. История вербовки Пушкина в осведомители с обещанием выпустить в Европу. Путешествие поэта в Арзрум с целью нелегально перейти турецкую границу.

Hermitage Publishers, 1993, 271 с, \$ 15

P.O.Box 410 Tenaflly, NJ 07670

На основе критического изучения огромной литературы, писем современников и архивов тайной полиции известный писатель и профессор русской литературной истории Калифорнийского университета впервые в пушкинистике исследует страстное желание поэта покинуть Россию, в которой, как Пушкин сам выразился, черт догадал его родиться с душой и талантом.



Руфь ЗЕРНОВА

АХ, САМАРА ГОРОДОК...

Пожилые супруги и двое их более молодых приятелей в субботу сидели перед телевизором и смотрели русскую программу «Старая квартира».

Это интересная программа. В меру веселая, в меру ностальгическая, в меру страшноватая. Страшноватая, потому что речь в этой серии пошла о сорок девятом годе. Люди вспоминали о разном и по-разному. Оказалось, между прочим, что главным литературным явлением года стала книга «О вкусной и здоровой пище». Неожиданно по поводу этой книги стали ломаться копыта — мужчины, участники этой встречи (как правило, пожилые) были настроены воинственно. Один утверждал, что это был подарок номенклатуре и простым людям она была недоступна — как и те блюда, которые в ней описывались. Другой с негодованием отвел это обвинение, как ненужное очернительство. Потом балерина Лепешинская призналась, что никогда этой книгой не пользовалась, поскольку, вообще, не умеет готовить, но ее подруга, фран-

цузская балерина и замечательная кулинарка, была от нее в восторге. Данин и Борщаговский стали рассказывать о борьбе с космополитизмом, развернувшейся в этом году, а «архивариус» программы указал, что все началось с запрещения «Москау Ньюз»... Все время поминали Сталина — показывали кинохронику, портреты... Потом стали спрашивать сидевших в первом ряду детей — кто это? Даже фамилию знали не все. Особенно утешил зал мальчик лет восьми, который решительно заявил:

— Это не русский человек!

Передача кончалась. И в заключение на эстраду была приглашена маленькая женщина с восточным лицом, — фамилию я сначала не разобрала — которая рассказала, что у нее много гастролей, что она выступает со своими песнями — и русскими и казахскими — в Париже, в Берлине, еще где-то... и ведущий попросил ее спеть то, что она пела в России в сорок девятом году. Она запела — тонким-тонким голосом:

— Ах, Самара городок, Беспокойная я...

И тут хозяйка дома завывала — хрипло, жутко...

Этой хозяйкой была я. Но странно писать о себе: я завывала хрипло, жутко. Хотя так оно и было — я сама себя услышала и испугалась. И муж испугался. Но тут как раз наступил конец передачи.

Давненько это было. В январе 50-го года мы, «политические», — пятьдесят восьмая статья, были отправлены из Ленинградской пересыльной тюрьмы в Бокситогорск.

Что такое Бокситогорск? На карте генеральной? Был ли он городом до советской власти? И как он тогда назывался? БСЭ про это молчит. А в советское время стал Бокситогорск райцентром и, судя по названию, там добывали боксит. Так мы этого боксита и не увидели (кажется из него делают алюминий), нас ждали там совсем другие работы. Но мы, ясное дело, и представления не имели, куда нас везут. Это всегда великая тайна. Хоть везли нас недалеко — за двести сорок пять километров — и мы их покрыли всего за одни сутки. Вагон был телячий, если кто помнит, что это значит. Там были сплошные нары, верхние и нижние, а в середине вагона

— буржуйка (посмотрите в словаре), и мы с Машей Лукиной всю ночь ее топили.

— Ну что, Руфа, хорошо у печки? Полутьма, полутьшина, лицу жарко, спине холодно, ровный стук колес. Так!

Так — стук колес, иногда взвизгнут рельсы на повороте. Поезд едет-едет куда-то, не мчится, но тянет ровно. Маша напевает «Прощайте, Скалистые горы», я смотрю на ее веселое (да-да, веселое! От природы веселое!) лицо и навсегда запоминаю песню. А где в России Скалистые горы? Вроде, в Америке они? Как бы то ни было, хорошая песня и с загадками.

Мой первый этап. Бокситы — Чистюнька — Райчихинск — этапы большого пути. На мотив Каховки. Ну, скажем, не большого, а длинного. И долгого. Первый этап был короткий и нетрудный. Предстояло еще два, но тогда, наверное, и сам Бог об этом не знал.

В этапе опытные лагерницы занимают места на верхних нарах. Маша была опытная, она уже полсрока отсидела («за немцев») — прокантовалась под Ленинградом — но тут ей, видимо, захотелось посидеть у огня. И так и просидели мы с ней — всю ночь. Топили буржуйку.

Мы приехали темным морозным утром. Куда? Это не был город, конечно, — не было городских улиц. Тут память мне изменяет. Помню мороз, редкую темноту, скрип плотного синеватого снега под ногами и наконец — забор, ворота, на воротах освещенный электрическими лампочками лозунг:

«Под знаменем Ленина, под водительством Сталина — вперед, к победе коммунизма». Рядом с воротами будка.

— Вахта, — сказала мне Маша. — Ну, теперь настало время.

Но мы недолго простояли у вахты. Растворились ворота и нас, с вещами нашими, впустили в лагерь. В зону. Уже рассвело и я увидела несколько одноэтажных домиков с трубами на крыше, и из каждой трубы прямо в серое небо совершенно вертикально поднимался дым.

— Вот какой мороз. Дым прямо идет, не завивается, — сказала Маша.

Переключка на морозе, потом баня. В предбаннике

какие-то женщины бреют нам всем лобки: лагерная гигиена.

А в бане хорошо. Жарко. Воды горячей хватает, шаек тоже. Никто не торопит, не подгоняет. И кусочков мыла, что нам роздали, хватает и на голову тоже. Хорошо.

Потом мне говорили, что лагерные придурки — нарядчик, его дружки — откуда-то наблюдают весь это банный маскарад. Возможно. Лагерь этот, как я потом узнала, общий: мужская зона от женской одной только проволокой отделена. И тут и пятьдесят восьмая и разные другие статьи — бытовые, уголовные... Только бараки разные.

Вещи наши тем временем проходят прожарку. А мы, сразу же из бани, голые и теплые, предстаем перед лагерным начальством — оно, в полном составе и в полной форме, заседает в комнате рядом.

Начальство принимало важное решение: на какие работы кого из нас послать. Большого выбора в этом лагере не было: лес или пошивочная, где слабосильные и инвалиды шили варежки. На варежки попадали немногие. Меня спросили — чем занималась на воле. Я сказала, что была переводчицей. — Ну, вот, теперь поработаете в лесу (на вы, однако!) Я, естественно, не протестовала.

За это интеллигентная Ирина Неудачина обозвала меня Жанной д'Арк. Маша Лукина только руками разводила: да вы на себя посмотрите. Вы ж и топора не подымете! — Так они же видели! — Ну и что? Сказали бы: сердце у меня... — А у меня оно здоровое!

Оно у меня, и правда, здоровое. Во всяком случае в Израиле удивлялись: как, вы не получили инвалидности? После лагеря? По сердцу?

Кажется, сейчас оно у меня... в общем, теперь я хоть знаю, где оно находится.

А вообще-то говоря — в этом я бы никому не призналась! — лес казался мне менее страшным, чем швейные машины. Они с детства вызывали у меня — возвращенной мамой и няней — чувство благоговения перед неприспугностью. Дивная вещь — но это не для меня. Топора я боялась меньше, мне казалось, что я понимаю, как им машут.

И, наконец, после всего этого нас повели в барак. И тут нас ожидал сюрприз.

— Девки! Кровати!!!

Да, здесь были кровати. Застланные кровати. С одеялами, с простынями, с подушками. Подушки были набиты слежавшейся ватой, одеяла были тонкие байковые, да и кровати были железные с давно прогнувшимися сетками, но все-таки, как мне сразу же объяснили, это была секция «как у придурков», в других лагерях такие секции бывали только у придурков, т.е. у лагерной obsługi, а работягам полагались двухэтажные вагоны, по три доски внизу и наверху; между каждой парой проход.

А на ночь сверх одеяла наваливали свои телогрейки, или — как мы, лесовики — свои тулупы. И не мерзли.

Тулупы нам выдали в первый же день. Овчинные, не рваные. На левом рукаве моего — и только моего, ни у кого больше этого не было — красовались выведенные белой масляной краской буквы В/П. Что означало — военнопленный. Принадлежал, видно, военнопленному немцу. Я думаю, этого тулупа никто не захотел брать, потому он мне и достался. А мне было все равно — тулуп он и есть тулуп. Но от мужских разношенных валенок с задранными от старости носами я отказалась категорически.

Дело в том, что у меня, по моим понятиям, уже была теплая обувь — довольно просторные серые фетровые ботинки — без каблука, на резиновой подошве. И утром на свой первый развод я в них и явилась. Стою, вдруг слышу:

— Девочка! Да, да, тебя, тебя. Ты что? Ты в этом в лес собираешься?

Смотрю. По виду, по одежде заключенный, как мы, но вроде начальника (оказалось — бригадир уголовников). Не дожидаясь моего ответа, обращается к Полине — нашему бригадиру. Она высокая, ее далеко видно:

— Ты что же смотришь? Она ж там ноги отморозит — а тебе отвечать?

— Да я ей говорила. Она не хотела валенки брать.

— Она что у вас, психованная? Беги с ней в каптерку, живо!

И вслед:

— Надумались! Моду тут соблюдать...

Полина мне это долго помнила: перед чужим бригадиром выставила! весь развод остановила! Это же надо!

Я молчала — уже начинала понимать. И эти подшитые валенки, сорокового размера, носила до самой весны. Надо признаться — ногам в них было тепло.

— Разберись по пятеркам!

Разобрались. По пятеркам залезли в грузовик. Уселись на пол, лицом к конвоирам. Ехали быстро, как говорится — с ветерком. Потом шли по лесу — недолго шли. Лес был ничего, не тайга какая-нибудь — так говорили опытные люди. Елки, сосны, летом вот пойдут грибы, ягоды...

— Вот-вот! Летом как раз тебя сюда и пошлют на грибы-ягоды! Ты лучше просись печенье перебирать. Где это ты видела — лесоповал летом?

В тот же день моментально выяснилось, что я ничего в жизни не видела, ничего не знаю, ничего не понимаю, и хотя топор в руке удержать могу, но толку от этого — никакого. Однако я понимала, что и в швейной было бы то же самое.

Всю предыдущую жизнь я считалась способной ученицей — а тут оказалось, что я не просто неспособная, а тупая.

— Та не зажимай пилу! Тягны, тягны!

— Та кто ж так сучки рубить? Ты шо, не бачила никола, як...

Первый день мне не запомнился подробностями — не хотелось запоминать. Запомнился отвратительным чувством собственной никчемности.

— Делай как я, — говорили мне.

Но и этому надо было научиться — усваивать без объяснения, вприглядку. В конце концов — в тот же день, однако! — меня научили поддерживать огонь в разожженном костре. Дым ел глаза, снег их слепил. Но к костру то и дело подходили, на перекур. И подсаживались жарить хлеб, наколотый на палочку. Угостили меня, оказалось — очень вкусно. Я решила, что завтра тоже возьму хлеб с собой.

Наконец конвоир скомандовал: Кончай работу!

Опять грузовик, опять с ветерком. Ветерок сек лицо, но ехать было недолго, минут двадцать, и на вахте пропустили сразу. И в бараке было тепло — дневальные натопили. Но сразу опять на мороз: в столовую, на ужин — суп и каша, хлеб и чай. Тут я увидела то, чего больше не видала нигде потом: зэка-кусочника. Между столами ходил и останавливался парень в старой военной шинели. Он не выглядел доходягой, но у людей, переживших большой голод, — у ленинградских блокадников, например — такое бывает: это психическое. Ему давали остатки супа — он доедал.

Тут надо сказать — мы, работяги, не голодали. Мы все, более или менее ровесницы, хорошо знали, что значит голод. И что значит постоянное недоедание. Фрида Вигдорова говаривала: сыт — это когда и хлеба не хочется. Так вот, разносолов тут прямо сказать не было, но хлеба — хлеба! — мы получали восемьсот грамм в день.

Вечное воспоминание. Тридцатый год. Мне одиннадцать лет, Ляле шесть. Папа в тюрьме в Харькове, мама тоже в Харькове, живет там у его сестры, а мы — в Одессе с няней. Няня утром приносит хлеб — тот, что нам положен по карточкам, две детских и одна иждивенческая — и делит его на три равные части. Это не блокада — это год великого перелома. И мне положено целых триста грамм от этого бесценного черного чуть сыроватого кирпичика. И ничего вкуснее этого хлеба нет, и вечно мне хочется еще — и однажды я зачем-то полезла в большой кувшин, который стоял на леднике в передней — и там был кусок хлеба. Я поняла, что это няня свой кусок припрятала. И я его съела.

Днем няня тихонько меня спросила: это ты вязла хлеб с холодильника?

И я сказала: нет.

Она больше не спрашивала. А я до сих пор помню. И в лагере иногда вспоминала.

В тот, первый вечер я повалилась спать, не дожидаясь отбоя, — благо не тюрьма, ложиться до отбоя не запрещается. Сон навалился сразу, без сновидений. И в этом было

еще не осознанное счастье, потому что сны — это воспоминания. А вспоминать нельзя!

Это я сказала себе — когда? В тюрьме? Нет, все-таки позже — после приговора. Может быть, в общей камере. Я не запрещала себе помнить — это совсем не то, что вспоминать. Помнишь — и помнишь, куда этот груз денется. Лежит себе на дне балластом и лежит. Но вспоминать...

Вот Ахматова. В «Поэме без героя»:

Между «помнить» и «вспомнить», други,
Расстояние как от Луги
До страны атласных баут.

Верно. Как от города, означающего для ленинградцев «сто первый километр» (ох, ведь надо и это, общеизвестное, объяснять вам, новым, русским и нерусским. Потом объясню, не забуду!) — до звенящей, карнавальная Венеции. Слово «помнить» отдает вечностью, «вспомнить» — жизненной суетой. А вспоминать?

И тут еще не все точно. Скажем, вспоминать друзей, подруг — сколько угодно. И разговоры с ними и смешные случаи, смешные фразы, остроты, словечки. И любовников — хотя чаще вздыхателей (с неодинаковыми эмоциями). Но были табу. Строжайшие ТАБУ. Дети.

То есть, я даже говорить о них могла — даже рассказывать случаи, забавности, даже читать вслух их письма... Помню, письма моего сына всех веселили: в одном было рассказано, как делать яблочный сок: натереть яблоко, налить воды, потом соду и — пшшш! А в другом — вопрос: «мама, напиши, кем ты работаешь». Рита Костюкович, девочка из «полуввета» — то ли из вороватек, то ли не вполне (явно из порядочной семьи, однако), хохотала:

— Директором!

Мы в это время разбрасывали на полях удобрения. Работа как работа — осмысленная, нужная, но не самая директорская.

Но рассказать кому-нибудь — нет, даже вспомнить, как мы с сыном пошли в ДЛТ купить ему белишко, и он

впервые в жизни — а было ему два с половиной — увидел игрушечную лошадку и тихо взмолился: мама, купи! А муж уже был уволен из Гослитиздата и мы ждали ареста.

А вспоминать — не рассказывать, вспоминать — как я разгневалась на дочку из-за разбитой чашки, и грозно поднялась из-за стола, а она побежала от меня, твердя: «мама, я больше не буду, я скажу прощение»... Да я и сейчас, когда вижу перед собой эти буквы...

Как назвать все эти табу (а их было немало)? Раскаянье? Стыд?

Года два тому назад один российский человек, проживший в Америке десять лет, уверовавший в нее и в ее передовые глупости, сказал мне:

— Стыд — это ведь негативное чувство.

Я опешила. Ответ пришел не сразу. Через день-другой:

— Стыд сделал человека человеком.

Имея в виду, как вы понимаете, случай с Адамом. А откуда, кстати говоря, взял Адам слово это? Где он его нашел?

А он и не нашел его. Нашел слово: убоился. Страх он знал еще и в раю. Но чтобы осознать стыд, пришлось отведавать запретного яблока. Т.е. стать человеком.

Тот, кто мне объяснял про негативность стыда, усердно проникался американской идеологией. Он даже посещал собрания алкоголиков, чтобы отстать от пагубной привычки — выпивать с друзьями. Попутно им внушали, что каяться им в не в чем, и они должны жить в мире с самим собой, ... а вот их жены, получившие общее определение «ко-депедент», то есть «зависимые» — ни в коем случае не должны жить тревогами и мучениями своих мужей. Что-то освободительное в этом роде. Я испугалась: проповедь эгоизма? — Да, да! — был ликующий ответ. — Разумного эгоизма, да? — спрашивала я с последней надеждой. В ответ недоуменное пожимание плеч. Про женщину, постоянно помогавшую людям, попавшим в беду, — мы всегда ею восхищались — они говорили: типичная кодепедент!

Школьницы объясняли мне, что древние египтяне были

негры. Кроме того они вносили свою лепту в современное мировоззрение, разрушая миф о Колумбе: Колумба совершенно не за что славить — он был глуп, не знал, что земля круглая, хотел только «сделать деньги», и вообще, имел роман с королевой... Странно, все-таки, что все эти речи я слышала в христианской когда-то и — не так давно! — пуританской Америке. Надо быть справедливой (ох, как это трудно!). А тот, кто объяснил мне, что стыд — чувство негативное, в самом деле наглухо отказался от алкоголя. И лишился простой человеческой радости — выпить с друзьями, поверив, что он алкоголик.

Я лично не верю, что человек создан для счастья, как птица для полета. Про птицу для полета — верю. Может, и человек для полета создан? Это как-то вероятнее.

И верю в стыд, и в совесть, и в поговорку «ни стыда, ни совести», и даже в раскаяние — и, признаться ли? — не стыжусь этого. Хотя это не дает человеку чувство внутреннего комфорта.

И когда мне похвалили американскую школу за то, что она с младых ногтей воспитывает в детях положительные чувства по отношению к себе и каждый хоть за что-нибудь получает в конце года похвальную грамоту, я грубо спросила:

— А читать они умеют?

— Ну, это может быть. В конце концов — важнее, чтобы у них не было комплексов.

— А писать?

— Ну конечно, пишут с ошибками.

А я думаю, что ученье — свет. И что свобода должна включать некомфортное чувство долга.

Далеко меня завело мое лирическое отступление. Но времени осталось немного, а высказаться хочется. По всем вопросам.

Я привыкла. Привыкла к «этой жизни». Даже ходила петь хором под баян и на танцы тоже. Ничего не выдумываю. Лагерь-то — это был образ жизни того времени. Советский образ жизни. Все слои общества были представлены. И воры в законе, и другие «законники» — те, кто

сидел по закону от седьмого-восьмого (седьмого августа 1932 г. то есть) — и которые не подлежали никаким амнистиям и отсиживали свои десять лет от звонка до звонка, как пятьдесят восьмая. И «бытовики», как правило расхищавшие понемножку и амнистии подлежавшие, и расхитители в особо крупных размерах, когда подлежавшие, когда и нет... И мы — пятьдесят восьмая, во всех вариантах, во всех призывах от повторниц «тридцатисемишниц», отсидевших по десятке за мужей и начинавших новое десятилетие, до тех, которые сидели «за немцев» — мужчины и женщины, военные и гражданские, как правило, молодые, и число их не таяло, а пополнялось с годами: до самого пятьдесят пятого года на них поступали материалы, их искали — и находили.

Три с лишним месяца мы, пятьдесят восьмая, антисоветчики, прожили в этом, самом советском образе жизни, и даже закрутилось несколько кратковременных романов, и один даже закончился браком на воле — я говорю конечно о малосрочниках. Люди есть люди.

В феврале ко мне приехала на свиданье сестра. Она была у меня и на самом первом свиданье — во внутренней тюрьме, через две решетки, и мы разговаривали по-французски, чем поставили в тупик тех, кто потом прослушивал звукозапись. Я так это понимаю, потому что мне вскоре дали второе свиданье, — это никогда не делалось — через две те же решетки, но с предупреждением, чтобы те, кто знает национальные языки, говорили только по-русски. И на пересылку приходила вместе со свекровью моей.

И в Бокситогорск она приехала одна из первых и даже обещала привезти с собой, поближе к весне, мою дочку.

Ее внешность — все ее увидели, когда она уходила — наши бригадники обсудили с пристрастием и решено было, что она очень интересная. Только Маша Дмитриева, рыжая красotka, сидевшая «за немцев», отозвалась неприязненно:

— Интересная, интересная... Ты пень одень в ясный день — и тот будет хорош. Вот у Рензиной дочка — это да, интересная.

Дочка Рензиной и вправду была очень хорошенькая, но тут дело не в этом. Моя сестра тоже была рыжая, как Маша. А всем известно, что рыжие не терпят других людей этой масти.

Так и жили. Кто покрепче на лесоповале — и даже я в конце концов научилась не зажимать пилу. Слабосилка — в пошивочной. А по вечерам все вместе — бытовики и пятьдесят восьмая — и на танцы ходили, и хором пели под баян про партию, которая наш рулевой. Мастер цеха, где наша слабосилка шила самые уродливые в мире варежки, замечательно играл на баяне и возглавлял самостоятельность. И мы даже репетировали пьесу. Знаете, какую? «Вас вызывает Таймыр», пьеса Галича (да-да, того самого) и Исаева. Я рассказала это Галичу лет через десять.

Правда, поставлена она была уже без нас — видимо, пришло очередное распоряжение о необходимости изолировать честных советских растратчиков от злокозненной пятьдесят восьмой. Официальное наименование «враги народа» к тому времени было отброшено.

Зимний световой день короток. И для нас, и, главное, для конвоя. Поэтому нас с работы в лесу снимали в четыре часа. У конвоя даже поговорка была: «хорошая фамилия — четыре часа!» Потому-то и оставалось время у нас еще и для репетиций. Так и жили и в бараке засыпали беспробудным сном — до подъема. И ни о чем мы — нет, не смею сказать «мы», — ни о чем я не вспоминала. Знала дисциплину.

Однажды мы, «артисты», вернувшись с репетиции, что-то еще довольно долго обсуждали. И тогда бригадирша Полина мне крикнула со своей кровати:

— Руфа Александровна (да-да, по имени отчеству!), ложитесь-ка спать: завтра вам придется быть лошадкой.

— Как так?

— А вот завтра и увидите. Ложитесь лучше.

Легла. И даже не успела подумать, что бы это значило. Оказалось, что быть лошадкой не так и страшно, а главное — не требует никакой особой сноровки. Просто на тебя надевают упряжку и ты впрягаешься в — санки? Дровни? Происходит трелевка: поваленные, обессученные (кажет-

ся, я это слово сама придумала) и распиленные деревья свозят в одно место и там складывают их в поленницу. А то место, где только что все эти бывшие деревья валялись, обнажается и превращается в полянку. Вот такая идиллия. Поначалу это не слишком тяжело, и я даже шепотком твердила про крестьянина, который торжествуя на дровнях обновляет путь, и его лошадку. Ритм помогал. Но к четырем часам мы — лошади — ну, в общем, устали, и даже предстоящий ужин в столовой не радовал. Тем более, что мы довольно долго кантовались у костра.

В тот день, когда мы вернулись, и нас пересчитывали на вахте («берегут как золото, ценят как говно» — лагерная поговорка), дежурный спросил что-то у Полины, она указала на меня — вот она! Он поманил меня пальцем:

— К тебе там опять на свиданку приехали — сестра, наверно. С девочкой. Беги скорей в барак, умойся!

Видно, я сильно закоптилась у костра.

Я их ждала. Сестра, когда была у меня в прошлом месяце, обещала, что в следующий раз, если все будет хорошо, привезет Ниночку.

Я не видела ее почти год — с 6-го апреля сорок девятого года. Она тогда спросила человека, который меня уводил:

— А мама куда уходит?

И человек этот, маленький и невзрачный, весело ответил ей:

— Вернется мама, вернется!

Словно бы — не ответ на вопрос, а обещание. Он думал — лживое обещание. Оказалось — не совсем. Я все-таки вернулась в тот самый дом, откуда он меня увел. Через пять лет и три месяца — но вернулась.

А тогда она стояла в передней, и сын тоже там был, но вопрос задала она. Скромно, но озабоченно. Ответственно. Она всегда чувствовала ответственность — за меня, за отца, но главным образом за младшего брата. В ту самую весну к нам приходила медсестра и сделала ей укол против чего-то, первый раз в ее жизни. Она, рыдая, взмолилась:

— Бубика не надо!

Бубик — это она дала ему такое кукольное имя и он довольно долго на него отзывался. Пока не восстал, заявив, что он Марк Ильич.

Она была такая же, — задумчивая, робкая и трогательная. Не помню, какое на ней было пальтишко, какое платье — хотя наверняка это и готовилось, и обдумывалось. Не помню, как «обставлена» была комната свиданий, хотя потом побывала там еще один, последний раз, — на свидании с сыном. Обыкновенная комната, большая, и много стульев. Помню, у окна сидел молодой лагерник с женой — тоже свидание. Они разговаривали — тихо, я не слышала о чем, но все время разговаривали. А у меня разговор не получался: я посадила ее на руки. Тут это было возможно. Горестное счастье.

Помню поднятые ко мне абсолютно доверчивые глаза. И как она читала слова в газете тут же в комнате свиданий оказавшейся. Не по складам, а сначала про себя, потом вслух, но с легкой интонацией неуверенности:

— Литература?

За этот год она научилась читать. Букву «р» я ее научила произносить еще перед нашей разлукой — и всю жизнь этим гордилась.

Старичок-инвалид, который ведал комнатой свиданий, подошел, послушал, как она читает и сказал:

— А ты мне расскажи стишок!

Она смущенно опустила головку. Потом поглядела на меня — и опять опустила.

— Прочти, прочти. А я за это маму домой отпущу!

Она посмотрела на него, на меня — потом на Лялю. И на ушко спросила ее:

— Дядя шутит? Не отпустит?

— Конечно, шутит, — сказала Ляля.

Старик отошел. Я тогда на него не рассердилась за «шутку» — чего там, он не хотел ничего плохого нам. Сам такой же, шутил, как всегда с детьми шутят.

А теперь, когда столько лет прошло, я все-таки думаю: зачем же он так? Ведь он сам такой же!

Через тысячу лет, уже сюда, в Иерусалим, Ляля написала:

«И по-моему, на обратном пути она спросила:

— Почему мама не едет домой?

— Она работает.

— Но ведь она уже поработала. Пусть теперь поработают другие».

Свидание продолжалось меньше часа. И вот, твердо произнося букву «Р», девочка сказала:

— Мама, а ты знаешь песню эх Самара городок?

— Знаю, детка.

— Спой мне!

Может, это было воспоминание? Я каждый вечер — а то и по ночам — им пела всякие колыбельные. Самара — это была новость. Я никогда им ее не пела. Видно, она заслонила все прежние песни.

Голос у меня — ну, то что с некоторым допуском можно назвать голосом — низкий, зато негромкий. И не фальшивый. Я начала Самару. Но дочка поморщилась.

— Ты не так поешь!

— Почему не так? А как надо?

— Надо тоненько-тоненько... Вот как Лялочка. Лялочка, покажи, как надо.

Сестра сказала:

— Я сейчас не могу. У меня горло побаливает.

Вероятно у нее ком стоял в горле.

— Лялочка очень красиво поет, — убежденно сказала дочка.

А теперь о воспоминаниях.

В 56-ом году — когда грянула оттепель — я написала рассказ «Кузькина мать». Виктор Некрасов, который тогда снимал «Солдаты», читал его своим актерам — Соловьеву, Смоктуновскому и признавался, что их всех прошибла слеза. В журналах он тоже вызывал чувства, но при первых же заморозках мне его возвращали. Надо сказать, что когда я через двадцать лет принесла его в «Континент», в редакции он вызвал снисходительный смех: нашла, дескать, о чем писать. И в Советском Союзе и за его пределами котирировался бескомпромиссный героизм, ненависть к угнетателям и всевозможные острые

приправы, — но ни в коем случае не тихая покорность судьбе. Фрида Вигдорова передала мне отзыв Оттена: «Да, хорошо написано, но почему она пишет так, как будто это все нормально?»

Я не очень знала, что на это отвечать. Нормально? Ненормально? Миллионы женщин — точных цифр у меня нет, но — миллионы! — живут именно так, год за годом, лето за летом, зима за зимой — это нормально? Это привычно, это их жизнь. Вам не нравится, что автор не гремит обличениями и проклятиями? А автор сам внутри этой жизни и — навсегда. Как писала Ольга Берггольц о блокаде:

...Я вмерзла в твой неповторимый лед.

За это ей довольно сильно вмазала послевоенная критика.

Милая, мягкая Бетти Шварц — редактор Ленинградского телевидения — прочитав мой первый восьмистраничный лагерный рассказ «Тонечка», вздохнула:

— Зачем вы себя мучаете?

Какая же это мука? Это, скорее, освобождение.

Моя десятилетняя внучка, американка, осторожно спросила:

— Бабушка, а правду говорят, что ты сидела в тюрьме?

И оглянулась — не слышит ли кто.

Нет, я никогда не стыдилась и не боялась своих лагерных воспоминаний. И не терзалась ими.

Но вот — о том, как привозили ко мне на свиданье детей никогда не рассказывала. И знаю почему: для меня эта тема — дети — была запретной. Я не только об этом не рассказывала — я об этом не вспоминала. Этому я научилась в тюрьме: не трогать болевых точек.

И тут, когда ее совсем не ждешь, через сорок семь лет — Самара.

Позвонила из Лондона моя дочь — раз в месяц она, как правило, звонит. И я ей сказала:

— А я из-за тебя сегодня ревела.

— Из-за меня?

— А ты помнишь... Наверное не помнишь. Как тебя

привезли ко мне на свиданье в Бокситогорск? И ты попросила меня спеть «Ах, Самара-городок»...

— Ой! То есть, как Лялочка меня привезла — помню, и как мы ехали обратно — помню... Автобус застрял, и люди бросали под колеса ветки... Но Самара... Помню, конечно, песню эту, Самару... Она отовсюду... Из окон, по радио...

— А что меня попросила спеть — не помнишь?

Эх, Самара-городок,
Беспокойная я,
Беспокойная я,
Успокой ты меня.

ГРИГОРИЙ МАРК „Имеющий Быть“

Роспринт, Санкт-Петербург, 1997

Стихи, сценарии, фантазмагории,
рассказы, пьесы.

Цена книги - 8 долларов. Книгу можно
приобрести в книжных магазинах
Москвы, Петербурга, Нью-Йорка и
Бостона



*Претворяясь в слова, повторяюсь:
притворяюсь я, что притворяюсь.*

Грибное место желтых фонарей.
Плывут, как щепки по реке, погоны.
И свет в кристалле будки телефонной
дробится миллионом плоскостей.

Чужое время, взятое взаймы,
течет дождем и двойничок мой пьяный
пиликает мотив из Дон-Жуана
опять всю ночь у городской тюрьмы.

Танцует в луже старый идиот,
махая лопастями теней синих.
Сверкают брызги веером павлиньим,
и воздух жизни из бровей идет.

Грозит толпе. Глотает черный дым,
из уха палец высунув громадный.
А в небесах летящий Медный Всадник
десницей раздвигает дождь над ним.

17 июля 1996

Григорий МАРК

ЛЕТАЩИЙ МЕДНЫЙ ВСАДНИК

Ручьи наших жизней, впадающих в круглое озеро смерти,
мелеют, все ближе уже к берегам подступают болота.
Тяжелые лодки с вещами течение медленно вертит.
Над спящей землей одинокий пилот смотрит вниз
с самолета.

18 ноября 1996

Молитва

Полированный стол, как прилавок пустой,
За ним сидит я, поджидая бесцельно,
с душою, распластанной перед Тобой —
торговец с товаром из слов самодельных,
обмотанных нервами.

21 ноября 1996

Возле Большого Дома

В трамваях все те же старухи с детьми
сидят неподвижно, скрежещут колеса
в Литейском проспекте напротив тюрьмы,
где столько часов я провел на допросах.

И каждую ночь, ухмыляясь, плывет
в венце из размокших трамвайных билетов
по черной Неве отраженье мое...
Но я не живет уже в городе этом.

19-20 окт. 1996

М. Эпштейну

Крылатым Посланцем вполнеба опять
над городом черная туча застыла.
Круг солнца на теле его, как печать,
горит ровным светом — знак власти и силы.

Посланец от Господа истинной Торы,
край неба к земле наклонив незаметно,
пригнулся и слушает город, в котором
на маленьких кухнях растут разговоры
травую сквозь камни — бессвязный ответ наш.

25-26 авг. 1996

Касаний звучащая сочность:
поверхностью век, осторожно
потрогать свет солнца проточный —
лишь коже еще верить можно.

12 ноября 1996

Диптих Зеркальных Автосонетов

«Против себя поведу свою речь». (Иов)

1

Спрессовано слоистой амальгамой
лицо в тяжелом шлеме из волос.
Скопились сны в мешочках под глазами
под тонкой пленкой пересохших слез.

Ползет между стоваттными зрачками
как ледокол из Зазеркалья, нос
по океану отблесков, упрямо
шипя ноздрями круглыми взасос.

Из горла лезут мертвые слова.
Бескровных губ тугая тетива
натянута усмешкою кривою.

Стою, в себя уставясь, не дыша.
И мертвую петлю над головою
выделяет в воздухе душа.

2

Сияет зажатая между губами дыра.
Там веретено сигареты из сизого дыма
волокна тугие сплетает всю ночь до утра,
и ноздри, как жабры, глотают пространство над ними.

И смешаны в кучу: надбровные крылья, гора
горбатого носа, глазницы, морщин пантомима...
Но все это вместе доводит лицо до добра —
похоже и впрямь, отражения сраму не имут.

Всмотрись: здесь ничтожная часть твоего существа.
И даже ее не вместить. Попытайся сперва
запомнить хотя бы, как в зеркале желтом с повинной

стоит стих-мой-я о четырнадцати головах.
Закончена очная ставка... пора, очевидно,
сонетным замком запереть отраженья в слова.

Янв., 1997

Книгу раскроешь и буквы ссыпаются к сгибу,
как тараканы от яркого света бегут.
В белых страницах два тела сплетаются в жгут.
Если всмотреться — становятся волосы дыбом.

Проще захлопнуть и выкинуть книгу к чертям...
видно, до дыр прохудилось чем чувствую я.

*Дрожь пробегает по карандашу,
и строчки бьются как кардиограмма:
глаголом прижигая себе раны,
я напишу все то, что напишу.*

Слова поглощают слова.
И уже невозможно
различить среди них голоса.
Лишь в ушах мельтешит
жужжание пишущих трутней
на пасеке Божьей,
да от мертвого запаха ульев
воротит с души.

И хочется плюнуть на все,
позабыть про словесность.
Стать бухгалтером, в хитрые цифры
нырнуть с головой.
Но кто-то живущий, живущий
незримо во всех нас,
охраняет, как видно, меня
от меня самого.

12 февр. 1996



Владимир ДОБИН

УВИЖУ Я СОЛНЦЕ ВДАЛИ

Желтая звезда

1.

Опрокинуты камни могил —
намалеваны желтые звезды.
Этот город о нас позабыл —
не напомним ему: слишком поздно.

Но, хоть там нас практически нет:
не видны горбоносные лица, —
вновь кровавый предутренний свет,
шесть концов огибая, струится.

2.

Этих желтых еврейских лучей,
этих звезд, протыкающих небо,

здесь, у нас, не коснется ничей
взгляд — заклятым врагам на потребу,
и ничей оглушающий вой,
смердный дым над неубранным полем
не останется навек со мной,
словно память о вечной неволе.

3.

Я забуду, уйду, убогу,
улечу через море, уеду...
Не оставлю следов на снегу,
чтоб меня не искали по следу.

Не оставлю следов на волне,
я растаю в тумане белесом,
чтоб забыли они обо мне —
за горою, за морем, за плесом,
чтоб отныне во веки веков
там — в огне,

в душегубке,

на плахе —

не бывать мне, потомку жидов,
с желтой меткой на черной рубахе.

10 апреля 1996 г.

* * *

Прошла пора цветения агав,
и сохнут кактусы, тоскуя без дождей.
Совсем не важно, кто из нас неправ, —
природе нету дела до людей.

Октябрь. Полдень. Тень стоит в углу,
как черный зонтик, жаждущий дождя.
Опять играем в странную игру,
где будет все, полжизни погода.

Хватило б только времени и сил.
Вот этого я нынче и просил...

29 октября 1996 г.

Тени станут темней и длиннее
на закате печального дня,
когда десять кипастых евреев
все-таки похоронят меня.

Страсть как этого мне не хотелось...
И сейчас не хочу я ничуть,
чтоб мое драгоценное тело
кто-то мог в полотно завернуть
и в разрытую землю по знаку
опустить под молитву, спеша...

Впрочем, что я про эту бодягу?
Ведь бессмертна душа!

19 декабря 1996 г.

* * *

Как дерево хочет остаться живым,
бумага — чистейшей,
душа — непорочной!..
Но кто это все гарантирует им
в Галактике нашей, столь явно непрочной?

Быть может, в других, неизвестных мирах
сбывается все, что задумано было,
не гонит беда
и не мучает страх,
и смерть не торопит до самой могилы...

Но не дал Господь нам счастливой судьбы,
и жизнь проживаем — какая досталась,
и рады мы,

рады мы,

рады мы быть,

хоть это такая в Галактике малость.

5 декабря 1996 г.

* * *

И только поднимется пыль над дорогой,
как сразу же в этой пыли
увидю я лик не пророка, не Бога,
увидю я солнце вдали.

Оно будет словно туманом покрыто,
но проблески желтых лучей,
как будто сквозь мелкое звездное сито,
увидю я, старый еврей.

И вдруг мне покажется, что издалека
навстречу мне в этой пыли
идет кто-то очень похожий на Бога,
почти не касаясь земли.

И будет явление настолько реально,
что встану навстречу ему,
и на сердце станет светло и печально,
а отчего — не пойму.

29 октября 1996 г.

* * *

Что-то со мной случилось,
произошло со мной —
вдруг во мне появилась
жажда жизни земной.

Пытаюсь понять я птичий
язык на закате дня.
Люди разных обличий
интересуют меня.

Чего я не видел — вижу.
Откуда же эта грусть?
Здесь даже небо — ближе.
Этого и боюсь...

13 декабря 1996 г.

Свет из глубин — так бьют прожектора.
Теней и света беглая игра,
и нет уже ни тайны, ни спасенья.

Над пристанью не чаек резкий крик,
а солнца огнедышащего лик,
как в день последний — светопреставленья.

Свет из глубин — так в давние года
вдруг расходилась волнами вода,
вскипая пеной за ихтиозавром.

Туман вдоль моря стелется, скользя.
Не разглядеть нам прошлого нельзя,
но можно не загадывать на завтра.

29 октября 1996 г.

Музе

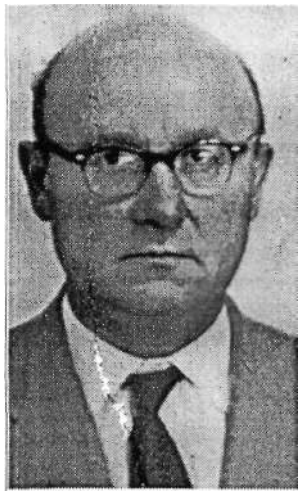
Так вот это и есть удача,
хоть эти томики стихов —
из боли, и тоски, и плача,
а вовсе не из слов?

Ты этого хотела, Муза?
Забыла, как я в жизни той
во всех гостиницах Союза
сражался с немотой?

Когда, заночевав в дороге,
пытался я (до тошноты)
писать сонеты и эклоги,
молчала ты.

Ну что ж...
Теперь-то ты довольна?
Смотри — все больше, больше книг...
Но как, проклятая, мне больно
жить ради них.

10 декабря 1996 г.



Ной РУДОЙ

ПОСЛЕДНИЙ УЛИЧНЫЙ ФОНАРЬ

В свете разгоравшегося дня
Тень короче и длинней дорога,
В свете разгоравшегося дня
Я хотел и смел. А знал — немного.
В свете угасающего дня
Путь короче, тени все длиннее.
В свете угасающего дня
Я хочу и знаю. Но — не смею.

* * *

Ветка ели стучится в окно.
На дворе неуютно, темно.
Отогреться бы в комнате ей,
Но погибнет без кроны своей,
Без ствола своего и корней.

Позабыла она обо всем.
Видя только ненастье и мглу,
Несмысленная просится в дом -
И стучит, и стучит по стеклу.

* * *

Экспресс летит в кромешной мгле,
И ты в вагоне освещенном
Себя лишь видишь на стекле
В прямоугольнике оконном.
Свет погасил и в тот же миг
Твое исчезло отраженье, —
Когда ты вновь к окну притник,
Все за окном пришло в движенье.
Мир долго был неразличим,
А ты и не подумал даже,
Что отражением своим
Мир заслонил ты от себя же.

Кровь

Она не томится сосудистым пленом,
Бежит по упругим артериям, венам,
Большим или малым — не сыщешь числа...
Но тело внезапная боль обожгла,
И кровь покидает упругое ложе
И каплей густой проступает на коже,
И нет этой капле дороги назад, —
Свернувшийся сгусток, что мертвый солдат,
Не дал разгореться неравному бою,
Мгновенно закрыл амбразуру собою.

* * *

Да, все сравнивать умеет снег,
Весь лик земли — бугры и впадины,
Ее рубцы, морщины, ссадины
И русла присмиривших рек.

А ведь земля, что человек,
Тут что ни шаг, то откровение.
Я знаю, что прекрасен снег,
Но это страшное умение
Своеобразным пренебречь,
Сравнять, сгубить неповторимое,
В один мертвящий цвет облечь
Несхожее, несовместимое...

«Афганец»

Совсем недавно в мастерской протезной
Примеривал я свой протез железный
Среди таких же, как и я, солдат,
Которым далеко за шестьдесят.
Был юноша на костылях средь нас,
И рвался из его усталых глаз
Мне душу обжигающий упрек:
«Что мой отец — он знать войну не мог.
Но ты, узнавший ужас тех дорог,
Как ты, скажи, меня не уберег?»

Сикстинская мадонна

Столько жертвенности материнской
На лице у Мадонны Сикстинской,
Что она мне казалась в детстве
Стерегающей весь мир от бедствий.
Я расстался с рассветной порою,
И мадонна мне стала сестрою.
А вот нынче — к закату поближе —
Я иной эту женщину вижу:
Сквозь синеющий сумрак вечерний
Взгляд ее различаю дочерний.

* * *

В наш век не распинают на кресте.
В наш гулкий век технического взлета
И палачи, поди, уже не те —
Попроше стала палачей работа:
И стулья электрические есть,
И механические есть секиры,
И смертоносный газ — всего не счесть.
Но, как и прежде, в мире нету мира.
Но, как и прежде, гибнут города,
И умирают мальчишки-солдаты,
И умывают руки, как тогда,
Сегодняшние Понтии Пилаты.

* * *

Меня ощущение бездомности
Преследует непрестанно,
Как будто в небесной бездомности
Лечу и никак не пристану
К планете, звезде иль туманности,
Иль к самой невзрачной комете.
Неужто ни грана гуманности
Уже не осталось на свете?
С мольбою куда не потянешься —
Молчание, все онемело.
О, сжалься и дай мне пристанище,
Любое небесное тело!

* * *

Узорный уличный фонарь
Из тех, что освещали встарь
Фургоны, лошадей и сбрую,
И каменную мостовую,
Настилы по ее бокам.
Он дед неоновых реклам,
Он прадед ламп дневного света,
Что скрашивают до рассвета
Автомобильный дым и гарь.
Узорный уличный фонарь...

Особняки тут снесены,
И выросли другие зданья,
А он — осколок старины —
как из другого мирозданья.
Жердь, на которой он повис,
Так накренилась — рухнет скоро.

Узорный уличный фонарь.

Увы, кому какое дело
До прошлого, что уцелело
И ревностно служило встарь...

Последний уличный фонарь.

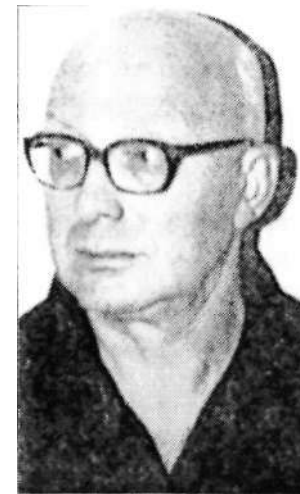
* * *

Как я тружусь над каждой строкой!
Мой тяжкий труд — сизифов труд порой.
И как бы я дыхание ни напряг,
Как бы строку ни жаждал одолеть я, —
Меня всегда подстерегает враг:
Неверный шаг, один неверный шаг,
Не слово даже, просто междометье;
И все, что я тесал, пилил, крепил,
Что воздвигал в минуты вдохновенья,
Все рушится — от пола до стропил...
Вот камни, брусья — только нет строенья.
Вот глыбы слов. Но нет стихотворенья.

* * *

В минуту откровенности
Твердил он: «Все уродство:
И крест неполноценности,
И комплекс превосходства»
Но в это не поверю я.
Меж ними разве пропасть?
Я знал высокомерие,
Что породила робость.

РОССИЯ
НА ПЕРЕПУТЬЕ



Владимир ШЛЯПЕНТОХ

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ СТРАХОВ

Взгляд из-за океана на посткоммунистическое общество

Широко раскрытыми, удивленными глазами советские люди наблюдали, как незабываемого 23 августа 1991 года ликующая толпа стаскивала с пьедестала на Лубянской площади статую Феликса Дзержинского, отца-основателя советской политической полиции. Люди были уверены, что эпоха страха закончилась.

Действительно, в посткоммунистической России «объем страха на душу населения» по сравнению со сталинским периодом снизился в огромной степени. Активность наследников КГБ в общественной жизни свелась почти что к минимуму. В стране нет политических заключенных. Печально известный Главлит, управление цензуры, был демонтирован много лет назад. Осведомители все еще существуют, но они в значительной степени игнорируются населением. Страх перед контактами с иностранцами полностью исчез в Москве,

хотя все еще существует в стертой форме в провинции.

Однако произошел поразительный, никем не предвиденный процесс: страхи, после того как они достигли очень низкого уровня в 1990—91 годах, вновь резко возросли в последующие времена, и что особенно важно — в новых формах. Могло ли россиянам пригрезиться в том великольном августе, что новые страхи будут конкурировать с теми, которые порождает «Большой брат» — всемогущее деспотическое государство с его политической полицией и армией осведомителей? В действительности произошло нечто невообразимое — централизованный страх «успешно» заменен децентрализованным, не менее отвратительным, чем та разновидность, которая была описана еще Оруэллом.

В прошлом правящая элита осуществляла монополию на преследование граждан — от арестов до увольнений с работы. Репрессии находились под строгим государственным контролем. Можно утверждать, что за годы советской власти КГБ никогда не выходил из-под жесткого контроля Кремля. Его сотрудники никогда не делали того, что им было не разрешено хозяином Кремля — ни в сталинские времена, ни после. Внутри КГБ каждый шаг чекиста жестко контролировался вышестоящим начальником, и даже вербовка рядовых осведомителей требовала утверждения, по крайней мере, на трех уровнях кагебистской иерархии. В то же время партийные органы — в сталинские времена только на уровне ЦК, в послесталинские уже на уровне обкома — всегда были высшей инстанцией для политической полиции, по крайней мере, не менее важной, чем ее прямое начальство.

После 1991 года с резким ослаблением государственной машины и стремительным падением государственной морали в обществе возникло множество источников страха для жителей страны и ее гостей. Вот их краткий обзор.

Во-первых, это «мафия» — многочисленные преступные структуры, большие и малые. Во-вторых, «кланы», что согласно современному русскому лексикону обозначает альянсы между политической, финансовой и криминаль-

ной группировками, возглавляемыми бывшими и действующими политиками и бизнесменами.

Мафии и кланы теперь назначают «наказания» тем, кого они считают врагами, кто нарушает свои обязательства перед этими организациями, предаст их или является держателем стратегической информации, которая может их разоблачить.

Если обратиться к событиям последних лет, можно прийти к выводу, что, как и в сталинские времена, наиболее уязвимым для преследования является высший слой общества, самые активные и образованные люди: бизнесмены, политические деятели и журналисты. Все они и их семьи — и чем выше их социальный уровень, тем больше — живут в ощущении нескончаемой опасности. Согласно опросам конца 1996 года, не менее половины всех бизнесменов находятся в постоянной тревоге за свою жизнь и за жизнь своей семьи. Другие проблемы беспокоят их гораздо меньше.

Страхи «сильных мира сего» вполне реальны, даже если эти люди, как это обычно бывает, преувеличивают вероятность трагических исходов для них. За прошлые два года были убиты или были объектами покушения не менее двухсот банкиров и деловых людей. По другим данным только в 1996 — более 450, особенно в нефтяном бизнесе, а также множество журналистов.

Между тем, ни одно крупное убийство в Москве, равно как и террористические акты в столице (в том числе на Котляковском кладбище, где было убито 13 человек) за последние годы не были раскрыты.

Не менее примечателен страх убийства, который витает над лидерами российского политического и экономического истеблишмента. В течение 1996 года столица была переполнена слухами о том, как виднейшие фигуры в политике и бизнесе, новые и старые, планировали убийства друг друга, как они несли ответственность за убийство Владислава Листьева и как каждый из них пребывал в уверенности, что его личная жизнь в опасности и что все средства, включая чуть ли не ежедневную смену квартиры для ночлега, разумны и необходимы.

Покушения на Березовского и Гусинского в 1994—1995 годах, равно как и почти успешное покушение на Бориса Федорова, лидера влиятельной спортивной организации, приближенного к кремлевским политическим деятелям, в июне 1996 года, покушения на жизнь председателя Госбанка Сергея Дубинина или на первого заместителя Министра финансов Андрея Вавилова в конце 1996 — начале 1997, — все они выглядели, как серьезные сигналы угрозы для каждого, кто находится у власти.

Однако озабочены своей физической безопасностью не только главные люди страны, но и чиновники более низкого ранга. Одна московская газета отмечала в декабре 1996 года, что министерские сановники боятся не столько своих начальников и внезапного увольнения, сколько «стреляющих команд», ждущих их возвращения домой.

Профессия киллера является ныне одной из важных в стране и при том достаточно безопасной. Как утверждает Юрий Лужков, в Москве в 1996 году из 74 заказных убийств были раскрыты только 4. Таких убийств было бы, наверное, куда больше, если бы охрана не превратилась в процветающую отрасль российской экономики, а вооруженные охранники — в массовую профессию. Десятки или, скорее, даже сотни тысяч мужчин вовлечены в охрану богатых людей и их бизнесов. Некоторые банковские здания, например, такие как Менатеп, походят на замки, окруженные вооруженными часовыми, ожидающими в любой момент фронтальной атаки.

По некоторым данным, крупные коммерческие структуры тратят на охрану, разведку и контрразведку до трети своих прибылей. Личная охрана «новых русских» превратилась уже в глубоко укорененную традицию. Теперь телохранители следуют за своими хозяевами, их женами и детьми, повсюду, включая ванную.

Между тем, в недавнем прошлом только члены Политбюро и еще, вероятно, не более двух дюжин высших сановников имели личную охрану. Стремительный рост числа телохранителей при переходе от советской к посткоммунистической России — точный барометр изменений в характере страха, наблюдаемого в России.

Интересны и процессы в другой сфере, связанной также с личной безопасностью. Это подслушивание частных разговоров — одна из ключевых проблем для общества «Большого Брата». Ныне буквально все, от высшего чина в Кремле до рядового москвича, уверены, что его телефон или квартира прослушивается или, может быть, уже прослушаны, но на этот раз не только вполне определенным органом власти, как раньше, а многими ведомствами и частными организациями, вполне респектабельными и совершенно криминальными.

Поразительно, что в Москве вновь возродилась старая фраза из советских времен: «Это не телефонный разговор!» Высокопоставленные граждане в своих кабинетах опять, как когда-то, хорошо известными жестами напоминают собеседнику, что он не должен забывать о том, что их могут подслушивать.

В прошлом году страна получила веские доказательства того, что прослушивание частных разговоров — вполне реальный феномен постсоветской реальности, тем более, что новая техника сделала это весьма несложным делом.

Жизнь рядовых россиян не так уязвима, как жизнь их более удачливых соотечественников. Большинство из них не представляют никакого интереса для тех, кто нанимает киллеров. Для основной массы граждан главную опасность представляют мелкие шайки, которые, однако, могут быть связаны и с серьезной мафией.

Любой агрессивный человек может представлять серьезную угрозу для каждого гражданина.

Конечно, советские люди нередко ссорились друг с другом в автобусе, в ресторане или на улице. В советских городах, особенно небольших, было достаточно подонков, и они часто представляли серьезную угрозу для обывателя. Однако, в противоположность нынешнему положению, нападавший обычно представлял только себя самого или нескольких друзей, и те, кто отваживался отвечать ему, вербально или физически, резонно предполагали, что власти немедленно придут ему на помощь. Теперь ситуация радикально изменилась. Сегодняшний россиянин дважды подумает, прежде чем начать обороняться на улице, в

поезде или в ресторане, поскольку может оказаться, что за агрессором стоит мощная криминальная организация. Это означает, что нападающий может рассчитывать на ее поддержку и жертва не может не учитывать это. Очевидно, что в то же самое время никто не может рассчитывать на помощь милиции, которая в общественном сознании сотрудничает с уголовными организациями и почти полностью коррумпирована.

Страх за свою жизнь влияет на многие решения россиян — обстоятельство практически неизвестное в 1960—1980 годах. В бизнесе любое серьезное решение включает теперь компонент боязни. Выбор партнера для бизнеса носит почти экзистенциальный характер, ибо в случае неудачи может стоить жизни. Еще больший страх царит в сфере бесконечного перераспределения собственности в стране. И каждый, кто принимает решение в этой сфере — участвовать или не участвовать, приобрести или продать — теперь не может не включать в свои «издержки» опасность лишиться жизни.

Журналисты, пишущие статьи, думают о тех, кого их слова могли бы привести в ярость, и кто может трансформировать свой гнев в физические действия. Согласно новому анекдоту, в сталинские времена за не понравившуюся статью могли отправить в Гулаг, в брежневские времена — уволить с работы, а в нынешние дни — убить. И действительно, случаев физической расправы с журналистами, столичными и провинциальными, в последние годы множество. Прелюбопытно, что Павел Гусев, главный редактор «Московского комсомольца», самой популярной газеты, вступив в конфликт с НТВ и ее всемогущим боссом Гусинским, закончил отповедь своим «клеветникам» в апреле 1997 года просьбой к генеральному прокурору «позвонить» Гусинскому, «если со мной что-то случится».

Грубая, внешняя цензура восстановлена как важнейший феномен журналистской жизни. Время от времени в московской прессе проскальзывают робкие заметки журналистов о жестком контроле за их деятельностью всемогущих боссов, о их прямом вмешательстве в редакционную рабо-

ту. «Ах, они такие умные, — восклицал в 1996 Евгений Киселев, один из самых уважаемых телевизионных журналистов, — они просто мои друзья!» Словно товарищ Сталин тоже не был другом советских журналистов, о чем вихляб твердили правдинцы Заславские и Жуковы.

В тех же робких заметках выясняется, как рискуют те журналисты, которые «неправильно» оценивают бизнесменов, политических деятелей различного рода, события, приемы или встречи.

Вместо единого «черного списка» журналистов, составленного ЦК, сейчас циркулирует множество таких списков, сформированных по приказу разных боссов. Конечно, их число — очевидный прогресс, однако страх журналистов избежать попадания в те или иные списки, столь же отвратителен, как стремление многих советских журналистов выслуживаться перед властями с помощью искажения правды.

Но не одни лишь бизнесмены и журналисты работают ныне в режиме страхов — больших или маленьких. Кандидаты на выборах знают, что их конкуренты могут прибегнуть к самым крайним мерам для обеспечения своей победы. Судьи жутко, но не без основания, боятся обвиняемых, милиционеры — преступников, налоговые инспекторы — своих подопечных (26 из них были убиты и ранены, а 164-х шантажировали угрозой смерти в 1996 году).

Водители испытывают смертельный страх от мысли, что они случайно ударят другой автомобиль, ибо «жертва», угрожая лишить их жизни, может потребовать компенсации, равной стоимости новой машины или квартиры.

Владельцы квартир, сдаваемых внаем, готовы ждать всего, чего угодно, от съемщиков и соглашаются просить меньшую плату, чем причитается, только для того, чтобы иметь относительную гарантию того, что они не будут убиты своими арендаторами.

Еще больший страх испытывают те, кто решается продать или обменять свое жилье: они серьезно опасаются лишиться своей собственности во время «обмена» или «продажи» или даже лишиться жизни, особенно если это старые и одинокие люди.

Как долго может жить Россия в этом климате децентрализованных страхов? Наверное, также долго, как она жила в климате страха централизованного. «Раздробленность» (если вспомнить терминологию из истории русского феодализма) источников страха — одно из мощных доказательств того, что каким-то неведомым образом Россия смогла вернуться многими сторонами своей жизни в ранний, классический феодализм, где шла «война всех против всех» и где частные интересы никак не увязывались с национальными интересами. (В отличие от общества с сильным государством, авторитарным или демократическим, которое обеспечивает хотя бы частичное согласование этих интересов.)

Россияне, как и жители средних веков, угнетены и раздражены атмосферой страха и мечтают так же, как Гоббс и Данте в свое время, об обществе, где восторжествует порядок.

В средние века в ожидании этого золотого времени все — богатые и бедные, сильные и слабые — искали себе союзников, готовых прийти на помощь в случае необходимости, особенно патронов, способных их защитить. В то время, как «благородные вассалы» искали «крышу» у сильных феодалов, города — у королей, крестьяне обменивали свою свободу на «крышу» землевладельцев, становясь крепостными, — процесс, известный в истории феодализма как коммendaция.

В посткоммунистической России этот процесс, в основном, завершился: большинство активных деятелей в бизнесе и политике нашли себе союзников и, конечно, «крыши» — в лице чисто криминальных структур или экономико-политических кланов. Обеспечивают крышу и чиновники, назначенные или выбранные, выступающие в отношении своих подопечных не как представители государства, но как лица, использующие государственную машину в своих частных интересах. (Например, для обеспечения «крыши» тем, кто может помочь им в их личном обогащении, или для получения денег, необходимых для избирательной кампании.)

Однако как бы ни была изощрена система вассалитета

во времена феодализма, она не могла защитить феодалов, даже самых крупных, даже принцев и самих королей, от частой гибели и потери имущества. Хаос и анархия были сильнее, чем феодальные институты. Стоит только вспомнить войну «Белой» и «Алой Роз» во второй половине 15 века, в которой гибли десятки английских баронов и даже королей. Ричард Третий, герой шекспировской трагедии, был один из них.

Конечно, безопасность руководителей кланов и государственных структур в современной России, скорее всего, выше, чем принцев, герцогов и королей шекспировских трагедий. Однако, даже она в условиях беспредела не способна освободить российскую элиту и членов их семей от постоянной тревоги. Она резко снижает качество их жизни и во многом обесмысливает их деятельность в России, заставляя их постоянно думать о бегстве, в случае необходимости, за рубеж.

Нет сомнения в том, что господствующие элиты и слои общества непосредственно их обслуживающие, равно как и «контрэлиты» (т.е. политические и экономические силы, которые находятся в оппозиции к существующему режиму) очень хотели бы, чтобы насилие и страх перестали править бал в России. Несомненно и то, что подавляющее большинство рядовых россиян видят в восстановлении порядка одну из главных задач общества. Не менее двух третей регулярно подтверждают это в разных опросах — примерно столько же, сколько озабочены двумя другими проблемами — неплатежами и безработицей. «Морально-политическое единство» в обществе по этой проблеме налицо. Нет ни одной другой общественной ценности, которая вызывала бы такое единодушие, как «порядок», чему бы, впрочем, Гоббс совсем не удивился. Ни один лозунг, касающийся экономики, политической системы или внешней политики, даже близко не может похвастаться той воистину всенародной поддержкой, как идея порядка. В экономической науке есть специальный термин — «оптимум по Парето» — который характеризует то состояние общества по определенному параметру, достижение которого выгодно, хотя и в разной степени всем. Это и есть,

казалось бы, и случай с порядком и законностью в современной России.

Однако, несмотря на воистину всенародную поддержку борьбы за порядок и законность, российское общество не продвинулось вперед ни на шаг за последние годы. Оно скорее «адаптировалось» в своем сознании страхи от насилия как «естественный» элемент повседневной жизни.

В чем же причина создавшегося положения? Как показывает история, народные массы по определению бессильны создавать порядок «снизу». Всюду и везде это делала политическая и экономическая элиты либо в лице королей, царей и диктаторов либо в лице созданных ею своих демократических органов, как в Америке. Но существует очень мало шансов, что нынешняя российская элита, т.е. высший слой деятелей в политике и бизнесе, способен восстановить порядок и законность в стране.

Дело в том, что в полуфеодальном российском обществе российская элита носит олигархический характер и состоит в основном из людей, чья деятельность построена на полулегальном и нелегальном соединении экономической, политической и криминальной власти. Она, эта элита, имеет возможность из-за отсутствия общественного контроля использовать свою мощь в корыстных интересах, часто в прямой ущерб нации.

Конечно, нынешний строй делает трудным увязывать частные интересы не только элиты, но всех остальных граждан с общенациональными интересами, однако вред от такого «диссонанса» гораздо пагубнее для общества, чем деструктивный «эгоизм» тех, кто далек от кнопок управления страной.

Вполне естественно, что российские олигархи — «феодалы» и их многочисленная челядь как на государственной службе, так и в бизнесе, практически все без исключения боятся законного расследования их деятельности. Боятся намного больше, чем наемных убийц. Независимо от того, каковы бы ни были мотивы авторов компроматов и сколь бы ужасны ни были они, как личности. Россия в 1996 году лишилась последних иллюзий насчет порядочности даже тех, которые еще недавно казались озабоченными только созданием «правового государства». Эти компроматы де-

лают Мжаванадзе или Чурбанова, символов коррупции брежневского времени, почти невинными младенцами, если подсчитать число нарушений закона теми и другими.

Конечно, российские олигархи очень бы хотели «оказаться» замужем, сохраняя при этом невинность, — не быть непрерывно озабоченными своей безопасностью, иметь в стране законность и порядок, распространяемый на всех, кроме них самих. Но подобное, как понимают все эти умные и опытные люди, невозможно. Поэтому, сравнивая вероятность гибели от киллеров, при наличии мощной охраны, доходящей иногда до размеров небольшой частной армии, и возможность оказаться в тюрьме в случае прихода к власти «терминатора» от правосудия, — они вполне разумно находят, что вторая опасность в несколько раз больше первой.

Видимо, феодалы и в Западной Европе и на Руси рассуждали примерно также, внимая призывам идеологов порядка и централизованного государства, убеждавших их на примерах гибели князей, бояр и их челяди, что порядок в обществе нужен и им. Однако, как показывает история, нигде «феодалы» не были инициаторами и даже союзниками, но всегда врагами законности и порядка — их могло обеспечить только сильное централизованное государство. Не удивительно, что российские олигархи, как огня, боятся лидера-аскета, без потенциального компромата, способного создать (что впрочем не вполне очевидно) аппарат из аскетов-патриотов по «чистке», боятся фигуры, которая вовсе не потребует фальсификаций обвинений против нынешних властителей страны. Такой лидер может прийти к власти демократическим путем (население России явно будет голосовать за него) или путем переворота, что гораздо хуже. В обоих случаях — и этого справедливо боятся честные люди — резко возрастает опасность сведения счетов, делание карьеры на преследовании других и все прочие ужасы применения «железной метлы». Более того, существует немалая опасность, что борец за порядок, даже избранный народом, превратится быстро в диктатора и ликвидатора тех демократических свобод, которыми пользуются ныне россияне, так единодушно отвергающие создавшуюся ситуацию в стране. Нельзя

исключить и случая, когда под лозунгом борьбы за законность к власти придет один из олигархов, который действительно может попытаться навести порядок в стране. Но с учетом его прошлого он сможет добиться этого только кровавой диктатурой, которая испугает его противников напомнить ему, что он «такой же, как они».

По многим причинам, вполне возможно, что аскет-герой не увидит Кремля. Хотя бы потому, что всенародные выборы президента будут отменены или сфальсифицированы. Трудно ожидать и «20 съезда» от нынешнего режима с самоочистительными действиями и серией процессов против видных политиков и бизнесменов, виновных в коррупции и связях с криминальными структурами. А без таких действий ни о какой серьезной борьбе за порядок и законность не может быть и речи.

В России нет такого социального института, как итальянское правосудие, которое было способно недавно осуществить, вопреки всеобщей коррупции, серьезное наступление против своей итальянской политической и экономической элит и добиться немалого.

Весьма вероятно, что олигархи не допустят никаких серьезных изменений в стране, которой они командуют, не отчитываясь ни перед кем. К тому же ведущие деятели оппозиции являются, как это видно из событий последних месяцев, откровенными союзниками так называемых властных структур в борьбе против опасности всеобщих разоблачений. Чего только стоит стремления членов Думы обогатиться как можно быстрее за годы своего депутатства.

Если страна не найдет, однако, путей для самоочищения, в ближайшие годы трудно ожидать серьезный экономический прогресс. Но что можно почти наверняка ожидать — так это дальнейшее ослабление центральной власти и дальнейшее движение страны к состоянию Священной Римской империи в 9—15 веках. Из истории известно, что реальная власть в ней принадлежала местным князьям-губернаторам, которые и выбирали императора-президента (скорее всего из их среды), гарантирующего им невмешательство в их управление отдельными провинциями. Подобное развитие событий совсем не исключено в России. А что будет дальше — вот это абсолютно неведомо.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ГРЕХОПАДЕНИЕ ЦЕЗАРЯ

Роман написан от лица бывшего московского журналиста, пережившего все прелести советской системы и оказавшегося на склоне лет в эмиграции. Герои романа — выходцы из среды московской богемы, — оказавшись в Америке, мечутся в поисках места под солнцем: мы видим их в русских ресторанах Бруклина, в подозрительных, полууголовных бизнесах, погруженными в иллюзорные эмигрантские мечтания. То там то здесь мелькают знакомые лица, слышатся родные голоса... Другая сюжетная линия — жизнь самого автора, человека острого и умного, и вечно униженного из-за неустройства жизни, из-за своего еврейства и к тому же из-за... своей сексуальной неполноценности — тайный недуг, который окрашивает в темные краски всю его жизнь. И вот в эмиграции он решает как бы взять реванш и обессмертить себя произведением, в котором выскажет всю правду о себе. О загубленной в сталинском лагере молодости, о жене, о своих несчастных связях с женщинами, об эмигрантском окружении. Рождается горячая исповедь человека, неизвестно зачем прожившего жизнь и решившего эпатировать читателя выворачиванием самых темных, болезненных закоулков своей души: род мазохизма, который странным образом скрашивает его последние дни. Все остальное мы узнаем из самого романа, который, возможно, и введет читателя в тяжелые раздумья по поводу «проклятых вопросов» жизни, но вряд ли оставит его равнодушным,

В книге 320 страниц. Цена - \$ 16. Заказы и чеки высылать по адресу:

„Time and We“
409 Highwood Avenue
Leonta, New Jersey 07605, USA

Какими глазами смотреть на историю?

Иным из читателей, возможно, покажется странным, что редакция обращается к теме войны спустя более полувека после ее окончания. Полвека даже в масштабах истории — срок немалый. Постепенно уходят из жизни поколения участников войны, чьи свидетельства чрезвычайно важны для современников, желающих знать о войне правду.

Время не стирает из памяти народов России этого исторического события. Дискуссии о войне нет-нет — и с новой силой вспыхивают в российских средствах массовой информации. Не потому ли, что война, унесшая жизни десятки миллионов советских граждан, была и остается важнейшей частью советской истории, без понимания которой невозможно осмыслить и происходящего в сегодняшней, посткоммунистической России.

В материалах о войне, как и в целом о событиях советской истории, остается масса белых пятен, вокруг которых рождаются дискуссии, а заодно и разного рода политические спекуляции. На страницах так называемой перестроечной печати по-разному оценивается роль народных масс и армии в войне. Так же как по сей день бытуют разные, а то и противоположные взгляды на роль Сталина в победе над Германией.

Иногда — эти различия в акцентах исследователей, иногда оценки противоположны по своему существу.

В статье участника войны профессора Марка Холмянского, отличающейся нетривиальным подходом к оценке общеизвестных фактов прошлого, поднимается вопрос, который выходит далеко за рамки военной темы, — что есть правда истории и какими глазами следует оценивать то или иное историческое событие: глазами его современников или глазами потомков, вооруженных опытом новых поколений и обладающих, казалось бы, возможностью для более широкого и объективного взгляда на события прошлого.



Марк ХОЛМЯНСКИЙ

О ПРАВДЕ ВОЙНЫ ПОЛВЕКА СПУСТЯ

Полемические заметки

«С войны не возвращаются, там остаются навсегда», — пишет Т. Вульфович в своей широко известной книге «Там на войне». По-видимому, для воинов незабываемы ужасы войны, впрочем, как и безмерная радость победы. Истины эти общеизвестны. Но размышляя о войне, невольно приходишь к выводу, что и сегодня, спустя более полувека после ее окончания, далеко не всеми понято, что же, в конце концов, это была за война, что тогда происходило, и чего ради были вырваны из жизни десятки миллионов людей, вовсе не старых и по большей части еще только начинающих жить.

Сразу после войны людям надо было уйти от ее ужасов. Возник романтический образ войны, в котором было мало смертей, зато много героизма: не было ни хождения по болотам, ни воды в окопах, ни вшей. Этот образ был вовсе не похож на образ первой мировой войны. Не наполненный

жизненной правдой, он превратился в сказку, в миф, о котором вспоминают раз в году в День Победы. Между тем, отыскалось много новых документов и обнаружались новые факты, которым было тесно в прокрустовом ложе сказочки о войне. Чуткие ко всякой неправде журналисты, воспользовались этим для развязывания невиданной кампании по дегероизации войны, приурочив ее, что особенно обидно, к 50-летию Победы, которого ветераны так ждали.

Дегероизация — это воистину бедствие. Его глубинные корни в том, что люди недолюбливают героев, поднимающих, как им кажется, чрезмерно высоко уровень нравственных требований. И они спокойно наблюдают, как средства массовой информации, следуя «закону маятника», то непомерно возвеличивают героев, то сбрасывают их с пьедесталов.

Для очернения памяти о войне каким-то не очень разборчивым газетам сгодился «Ледокол» В. Суворова (к которому я еще вернусь ниже). Так же, как в свое время для того, чтобы пошатнуть безупречную репутацию великого Эйнштейна, подошла книга Р. Халфилда и П. Картера «Частная жизнь Альберта Эйнштейна».

Дегероизация имеет и социальные корни. Людей новой формации охватывает желание вычеркнуть из жизни поколения участников войны, свести их роль к нулю, в крайнем случае, оставить им лишь обеды уже разделенного пирога. Без дегероизации этого не сделать.

Помню, в 43-м году меня навел в госпитале однокашник-тыловик. У меня тогда было всего два ордена, но я ими так гордился, что нацепил на халат. «О, ты уже обзавелся малым джентльменским набором», — с усмешкой воскликнул он, и мне захотелось как можно скорее отцепить ордена.

Есть у дегероизации и национальные корни. Мне пришлось с этим встретиться в Израиле, где уже не один год идет «торговля» по поводу празднования Дня Победы, отражающая неприятие всего «русского».

Газета «Вести» в редакционной статье 27 апреля 95-го года писала о том, что в мае так много государственных праздников, что «...не остается места для еще одной

государственной памятной даты. Победа союзников не спасла европейское еврейство — она пришла слишком поздно и 6 млн. уже были уничтожены. 9 мая оказалось в Израиле всего лишь памятной датой для ветеранов, сражавшихся в рядах союзнической армии на фронтах 2-й мировой войны». Итак: опоздали, но ветеранам все-таки разрешено тешить себя, вспоминая о четырехлетнем изгнании из жизни, об обстрелах, бомбежках, крови и смерти. Им пора понять, что воевали они в рядах «союзнической армии», а не в советской, что Великую Отечественную войну просто придумали, а шла тогда 2-я мировая война.

Как часто соображения политика ставятся во главу угла! В России в войну они требовали напоминания о героическом прошлом, сегодня они требуют противоположного — дегероизации.

Нынешний курс правительства России чужд политической идее. Не было ее и в проекте реформ Е. Гайдара. Печальным анекдотом звучат его замыслы: «Глобальная проблема России — ответить на вызов времени и войти в число современных держав». Вот и все. И это для народа, который первым вызвался проложить дорогу в царство справедливости?

Ему предлагается забыть о своем героическом прошлом, забыть о том, что Россия играла роль великой державы, забыть само слово «великий», а, кстати, забыть и о том, как проявил себя народ в Великой войне. Симптоматично, что в планах и лозунгах нынешнего правительства живой человек вообще забыт.

Даже сами призывы к героическому труду, к большей самоотдаче во имя общества и народа звучат как некий анахронизм времен социализма. Отчего эта боязнь? Не есть ли это страх перед отчаявшимся народом? Не опасение ли того, что само слово «героизм» может оказаться зажженной спичкой перед стогом стена?

Кампания по дегероизации войны ведется в каком-то истерическом духе, в полном небрежении к фактам истории — не в опасении ли оказаться банкротами перед лицом правды? Так или иначе, факты и документы времени оказались сильнее. Устоял в конце концов романтический

образ войны перед ударами тех, кто встал на путь спекулятивного толкования героики прошлого.

Но с другой стороны — и об этом также свидетельствует печальный опыт послевоенных лет — события нельзя пускать по воле волн. Факты и документы прошлого требуют скрупулезного, вдумчивого разбирательства, которое явно задерживается. В самом деле, отчего упущено так много времени.

Это трудные и долгие вопросы. Один, почти анекдотический ответ содержится в жалобе Ю. Афанасьева — ректора гуманитарного университета в Москве, с которой он обратился по российскому телевидению. Суть ее в том, что пора бы уже рассказать людям правду о войне с учетом новых данных о ней, но вот боязно обидеть ветеранов. Видно, и сам Афанасьев не очень-то верит в величие и героику войны. Видно, ему кажется, что ветеранам дорого не действительное ее лицо, а выдуманный, розовый облик войны.

Итак, прошло более полувека, но как непростительно мало сделано, чтобы воссоздать правду о войне.

И теперь каждый упущенный день — невозвратная потеря. Ведь даже самому молодому участнику войны — скоро 70! А ведь для создания правды о войне усилия нужны огромные. Как скелет мамонта собирают по косточкам, придется собирать истинный ОБРАЗ войны из воспоминаний о «мелочах»: о мыслях бойцов, об их отношении к войне, их мечтах, об их быте и т.д. Странно, что вне поля зрения оказался такой фактор, как доля времени, которое заняты были участники войны непосредственно в действиях военного характера. Думаю, что, в зависимости от рода войск, от 10 до 50 процентов. Ну, а что же остальное время? Чем они занимались? Жили! Нет другого ответа, и, значит, не только воевали, но и жили! Ну, а как жили?

Убого жили, как калеки — сосредоточенность на одной цели, стремлении к победе подавляла в воинах «свободное мышление», отнимала саму способность размышлять. Но это все-таки была жизнь, и мы должны о ней знать уже хотя бы потому, что она сливалась в одно целое с боевой жизнью.

Когда пишут о прошлой войне, не зная ее мелочей, получают схемы, пародии, а когда забывают о драме войны, о подавленном солдатском мышлении, возникает лакировка и фальшь.

Но прежде всего факты, упущенные «мелочи», требующие к себе трепетного ювелирного отношения. Передержки и упущения — большая опасность, преследующая любого исследователя. Пусть предостережением послужит печальный пример широко нашумевшего «Ледокола» Виктора Суворова.

Анализируя события, предшествовавшие войне, автор пришел к выводу, что задолго до 41-го года советское командование готовилось к наступательной войне против Германии и что в развертывании войны Сталин повинен больше, чем Гитлер. Аргументация В. Суворова в основной своей части была убедительной, а вот выводы содержали серьезнейшую ошибку. Автор обращается к читателю: «... я замахнулся на самое святое, что есть у нашего народа, я замахнулся на единственную святыню, которая у народа осталась — на память о Войне, так называемой «великой отечественной войне». Это понятие я беру в кавычки, пишу с малой буквы... и доказываю, что Советский Союз — главный ее виновник и главный зачинщик. Коммунисты сочинили легенду о том, что на нас напали, и с того момента началась и великая отечественная война».

Со своими «соболезнованиями» автор поторопился — он всего лишь доказал агрессивность Сталина, забыв, что был народ, ни к каким завоеваниям не стремившийся. Средства массовой информации обязаны были выяснить позицию народа и, тем самым, оценить меру его вины. Кажется, они видели только сенсацию, до остального не было дела.

Так искажалась история. Впрочем, дело не столько в каком-то злом умысле, сколько в трудностях поиска истины из-за нехватки «мелочей». Ниже сделана попытка выйти из положения, опираясь только на уже известное. Но для этого нужно совершить небольшое путешествие в прошлое.

Канун войны

Сегодня предвоенное прошлое советского народа представляется ужасным, а живших тогда принято жалеть, как почти рабов. Но вот парадокс: познакомьтесь с этими людьми поближе и вам придется обнаруживать, что, согласно кивая головой по поводу режима, они, тем не менее, вспоминают свое прошлое с улыбкой, часто ностальгически. Значит, тогдашние и нынешние оценки различаются. А, поскольку судить о всяком событии надо по обычаям и законам времени, к которому эти события относятся, вряд ли мы можем их игнорировать.

Впрочем, с законами все просто — если поступок, преступный по нынешним законам, не был таковым по законам прошлого, такого человека преступником считать нельзя, как бы ни плохи были законы прошлого.

Сложнее с обычаями или, точнее, с нравственными представлениями. Нужен критерий их оценок, нужно знать, что было тогда «хорошим» и что «плохим». Иногда такой критерий очевиден, иногда его поиски почти безнадежны. Пример: всякого рода идеологические запреты — это, казалось бы, всегда плохо, но вот нынче сатирики, вспоминая прошлое, считают, что тогда из-за запретов и даже цензуры им писать было интереснее. Видимо, вообще, объективные критерии жизни для оценок малопригодны. Почему, например, ищет петлю человек, у которого все есть, и счастливо улыбается собирающий милостью калека? Ну, а субъективные критерии? К сожалению, и они небезупречны. Но вот один из них, кажется, укоренился и, похоже, работает неплохо. Это КРИТЕРИЙ СЧАСТЬЯ! Для иллюстрации этой мысли два литературных примера: «В один из августовских дней пропал человек» — так начинается повесть Кобе Абе «Женщина в песках». Через 7 лет пропавший был признан умершим. Но он был жив. В песчаной пустыне его принудительно поместили в яму помогать женщине, которая почти круглые сутки должна была наполнять корзины ссыпающимся в яму песком. Жители деревни поднимали корзины вверх. Это было по всем статьям страшное существование. Побег был невоз-

можен. Но вот забиравшие песок забыли веревочную лестницу. Можно было бежать, но оказалось, что человек уже привык к яме и к женщине, увлечен изобретением способа добывания воды из влажного песка. И он решает остаться в яме! «А побег — об этом еще будет время подумать». Прошло 7 лет, а герой повести Ники Дзюмпэй еще не вернулся. Он сделал выбор, он нашел счастье в песочной яме!

Похожий пример — «Рубашка» Анатоля Франса, в которой описаны трудные поиски счастливого человека. После того, как оказалось, что вельможи королевского двора и даже сам начальник канцелярии несчастливы, искавшие решили, что искать надо «не при дворе и не среди сильных мира сего». Они были правы. Они нашли всего одного счастливого человека. Им оказался некто Муск, живший в лесу в дупле каштана. Он был непритязателен и жил неплохо, довольствуясь тем, что приносили ему лес и пруд. В деревне говорили: «счастлив, как Муск».

Воспользуемся «критерием счастья» для оценки состояния умов советских граждан в предвоенные годы. Используем также факт разделения народа на «низы» и «верхи», на «простой народ» и властные структуры. Договоримся при обсуждении, учитывая неоднородность общества, не брать за пример ни героев (праведников), не преступников (грешников), и когда речь идет о народе, иметь в виду его большинство.

Сегодня тогдашняя власть кажется чудовищной. Уже известно, кто организовал голод на Украине, кто виновен в беззакониях, кто лишил народ возможности выезда за границу, кто ответственен за его бесправие. Тогда об этом большинство не знало, некоторые что-то знали, но относили к неизбежным издержкам коммунистического строительства, а кто-то, зная многое, боялся своего знания и вытеснял его из сознания. Народ был отстранен от всего, что определяло судьбу страны; его свобода* и его материальная обеспеченность были доведены до минимума. Недостаток свободы был главным. Можно услы-

* Под понятием «свобода» будем понимать возможность принимать в любом случае любое решение.

шать: «Человек рожден быть свободным». Но ведь на самом деле это не так. Полная свобода человеку не только необязательна, но и непосильна! Он охотно отдает значительную долю ее в обмен на личный комфорт, защищенность, предельное сужение круга своих забот. Вокруг себя он создает мир стереотипов, забирающих у него определенную свободу. Но, если оставить человеку свободы меньше некоторой «нормы», он будет задыхаться и может решиться на протест, даже без шансов на успех.

Оценивая состояние советского народа в предвоенные годы, мы должны ответить на вопрос о том, в какой мере советские люди располагали «нормой свободы». Мне кажется, что если, как мы договорились, говорить о большинстве и ориентироваться на мировые стандарты, можно уверенно утверждать, что советский народ «нормы свободы» не имел! Его положение было тяжелым, а способов выйти из него очень мало. Возможны были всего только: индивидуальный протест, организованный (революционный) протест и приспособление. Первая возможность не исключалась; попытки такого рода могли быть даже полезными в исторической перспективе, но практического успеха иметь не могли. Сегодня некоторые досадуют по тому поводу, что народ не решился на революционный протест. Досада, конечно, возникать может, но она выглядит чудовищно-неисторичной — советский народ был еще бесконечно далек от такого протеста. Еще не было «революционной ситуации». Советское государство при всех его недостатках сохраняло ореол государства, рожденного революцией. Сегодня понятие «социализм» едва ли не ругательное. Тогда оно было освещено идеологией коммунизма, казавшейся привлекательной и убедительной. Сегодня Сталин — воистину чудовище, тогда это был «великий вождь», имеющий моральное право все решать и ни с кем не советоваться.

Вывод очевиден: индивидуальный протест неэффективен, для организованного — не было условий, значит, приспособлению альтернативы не было! Те, кто называет тогдашний народ стадом, рабами, пусть бы

призадумались о реальной жизни тех лет. Но мог ли народ на пути приспособления обрести счастье? Мог ли добыть недостающую до нормы свободу? Оказывается, мог, прибегая к «самоосвобождению». Понятие это ключевое и для военных и для предвоенных лет. Рождено оно житейским опытом. Классический пример самоосвобождения явил нам Том Сойер, который, будучи наказанным поручением красить длинный забор, превратил эту работу в столь заманчивое занятие, что продавая право красить, стал обладателем несметных сокровищ, вплоть до дохлого мышонка на веревочке. А вот неяркий, зато типовой пример ребенка, запертого в ванной комнате за провинность, но о попытках оправдаться или протестовать не помышлявшего, поскольку затеял замечательную игру, и темнота ему необходима. Мой друг, которого супруга пристроила мыть посуду, шел на кухню не без удовольствия. Там он включал радио и, работая, слушал его. Когда супруга это обнаружила, возмущению ее не было предела — она была так уверена, что, наконец, ей удалось приструнить своего легкомысленного мужа.

Если хотите, именно по такого рода образцам значительная часть народа смогла приспособиться к своему тяжелому положению, обрести норму свободы и даже счастья. Люди готовы были к поддержке власти и ее права решать все без участия народа. Они даже были уверены в необходимости этого и поэтому ущемления своих прав не ощущали. Взамен мира большой политики и больших решений они создали свои «микроміры» и были в их пределах суверенными. Вот почему, вспоминая те времена, человек, уже зная, в каком ужасном времени он жил, иногда улыбается. А что? Не так уж плохо получилось для «изгнанных из рая» низов. Работать — пожалуйста, можешь хоть круглые сутки. Не видать тебе семги, зато черный хлеб, тонко намазанный топленым маслом и густо посыпанный солью, — твой! А есть еще вдоволь пшенки и пovidла сколько-то.

В комнате твоей есть, слава богу, кровать, может быть даже с блестящими шишечками по углам, есть стол и шкаф. Маловато, конечно, да и некрасивое все это. Но

тебе так долго и так настойчиво внушали, что стремление к уюту и личному благополучию постыдны, что ты всей душой поверил в эту систему взглядов, видишь ее многие преимущества, а некоторой «странности» не замечаешь. Ты приблизился к норме свободы, а у тебя еще уйма возможностей: собирать марки, пить горькую, увлекаться чтением книг, играть в шахматы или искать решение теоремы Ферма. Правда проводятся репрессии, но тебе объяснили, что кругом враги и репрессии необходимы. Может это и не так, но это не твоя проблема, выкинь ее из головы! Вот и выкидывали, точнее — запрыгивали поглубже в сферы бессознательного.

Неужели, однако, не было у приспособившихся беспокойства за свою, выпущенную из рук судьбу? Сколько помню, такого беспокойства не было. Верили в свою защищенность, верили в ее «гаранта» — Сталина. Маленькая иллюстрация того, кем был Сталин для народа в те годы: «Я историк. И восхищаюсь Сталиным как историк. В историческом аспекте Сталин, как автор колхозов, величайший из гениев, перестраивающих мир...» Это говорил К.И. Чуковскому за 10 лет до войны мудрейший Юрий Тынянов.

Закончим на этом «путешествие в прошлое». Мы отправились в него за ответом на вопрос о том, разделял ли народ агрессивные планы Сталина. Но ответ оказался прост и очевиден: не разделял, попросту о них не знал и планов такого масштаба вообще иметь не мог. Заниматься планированием? Пожалуйста, но только в пределах твоего микромира!

Как же мог В. Суворов посчитать, что планы Сталина и народа тождественны? Трудно заподозрить автора в намерении своей ошибкой увеличить значимость своих разоблачений, не легче понять, как такой тонкий аналитик мог допустить столь грубую ошибку. Ревнителю дегероизации, похоже, не стали над этим задумываться — такие ошибки «на земле не валяются», и они приняли ее «на вооружение». А. Зубов в статье «Победа, которую мы потеряли», опубликованной в №84 «Континента», идет еще дальше: «... планы Сталина были и планами народа.

Во всяком случае значительной его части. Кто распевал в предвоенные годы — «от тайги до Британских морей Красная армия всех сильнее»? Кто мечтал вместе с Багрицким... дойти до Ганга... чтоб от Индии до Англии стала родина моя... Кто учился на ворошиловских стрелков? Что и говорить, аргументация «мощная», тем более, что стопроцентно справедливая. Действительно распевали, действительно любили стихи Багрицкого и с удовольствием учились стрелять, но при всем том планы Сталина планами народа не были. А когда 22 июня 1941 года немецкие войска перешли границу, проблема солидарности со Сталиным отпала сама собой. Его планы лопнули, а народу достались невероятные трудности, рожденные этими планами. За безумства тирана народ заплатил многими миллионами солдатских жизней.

Апологетам дегероизации В. Суворов преподнес своей ошибкой прекрасный подарок. Другой подарок они преподнесли себе сами, отождествив фашизм и «советский социализм». Я. Сусленский в израильской газете «Новости недели» сообщает, что эти доктрины — «два сапога пара». И то и другое «чума» — пишет А. Зубов в цитированной статье. Вспоминают и близкое по смыслу высказывание У. Черчилля. Попытка отождествления доктрин превращает столкновение СССР и фашистской Германии в некую разборку двух тиранов, лишает оснований именовать великой освободительную войну советского народа. Ученые будущего, вероятно, еще не раз будут анализировать и сопоставлять возможные результаты победы фашизма с победой, которая состоялась, а пока незачем забывать всем известные различия. Идеология социализма сама по себе прекрасна — она обещала рай на земле, хоть и в неопределенном будущем. Идеология фашизма была жестокой и варварской, хотя для немецкого народа и заманчивой. Фашизм не обещал равенства, он обещал господство, господство арийской расы над «низшими расами», такими, как славянская — славянским народам предназначалось стать рабами, а их «излишек» подлежал уничтожению. поголовному уничтожению подлежали евреи и цыгане.

В Союзе социализм нес с собой произвол и насилие, которые прикрывались прекрасной мечтой. В Германии прикрывать чего-либо нужды не было. В Союзе произошло разделение общества на «Власть» и «Народ», в Германии оно было почти монолитным. Жестоки были обе тирании, но в Союзе острое карающего меча направлено было в сторону своего народа, а в Германии вовне.

Война не была схваткой вождей, она была войной между напавшим и обороняющимся народами. В этом ее глубинная суть. Остальное было вторичным.

Первые часы и дни

К 22 июня советская армия была выдвинута к границе. Плохо эшелонированное расположение было крайне уязвимым, зато на случай наступления позволяло без помех и промедлений перейти границу. А когда немецкие войска напали на СССР, уязвимость обернулась страшной трагедией. В считанные часы и дни советская армия потеряла много больше половины своей мощи. Такой была стартовая площадка войны, таков был результат нашей неподготовленности к оборонительной войне, так мы оплатили первый счет по списку сталинских долгов.

«В период оборонительных боев на границе полоса обороны дивизии составляла от 70 до 120 км вместо 8—12 км по довоенным уставам. ...пулеметов мы не имели, все наше вооружение составляла самозарядная винтовка (оружие крайне ненадежное). Трудно воевать голыми руками... Все обессилены от недоедания и недосыпания: едим, что придется, а спать почти не приходится. Перевязочных средств мы не имели, санитаров тоже», — пишет Д. Левинский об отступлении 9 армии Южного фронта*. Тем, кто не постеснялся обвинить в трагедии первых месяцев войны низкий боевой дух советских воинов, надо бы помнить обо всем этом. Буквально вгрызаясь в землю, они сдерживали наступление врага, но при возникшем огромном неравенстве сил возможно-

сти этого были ограничены — имея полное превосходство в танках, авиации и живой силе, немецкие войска прорывали оборону то на одном, то на другом направлении. При этом часть советских войск оказывалась в окружении. Спротивляться в окружении можно только при соответствующей выучке, при поддержке из-за пределов кольца окружения, при наличии продовольствия и боеприпасов. Ни одно из этих условий обеспечено не было, и наступило время, когда значительная часть советской армии потеряла боеспособность, перестала быть армией вообще.

В управляемой армии воин создает себе особый мир, наличие которого — залог его боеспособности. Воин исключает из своего мира все, что составляет прерогативы командования, т.е. готов доверять ему и быть ему послушным. Он действует, исходя из упрощенных психологических установок: есть линия фронта, есть уверенность, что фланги прикрыты, что наступление начнется только после мощной артподготовки и будет поддержано танками и авиацией, что фортификаторы позаботятся о том, чтобы в обороне ты не остался бы без оборонительных сооружений. Если не все получается так гладко, воин чаще всего как-то приспособляется и воином остается. Но, если весь его мир разом летит к черту и выясняется полная растерянность командования, совокупность людей, попавших в такое положение, перестает быть воинской частью, она превращается в толпу, приобретая то страшное состояние, которое чревато паникой, беспорядочным бегством..., пленом. Можно ли винить за переход в это состояние самих воинов? Нет, разумеется. Там, где хоть какие-то возможности обороны оставались, сражались отчаянно. Примеров тому много, один из них — оборона Брестской крепости.

Так было. Но тем, кто пишет сегодня о войне, иногда действительные события представляются в совершенно искаженном свете. И они творят мифы, забыв о фактах. Один из таких мифов содержится в упомянутой статье А. Зубова. Автор видит причины трагедии первых месяцев войны не только в просчетах Сталина. Он считает, что не

* Звезда, № 5-6 за 1995 год.

меньшую роль сыграло низкое моральное состояние советских войск, обусловленное двумя причинами: Народ собирался воевать на территории врага..., а получилось все не так весело (так и написано: «весело». — М.Х.) и это сломило боеспособность войск.

Вторая, причем главная причина в том, по А. Зубову, что очень многие уже запятнали свои руки насилием, донося, лжесвидетельствуя, конвоируя. Оставляя «главную причину», как явно вздорную, на совести автора, допустим, что он прав в том, что в первые месяцы войны моральный дух советских войск был низок. Но как быть с тем фактом, что сопротивление советских войск быстро возрастало и всего через несколько месяцев сокрушительное поражение терпят под Москвой уже немцы. Да, сыграло роль пополнение, но ведь из тех же «безнравственных» людей. А победа была нешуточная. На Западном направлении за последующие три с половиной года войны немцы не сделали больше ни шага вперед.

Можно ли объяснить волшебные превращения в психике людей, которые десятилетия находились в «безнравственно-агрессивном» состоянии, а за считанные месяцы его утратили? Очевидно нельзя и, надо отдать должное А. Зубову, он это понял. Но вместо того, чтобы признать несостоятельность своей концепции, он начинает фантазировать: «А дальше случилось чудо (разрядка моя. — М. Х.), похожее на то, которое уже было в нашей истории. Как и в 1812 году, русские (разрядка моя. — М.Х.), осознав — как всегда больше сердцем, нежели умом, — что теперь на кон поставлен не успех или неудача большой европейской игры, но само существование Отечества, преобразились. Может быть, впервые такое сознание необходимости защиты родного дома пришло в августе 1941 года под Вязьмой на «дорогах Смоленщины». (То есть меньше, чем через два месяца после начала войны! — М.Х.)

Итак — чудо. У него есть адрес и есть дата, но, во-первых, к понятию «чудо» историкам обращаться не принято, во-вторых, нет в этом надобности коль скоро мы живем в «постледокольную» эпоху, знаем о чудовищных

сталинских ошибках и понимаем, что их с избытком хватает для объяснения неудач первых месяцев войны. Ученые уже давно следуют правилу: «если явление имеет удовлетворительное объяснение, новых объяснений искать не следует».

Война — какой она была

Лицо войны — это прежде всего лицо народа, который воевал. С него надо бы и начать. Но, боюсь, не найти тогда меру его подвига. Начинать придется со Сталина, чьи ошибки стояли вровень с оружием врага. Давно пришло время для написания «Черной книги» его ошибок и преступлений.

В канун пятидесятилетия победы В. Черномырдин призвал отдать дань уважения военным заслугам Сталина. Раз такое еще возможно, с книгой надо поторопиться. Без нее «суд истории» заведет нас бог знает куда, и места войны в истории нам не сыскать.

Начнется Книга, конечно, с преступлений довоенных: уничтожения высшего комсостава, демонтажа уникальной линии обороны, ориентированности подготовительных к войне мер на наступательные действия. Продолжит Книгу перечень страшных последствий преступлений: потеря территорий, большей части военной промышленности, важнейших источников сырья и энергии.

Рубцы от ран, полученных в начале войны, постоянно давали о себе знать. Небольшой пример: до войны советские понтонно-мостовые части имели в своем распоряжении «понтонные парки»; их стальные элементы быстро собирались в надежные мосты и паромы, но в первые же дни немцы парки уничтожили, и все четыре года пришлось перебиваться деревянными самоделками.

Длинным быть перечню преступлений, совершенных в период самой войны. Важное место в нем займет «тактика» сбережения резервов с тем, чтобы использовать до конца тех, кто истекая кровью, держал оборону. Так Сталин поступил с защитниками Ленинграда, Севастополя, Сталинграда, так была брошена на произвол судьбы 2-ая

Ударная армия. «Неудачников» Сталин знать не хотел — резервы были нужны ему для своих иногда сумасбродных, иногда неграмотных операций.

Одну из таких операций мне не забыть. Как-то ночью мы переправили через р. Вауза более 200 танков; утром вернулся обратно с десятков танков, уже не имевших гусениц. Так закончилась бесславная попытка освободить деревеньку Гредякино, которую потом немцы оставят без боя.

Видимо, особый счет будет предъявлен сталинской неграмотности. Страшный пример ее — приказ «Ни шагу назад!», лишивший войска необходимой в войне возможности маневра.

На Западном направлении мы более трех лет преследовали немцев; они, отступая, каждый раз закреплялись на господствующих высотах, а советские войска, которым бы отступить до предыдущих высоток, права на это не имея, замирали, как вкопанные, в ногах у немцев. И так более трех лет! К неграмотности добавлялось маниакальное недоверие ко всему и ко всем. Помноженное на жестокость, оно особенно страшным образом сказалось на отношении к пленным. Приказ №27 от 16 августа 1941 года гласил: «Попавшим в окружение, сражаться до последней возможности, пробиваться к своим. А тех, кто предпочтет сдаться в плен, уничтожать всеми средствами, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственных пособий и помощи». Сталин объявил об отказе государства от своих пленных — они не были внесены в списки Международного Красного Креста.

Никто пленным не помогал, никто не отвечал за их жизнь!

Но были же в советском командовании люди, в военной науке искушенные. Почему же возможны были вопиющие ошибки? Видимо, это были прямые издержки тиранического правления. Подтверждение этому — удивительное сходство ошибок Гитлера и Сталина.

И вот снова вопрос: как же все-таки, имея таких врагов, как Гитлер и Сталин, народ победил? Здесь нам придется повторить истины общеизвестные, но опять же подверга-

ющиеся все чаще сомнению. Победил потому, что принял на свои плечи всю тяжесть войны. Победил благодаря огромной сосредоточенности и самоотверженности ВСЕГО НАРОДА! Война была направлена на защиту отечества и на уничтожение фашизма. То, что преследование фашистских войск перешло на территорию Германии, было оправдано логикой войны и не меняет того положения, что война была также ОТЕЧЕСТВЕННОЙ; Для человечества факт победы над фашизмом делал войну ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ. Некоторые пытаются умалить значение Победы на том основании, что победив фашизм, Советский Союз приступил к созданию «социалистического лагеря», и при этом оказал давление на ряд стран. Так действительно было, когда советский народ вернулся на позиции полного бесправия, а дела послевоенного устройства перешли безраздельно в руки Сталина. Но, главное, — разве можно сравнить давление, которое оказывал Сталин, со страшными перспективами победы фашизма!

В конце войны мне довелось быть в Польше — одной из стран будущего социалистического лагеря. Как же радовались поляки победе, как лихо они ее отмечали. Запомнились их удивительно теплое отношение к нашим воинам, которому удивляться не приходилось — планы фашистов в отношении Польши были определены: «...славяне, в том числе и поляки, должны были служить источником рабочей силы, перед ними закрывались все возможности интеллектуального развития, уничтожался слой людей умственного труда... поляки просто выпали бы из мировой истории»*.

Можно ли сохранить за войной название ВЕЛИКАЯ? В пользу этого — чистота помыслов и самоотверженность советских воинов, которая была уникальна. Она выражалась не только в готовности пожертвовать своей жизнью, но и в высочайшей мере самоотречения.

В августе сорок второго, попав в только что оставленную немцами землянку, я был потрясен, обнаружив, что в ней не просто БЫЛИ, как были мы в своих землянках, в

* Я. Щеданьский «Опасения и надежды» — Дружба народов № 5-6, 1995 г.

ней ЖИЛИ! Стоял крепкий запах одеколона, всюду — баночки и скляночки, обертки от шоколада, винные бутылки, салфетки. Подумать только — здесь же жили, уезжали в отпуск, сюда привозили женщин или отсюда к ним ходили. И это в войну? Возможно ли даже сравнить это с нашей солдатской землянкой.

Я думаю, что, если, не ради славы и завоеваний, а для защиты родины, миллионы людей отправляются на войну, покидая на целых четыре года своих близких, отказываясь от женщин, от быта.... — уже по одному этому война становится ВЕЛИКОЙ. Но не слишком ли пышно получается: «великая», «отечественная», «народная», «освободительная»? И это применительно к событию, которое справедливо называют «бойней» и «мясорубкой». Все так. Но нельзя забывать, что при всей своей жестокости это было событие особого исторического масштаба, которое помешало ввергнуть народы в пучину ужасной трагедии и которое за безнравственность из истории не исключить.

Перечисленные определения «великая», «народная» и т.д. действительно парадны, но они и точны. Они нужны как знамя, нужны потому, что борьба за «честь» войны продолжается: «...у нас крадут даже остатки победы... и не дай Бог — дойдет до того, что через какое-то время никому не будет понятно: за что, собственно, сражались эти странные старики». Вот это будет нашим настоящим поражением — поражением после победы*.

Почему не восстали против Сталина

Нет нужды объяснять, почему, обсуждая дела военные и дойдя до Дня Победы, останавливаться не приходится. Переходить этот рубеж необходимо не только по той причине, что о всяком событии красноречивее всего говорят его последствия, но и из-за того, что поток очернения памяти о Великой Отечественной войне устремился в послевоенные годы.

В армии День Победы праздновали неистово, но не долго — пришли новые нешуточные заботы. Как космо-

навт, попадая в невесомость, вдруг оказывается в совершенно новом для него мире, так и солдат, который только вчера должен был что-то преодолевать и кого-то убивать, вдруг оказался в мире иных и даже противоположных ценностей.

«Убей немца» — внушали ему, и он стремился как можно больше убивать врагов и как можно больше уничтожать танков, орудий и самолетов. Чем больше убьешь, чем больше уничтожишь, тем выше награда. Четыре года война уродовала психику людей. Кого-то довела до безумия, кого-то превратила в убийцу. Воспетое «упоеание в бою» — огонь, который может закалить душу, а может и спалить ее.

Сразу после победы страшным образом возросло число «чрезвычайных происшествий». Раньше ходили только по проверенным дорогам, а после победы все настраивало на беззаботность, и воины, чудом уцелевшие в войне, сворачивали с дорог и подрывались. Даже чистка оружия стала опасной. Появились соблазны. Прежде всего — женщины. В Гданьске, где наш батальон оказался после победы, каждый день снаряжалась грузовая машина в венерологический госпиталь. Повсюду бутылки — кому дело до надписей на них, и люди отравлялись. Ушлые люди в войну ухитрялись посылать бесчисленные посылки в тыл. Раньше это было доступно только тем, кто на войне был «свидетелем». Теперь это мог делать каждый — грабить для этого не требовалось, хватало «бесхозных» вещей. Но собиравший «барахло» терял высокое достоинство солдата, которое было так необходимо для его моральной устойчивости.

Миллионы воинов, заслуживших внимание и заботу, попав после победы в тяжелое состояние, были брошены на произвол судьбы. А ведь победа не вдруг пришла, и необходимость организации переходного периода от войны к миру была для командования очевидна. А Сталин? О, Сталину было не до этого. Прошло время, когда страх заставил его увидеть в народе «братьев и сестер», заставил заискивать перед народом. После Победы о народе (в том числе и о миллионах попавших в беду воинах, «не

* М. Савицкий, Дружба народов № 5-6, 1995 г.

таких уж теперь нужных»), вождь мигом забыл, вписав этим в свой «послужной список» еще одно немалое преступление.

Стихийный переход к миру оказался трудным, а иногда и трагичным. При том, что в своей массе вернувшиеся с войны люди проявили удивительное, тогда мне совершенно непонятное миролюбие, внутреннее благородство, доброту и дисциплинированность, несмотря на то, что над кем-то властвовала инерция уничтожения, кто-то помышлял о мести (были, конечно, и просто преступники).

А. Зубов, да и не только он один, высказывает недоумение тем, что возвращающаяся с войны армия не повернула свое оружие против сталинского режима, против самого Сталина: «Никто даже на полчаса не захватил Лубянку. И этим мы проиграли войну. К нашему стыду тогда в 1945 году мы положили победу к ногам тирана, как гитлеровские знамена к ступеням мавзолея, и тем самым обесчестили себя перед миром и потомками».

Справедливости ради, надо отметить, что столь вздорной требовательности к армии-победительнице в массе пересмотренных о войне книг мне не встречалось. Так что же — отмахнуться от написанного А. Зубовым, как от чуда неисторичности? Когда-то А. Власов декларировал идею противостояния сталинскому режиму своей миссии освобождения народов России. Теперь А. Зубов использует эту декларацию для создания очередного мифа, переворачивающего историю войны с ног на голову. В сорок пятом году не было условий для свержения сталинского режима. Их было даже много меньше, чем до войны: «За Родину, за Сталина! — было на устах миллионов советских людей. Можно сегодня по-разному относиться к этому явлению — как к массовому безумству, массовому гипнозу или просто как к загадочному феномену истории. Но изъять этот лозунг из летописи войны попросту невозможно. О каком практическом противостоянии Сталину можно было говорить кому-либо из его врагов в конце 44-го и начале 45-го годов? Время пика авторитета, силы, влияния Сталина...»*.

* И. Левин «Генерал Власов по ту и эту стороны линии фронта» — «Звезда», № 6, 1995 г.

Добавьте к этому то обстоятельство, что тогда народу не было известно, каким чудовищем был Сталин. И, наконец, самым главным была полнейшая неспособность тех, кто возвращался домой, к каким бы то ни было новым «войнам». Им было не до того!

Обращаюсь вновь к Т. Вульфовичу, с которого начал это эссе: «... каждый час боя приближал не только победу, но и тот день, когда придется встретиться лицом к лицу с реальной, обыкновенной, нормальной жизнью без войны, с мирной жизнью. А мы к ней не были готовы. Мы даже толком не знали, что это такое. Если хотите, то «бесстрашное воинство» боялось мирной жизни. Боялись, а у некоторых были на то особые причины. Кому-то просто некуда было возвращаться, у кого-то убили родных и сожгли дом, кого-то ждала безнадежная бедность. Были и такие, для кого война была «звездным часом», и переход к мирной жизни виделся как падение».

Но, так или иначе, кто с тяжелым сердцем, кто с радостным ожиданием, все стремились уйти подальше от опостылевшей войны, и было им уже не до «Лубянки», ни до «Бутырок», ни даже до самого Сталина



Андрей ГРИЦМАН

КАКОЕ ВРЕМЯ — ТАКОВ МЕССИЯ

*Об антологии русской поэзии XX-го века
«Строфы века», составленной Евгением
Евтушенко*

Говорят, что критиковать Е. Евтушенко бессмысленно. Он полностью иммунен. Но не в этом дело! Перед нами книга, которая претендует на роль «Библии» русской поэзии XX-го века: в антологии 1056 страниц и включено в нее 875 русских поэтов! Но не является ли она, на самом деле, «апокрифом»? Почему именно Е. Евтушенко взял на себя роль архитектора памятника русской поэзии?

Как писал А. Вознесенский о В. Высоцком: «Какое время на дворе — таков мессия!» Эта фраза странным образом приложима и к составителю антологии, и к изданию, и к литературной ситуации. Впрочем, последняя, по понятиям Евтушенко — это политико-историческая ситуация.

Судя по всему, составитель решил, что именно его центральное положение — повсеместное присутствие в разных мирах (Россия, США) и эпохах — от сталинских 50-х годов до новорусского капитализма 90-х, позволяет «представить» русскую поэзию грядущим поколениям двадцать первого века.

Узловой пункт — это идея антологии, а соответственно, и автора: несмотря на ужасы большевизма, фашизма и сталинщины, русская поэзия, где бы она ни была — на даче в Переделкино, в пересыльном лагере на Колыме, в президиуме ССП, на кукурузных полях американского Среднего Запада или в ресторане ЦДЛ — «едина и неделима». Порой, сама того не осознавая, она единым фронтом шла, обходя мины времени, к общей матери-родине. Здесь слово «идея» немедленно превращается в однокоренное слово — «идеология». Вспомним известные строчки составителя «Моя идеология — ревком!», а также «единую и неделимую», лозунг из другого лагеря.

Автор пишет, что отбор авторов в антологии сделан «по степени боли». По степени боли? А как же Алексей Сурков? А воспеватель БАМа А. Преловский? А великий ремесленник и законодатель мод на писательский «барский» образ жизни Валентин Катаев? Итоговая антология — это разноцветная мозаика (именно, мозаика, а не полотно!) с яркими кристаллами вперемешку с мутными слепыми осколками.

Все, кто на слуху!

Евтушенко много говорит о страданиях народа и его певцов во времена войн, террора и застоя. Но практически не упоминает о той почти смерти, которая постигла русский литературный язык, о мутном кровавистом растроре «советского» языка, заливавшего рты и уши на протяжении более чем пятидесяти лет

«Русская поэзия — ключ к русской душе», еще один тезис составителя. А что такое русская душа? Кто это знает? Хорошо знакомы попытки выделить русскую душу, поэзию и ментальность из мировой, то есть западной,

основанной на библейском видении мира. Вспомним «Скифы» Блока. Спор, старый как мир. О восточном мире, о восточной душе философии трудно говорить. Это для нас безбрежное неизведанное море, и навигационных карт не имеется.

Сам составитель обещает, что в антологии будут все, «кто на слуху». Это критерий, конечно, очень сомнителен и не объективен. Попадание в подобную антологию, составленную знаменитым Евтушенко, дает право активно-му, оборотистому автору «подсуетиться» и угодить в число «классиков» двадцатого века в глазах почитывающей публики. Это только питает ненасытную российскую жажду к иерархичности, системе и «порядку».

Очевидно, что в свои комментарии составитель вложил много душевных сил. И еще больше изысканий из собственной памяти, где нет числа его симпатиям и антипатиям. За такой личный подход, естественно, приходится платить. Отсюда, многие комментарии субъективны и оценочны и дело не обходится без иерархических ярлыков. Это становится особенно серьезной проблемой тогда, когда читатель не имеет собственного представления о панораме поэзии двадцатого века. Например, о Серебряном веке, о поэзии двадцатых-тридцатых годов или о поэзии андеграунда. У человека, интересующегося литературой, но не несущего в сознании сформировавшейся диспозиции о развитии русской поэзии, зато знающего громкое имя Евтушенко и доверяющего его репутации, создается не собственное мнение, а мнение Евтушенко. Комментарии о поэтах начала века слишком субъективны. Куда лучше было бы приводить факты, а не оценки.

О М. Волошине сказано, что он «нашел в себе христианство благословить его (русский народ — А.Г.), а не проклясть. А вот революцию почти в равной степени принял и проклинал. Доказал собой, что поэт есть не только явление личности, но и явление истории». Двадцатый век без прикрас показал, что народы творят сами с собой, и русский народ отнюдь не уникален в этом смысле. С той только оговоркой, что Россия все же является «колыбелью» и «родиной» гражданских войн в этом тяжком веке.

«Хороший компромисс»

Некоторые данные, приводимые в комментариях, явно невозможно проверить (например, обстоятельства смерти некоторых поэтов, в особенности, Гумилева и Мандельштама) и лучше было бы вообще воздержаться от информации, основанной на слухах. С другой стороны, составитель торжественен и даже патетичен в оценках исторической роли своих соратников-современников, «эстрадных» поэтов шестидесятых годов, иногда, правда, с покровительственными нотками. Почему из громкой и талантливой «прогрессивной» поэзии шестидесятников в общем-то мало что получилось? Именно из-за попытки «творить» внутри системы, сделать как лучше, пойти на «хороший компромисс».

Прошло уже достаточно времени, и надо бы под новым углом зрения взглянуть на знакомые тексты. Многие из этих стихов социальны и сработаны по заказу. Если и не напрямую по заказу режима, то по заказу эпохи или по тому, как они ее понимали со своих оптимистически-позитивистских позиций.

«Революция не умерла, революция больна и ей надо помочь», — цитирует составитель молодую Ахмадулину. Что уж совсем ни к чему. Ахмадулина менее всех причастна к официально-либеральному, пусть и искреннему, «пудрению мозгов» публики шестидесятниками. Любопытно, что Б. Ахмадулина, выступавшая когда-то вместе со своими «гражданственными» товарищами в переполненных залах, в недавнем очерке памяти П. Антокольского написала: «Поэт никому ничего не должен, но человек обязан быть утешительным театром для другого человека».

Итак, даже спустя несколько лет после распада Союза составитель по-прежнему находится в тени рухнувшего колосса, советской иерархической системы. Не случайно он так многозначительно упоминает присуждение Государственных премий СССР Вознесенскому и Ахмадулиной.

Если отвлечься от яркой легенды, окружающей поэтов

шестидесятых, от документальных кадров многотысячных толп на стадионах и внимательно перечитать стихи шестидесятников, относясь к ним «на равных» — становится заметной эрозия больших талантов, занятых осуществлением большой идеи, а не просто говорящих правду о себе и своей судьбе.

Я думаю, что причина странной терпимости власти к молодым шестидесятникам с их фрондерством и к «военным» поэтам «Мы под Колпиным скопом стоим./ Артиллерия бьет по своим.»/ — в том, что она (власть) ощущала шестидесятников как «социально близких», как какую-то часть системы, а на фронтовиках еще колебался ответ великой войны. Впрочем, хорошо известно, что как только художник переходил какие-то незримые, но жестко поставленные рамки системы координат, он исчезал из «народного сознания» и быстро, порой с удивлением, находил себя во враждебном лагере.

Поэт не больше чем поэт

Очень важен вопрос, под каким углом зрения в данном издании рассматривается русская поэзия XX-го века. Очень уж знаком мотив песни о том, что русская поэзия (читай, искусство!) ответственна за отражение более России. Поэт ни за что не ответственен, и родина должна ему точно так же, как и он ей. Хорошо бы, по возможности, говорить правду поэтическим языком, и лучше всего о себе, поскольку этот предмет каждый художник знает лучше всего. Во многих случаях судьба отдельного художника и судьба страны и общества совпадают. Но это уж как не повезет. Вообще-то лучше всего отвечать за себя и оставить исторический процесс в покое. Он (процесс-прогресс) в любом случае будет творить свое безжалостное дело. Сомнительно давать оценку поэтам по степени их причастности к российскому историческому процессу.

Стоит вспомнить художников других культур. Сильные идеологические взгляды Эзры Паунда, Кнута Гамсуна или Габриэля Гарсиа Маркеса хорошо известны, но они оказа-

ли мало влияния на их искусство и существовали как бы параллельно с их поэзией, независимо от нее. Или русский, близкий нам пример — Маяковский, в его лучших лирических вещах! А вот живущий классик, недавний Нобелевский лауреат поэт Шеймус Хини явно старался быть историчным и социальным. Видимо, поэтому многие его стихи, посвященные «болям Ирландии», звучат как-то искусственно и академично.

Поэт и поэзия автономны от исторического процесса, порой доводящего художника до отчаяния. Развитие художника происходит не благодаря социально-историческому процессу, а, скорее, ему вопреки, и в этом смысле с ним связано. Другое дело, что конкретные обстоятельства жизни общества влияют на судьбу того или иного поэта. Но попытки быть «голосом эпохи», «больше, чем поэтом», приводят только к выхолащиванию поэзии, заменой ее публицистикой, еще хуже — идеологией, а в результате приводят к той же политической или шовинистической топи, куда забрели многие современные писатели, в том числе и очень одаренные.

Е. Евтушенко, как известно, давно провозгласил, что «поэт в России больше, чем поэт!» В том-то и дело, что не больше. Каждый должен заниматься своим делом. А принятие на себя роли пророка приводит к тому, что он, в конце концов, витийствует один в пустыне, а вокруг только камни.

На заявление о том, что «поэт есть не только явление личности, но и явление истории» (о Волошине) можно заметить, что именно пример Волошина показывает, что личность художника реагирует на историю наиболее естественно тогда, когда эта личность свободна от идеологии. Достаточно сравнить стихи о гражданской войне Волошина с агитками Маяковского.

Что случилось с поэзией

Трагедия русской поэзии, которой она обязана именно русской истории и «народу», это более чем полувековой «ледниковый период» (в пять раз дольше существования

германского фашизма). Последнее важное обстоятельство как-то не «высвечивается» в книге.

Длительный период смерти, «анабиоза» языка только еще заканчивается, идет «смутное время» и пока неясно, что проснется в будущем.

Обратимся теперь к трансформации русского языка начала века в советский и, наконец, в современный, и взглянем на то, как поэзия реагировала на этот процесс. Поразительно новаторство и разнообразие поэтической формы в первые два десятилетия нашего века. Но, как тяжело просыпается, расшевеливается поэтический язык последних двадцати-двадцати пяти лет. Очевидно, что советский язык, немота и глухота времени и официальная традиционность задержали развитие поэтических форм в русском стихосложении, зафиксировав русскую просодию в чудесно-правильных, но и привычно-удобных рамках пятистопного и четырехстопного ямбов и дольников. В двадцатом веке в американском английском, а также и в западно-европейских языках стиховые формы расширились, двинулись на новые языковые территории: поэзия прочно застолбила область свободного стиха. К сожалению, хорошо известно и злоупотребление этой «свободой стиха» многими американскими поэтами «продуктами системы». С другой стороны, в русской стихотворной системе становилось все удобнее помещать вполне стандартные мысли и чувства в привычные рамки родной стихотворной музыки, созданной когда-то великими. Примеры этой российской стихо-ремесленной традиции присутствуют и на страницах антологии.

На страницах той же книги приведены малоизвестные поколения читателей изумительные примеры русского свободного стиха, обещавшие развитие новой мощной струи русского стихосложения: «Форель разбивает лед» и «Александрийские песни» Михаила Кузмина, знаменитая «Обезьяна» Ходасевича, «Нашедший подкову» (Пиндарический отрывок) Мандельштама. Хочется привести отрывок из Блока «В дюнах», где звучит тот камертон, который задал тональность столь важным темам в более поздней русской поэзии: «Так думал я, блуждая по границе/ Фин-

ляндии, вникая в темный говор/ Небрityх и зеленоглазых финнов./ Стояла тишина. И у платформы/ Готовый поезд разводил пары./ И русская таможенная стража/ Лениво отдыхала на песчаном/ Обрыве, где кончалось полотно./ Так открывалась новая страна —/ И русский бесприютный храм глядел/ В чужую, незнакомую страну».

Эти нити развития российского стихосложения впоследствии были оборваны надолго. Я не отвлекаю сейчас читателя от более русской истории и не втягиваю его в проблемы чистого искусства. Но мы все-таки говорим об антологии поэзии, отражающей развитие русской поэзии в этом веке, а не о политико-историческом памфлете, который комментарии составителя так часто напоминают.

Язык, на котором говорит душа

В своем предисловии Е. Евтушенко отмечает: «Начало русской поэзии — в былинном эпосе, когда ритм татаро-монгольских таранов, ударяющих в крепостные ворота, рождал другой, противоборствующий ритм». Далее, как веки развития русского поэтического слова, упоминаются проповеди Аввакума, переписка Курбского с Грозным, письма Стеньки Разина и затем — борьба между западниками и славянофилами.

Не вызывает сомнения, к какому лагерю тяготеет автор. В этом ничего дурного нет, если только это не искажает истинного положения вещей. Но, к сожалению, в антологии не отражен тот факт, что развитие русского стихосложения связано и с влиянием других культур и с параллельным развитием европейских языков и стиховых форм. Странно, что ни слова не говорится о сравнительно позднем крещении Руси, которое ввело ее в европейско-христианскую сферу религиозно-языковых понятий. На огромных территориях художники слова начали говорить если не на одном языке, то, во всяком случае, подразумевая одни и те же основные понятия.

Говоря о связи русского стихосложения с западным, нужно упомянуть «вирши», пришедшие из Польши через

Украину в Россию, и вживленные в русский письменный стих Симеоном Полоцким. Величайший поэт Ломоносов адаптировал строй немецкого стиха, еще более европеизировав русский стих. Влияние французской поэзии на Пушкина и Лермонтова хорошо известно, так же как и мощная струя байронизма в их творчестве.

Всю глубину влияния иудео-христианского экуменизма и художественного акмеизма Мандельштама и Бродского на мировую культуру, с одной стороны, и на русскую — с другой, пока трудно полностью определить. Ясно только, что в девятнадцатом веке русская поэзия выдвинула в лице Пушкина гения в один ряд с Данте, Шекспиром и Гете, став важнейшей частью мировой литературы; в двадцатом, вновь вышла за пределы внутренних проблем на арену мирового искусства и заговорила устами Мандельштама и Бродского, то есть заговорила вновь, не важно на каком языке.

Я говорю все это не только для того, чтобы «выправить» крен составителя в хорошо известную сторону особой миссии русской культуры, представляющей Третий Рим на грешной земле. И для этого хотелось бы, чтобы читатель посмотрел под другим углом зрения на историю русской поэзии XX-го века, на отражение которой претендует данная антология. Поэзия существует не только для сообщения некоей гражданско-исторической идеи (пусть выраженной со страстью одаренности), а как универсальный язык, на котором говорит душа как Бог на душу положит. Без исторических, идеологических и гражданских установок.

От ипостаси к ипостаси

Е. Евтушенко, «больше, чем поэт», всю жизнь в движении от революционной идеологии юности к почти диссидентскому периоду дневников, опубликованных на Западе, к «Бабьему Яру» и «Наследникам Сталина». Затем опять «комсомольская романтика», помпезная «Братская ГЭС», потом он — западник, член Американской Академии и т.п., проклятый русскими шовинистами, типа Ф. Чуева и

С. Куняева, и снова бросок в русский патриотизм — от недавнего итогового романа-мемуаров до данной антологии. А ныне — новая ипостась: почтенный профессор литературы, одна из важных шестерен в отлаженной американской академической литературной машине. Квинс Колледж и Университет Айовы.

Но — не судите, да не судимы будете! Разговор идет о стихах, а не о карьере или о политических позициях. За всеми этими ипостасями Евтушенко — трибуна, романиста, Талейрана, ярого западника и русофила, политика, кинорежиссера, и Бог знает кого еще, скрывается сильный и искренний лирический поэт. Порой бывало жаль, что творческая энергия художника годами уходила на службу «прогрессу» или «России», чему угодно, а не на любовь к собственной Музе. Что, может быть, сослужило бы лучшую службу и прогрессу и России.

По замыслу составителя должны были быть представлены «не какие-либо основные...», а по возможности ВСЕ талантливые, до кого руки дотянутся и кто в ней поместится» (!). И в этом смысле в антологии, претендующей на роль итоговой, вековой, главной имеются весьма серьезные и просто недопустимые огрехи.

Непонятно, зачем при жестком отборе авторов и стихов, нужно было отводить многие страницы на стихи широко известных поэтов, которые у каждого культурного человека и так стоят на полке.

Совершенно излишне подробное освещение составителем всем и так хорошо известной истории И. Бродского, а главное, истории своих с ним отношений. Еще более необязательно высказывание по поводу жизненных и творческих решений Бродского и публикация двух больших подборок его стихов: «выбор Бродского» (конечно, позднее) и «выбор Евтушенко» (естественно, ранние стихи Бродского). Антология поэзии — не место для выяснения отношений или сообщения литературных анекдотов.

Очевидно, что большую роль при отборе сыграли личные знакомства и влияния, причем многие решения принимались явно на ходу, или на лету, при перелетах между

странами и мимолетных встречах в разных пунктах огромной географически-исторической территории русской поэзии. И вот, по две-три страницы отведено на полупрозаические вирши некоторых функционеров от поэзии, завоевавших внимание составителя. Много пространства в книге занято и не поэтами вообще, а людьми, чем-то показавшимися занятому составителю, написавшими несколько стихов на уровне «семейных стихов» или «для друзей», а попавших в сборник поэзии века! Приведены стихи артистов, художников, прозаиков, политиков, людей известных, но стихи писавших как любители.

В то же время создатели целых направлений, художники, являющиеся ведущими в целой сфере или в периоде поэзии, удостоиваются одной строчки комментария и только трети или полстранички: Михаил Айзенберг, Владимир Гандельсман, Всеволод Некрасов, Иван Жданов, Лев Рубинштейн и другие. Эта «невнимательность» или «равнодушие» составителя неслучайны. Е. Евтушенко в пространственных комментариях высказывается подробно о своих соратниках-шестидесятниках, о Твардовском (заслуженно), о Солоухине, о Куняеве, поэтах разных школ и направлений, но в большинстве своем официальных, встроенных в систему. С другой стороны, некоторые важнейшие линии «альтернативного» искусства: андеграунд, диссидентская поэзия, современная «эмигрантская» поэзия, как бы почти не существуют, разве что в отзвуке имен некоторых авторов, долетевших из глубин брежневского застоя или из далека эмиграции.

Не раз встречается выражение «бойлерное поколение». Имеется в виду интеллигенция, не вошедшая в советскую систему, но активно не диссидентствовавшая, а жившая альтернативной жизнью — творчество наряду с работой в котельных, сторожами и т.п. И в то же время, важнейшее слово в истории современного русского искусства «андерграунд», кажется, не упоминается вообще, хотя это явление недавнего прошлого объединяло в себе многих художников-нонконформистов, которые играют в настоящее время ведущие роли в

современной поэзии. Дело тут не столько в идеологических или политических различиях, сколько в эстетике и манере общественного поведения. В каком-то смысле, в различиях во вкусе. Примером может быть Т. Кибиров («пародист действительности»), понятый комментатором слишком буквально. Кибиров, «застрявший в собственном ерничестве», оказывается, «насмехается над всем святым — в том числе и над Родиной!» Это странная близорукость со стороны комментатора, не понимающего (?), что никакого издевательства над Родиной в творчестве «пародистов» и представителей «иронической поэзии» нет, а скорее — над советским опостылевшим лубком с искусным выворачиванием наизнанку советского языка. Явление это очень российское и даже гражданственное (!). Авторы этого направления действительно «застряли», и постоянное возвращение к пародии на советскую действительность становится все менее интересным. Это популярное движение, близкое к соцарту, продолжается уже слишком давно. Не стоит некоторым авторам использовать свою одаренность на постоянную разборку мусора советского языка, как бы профессионально и смешно это ни получалось.

Забывшие и обойденные

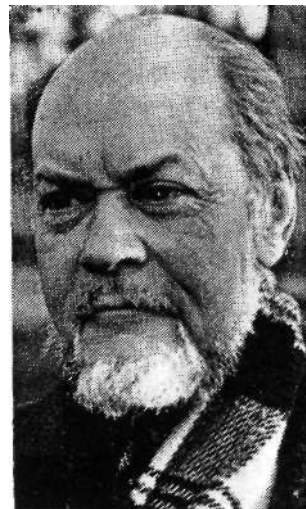
Я не могу привести здесь весь длинный список обойденных. Не вошли представители направлений, не интересные или чуждые составителю эстетически или социально. Из «старших» поэтов нет в антологии Михаила Еремина, интереснейшего экспериментального ленинградского поэта, создавшего свой уникальный стиль «языковой поэзии». «Без вести пропал» известный московский поэт-диссидент, бывший ЗК, Юрий Айхенвальд. Нет «традиционного» поэта-петербуржца Валерия Черешни, интереснейшего концептуалиста Ивана Ахметьева. Из забытых и обойденных можно было бы составить другую антологию.

«Профессорская забывчивость» составителей не миновала и поэтов русской диаспоры, что, по-видимому, не

случайно, и представляет «больную точку» нашей эпохи. Возникает ощущение, что в сознании составителей авторской диаспоры находятся на периферии русского поэтического сознания, хотя об этом прямо в комментариях не говорится. Автор многолетнего потока публикаций Лия Владимировна, живущая в Израиле, не «удостоилась», так же как и известные крупные поэты «иудейской» линии, представители мощной русскоязычной культуры в Израиле — Леонид Иоффе, М. Генделев, а также Ю. Колкер. Не включена целая группа поэтов эмиграции, представляющих собой новое и любопытное явление. Они более или менее органично вошли в западную жизнь или как художники сформировались на Западе и продолжают жить русской поэзией.

Любой, кто будет читать «Строфы века», должен помнить, что в путешествии по русской поэзии его ведет за руку Евтушенко и читатель смотрит на картину сквозь его призму. И каждый должен решать для себя, насколько его взгляд отличен от взгляда автора-составителя и искажена перспектива дымящейся и туманной панорамы русской поэзии в сгущающихся сумерках XX-го века.

Нью-Йорк, 1997 г.



Пав АННИНСКИЙ

БАРДЫ

Горизонт и зенит

*«Между нами, друг,
все стена, стена...»
М. АНЧАРОВ*

Его смерть, неслышно затерявшаяся в треске нашей перестройки, странно контрастирует не только с громкой известностью его в оттепельные шестидесятые годы, — тихая кончина Анчарова странно контрастирует со всенародно оплаканным уходом других бардов эпохи, словно дождавшихся такого часа, чтобы потеря ударила побольнее. Смерть Визбора трамплином подбросила всеобщий к нему интерес, на волне этого интереса студенческий менестрель, певец горных лыж и синих гор стал (и заслуженно) одним из классиков жанра. Я уже не говорю о Высоцком, которого смерть из полуподпольных певцов перевела в национальные герои (и тоже заслуженно, потому что незаслуженно события такого масштаба не случаются).

В этом соотношении тишина вокруг имени Анчарова и странна, и незаслуженна. Все шестидесятые годы в гонке на магнитофонной дорожке он шел абсолютно вровень с Галичем, Окуджавой, Городницким, Матвеевой, Якушевой. Без Анчарова этот круг совершенно непредставим; он занимал в нем свое, особое, уникальное место. Перекликаясь, пересекаясь с другими. Но — не совпадая ни с кем: ни в стиле, ни в тематике, ни в манере петь, ни в типе артистического поведения.

Высоцкий иногда пел его песни. Анчаров в автобиографии вспоминает об этом мимоходом, не давая воли эмоциям («это отдельный разговор»). За подчеркнутой сдержанностью можно предположить тень досады. Можно сообразить и причину ее. Конечно, Высоцкому незачем было петь чужие песни в качестве своих, и он этого никогда не делал, но то, что широкая аудитория могла принимать анчаровские песни за песни Высоцкого, — факт более, чем вероятный. Точно так же, как эта аудитория приписывала песни Городницкого Визбору, певшему их с несравненным шармом. Никто не находил ничего особенного в таких заменах — в шестидесятые годы барды составляли единый круг, и лишь позднейшая атрибуция потребовала точного авторского размежевания. Досада Анчарова — позднейшая, она относится скорее к ситуации восьмидесятых годов, несколько забывших эти песни, чем конкретно к Высоцкому, с которым Анчаров не раз встречался, когда тот начинал, — в ранние шестидесятые годы.

Встречался и с Визбором. Я был свидетелем одной из таких встреч. В типично московскую квартиру (кажется, это состязание бардов устроил у себя телекомментатор Любощев) набилось человек тридцать. Домашнее угощение не предусматривалось; каждый принес то, что счел нужным. Не лишенный юмора хозяин устроил из принесенного выставку: поставил шеренгой дюжину бутылок коньяка, а на пробку последней водрузил маленький мандаринчик — единственную закуску. Я описываю этот врезавшийся мне в память натюрморт, потому что он кажется мне характерным для эпохи 60-х годов, с ее «кухонными

сидениями»: это не было пиршество, не потому, что нечего было купить к столу (как раз тогда — было); но собрались не за тем; даже и бутылки, боюсь, были не все выпиты, хотя сидение, начавшееся поздно, было рассчитано на всю ночь. Всю ночь я не выдержал, но первую половину состязания прослушал.

Анчаров и Визбор сидели друг против друга с гитарами в руках. Стол был пуст (даже и магнитофона не припомню), а кругом плотным кольцом сидели, стояли и, по моему, лежали на полу слушатели. Визбор как младший — начал. Спел три песни и почтительно умолк. Анчаров выдержал маленькую паузу и тоже спел три песни, и тоже замолк, вежливо склонив голову. Меня почему-то тронула именно эта взаимная щепетильность. Песни-то я и так все знал, песни были не внове; интересна была — обстановка. И поведение — вот это подчеркнутое уступание места.

А контраст фигур был поразительно ярок. Контраст манеры петь. Контраст всего. Живой, рыжий, светящийся, весь какой-то «пушистый» Визбор и Анчаров — сдержанный, приторможенный, корректный, как бы застегнутый на все пуговицы. Не помню, как он был одет, но ощущение такое, словно он в протокольном черном костюме.

Он был не просто красавец. Он был, если можно так выразиться, концертный красавец: правильные черты лица, гладко зачесанные блестящие черные волосы, спокойная прямая осанка; фрак «просился» к его фигуре, человек с такой внешностью был бы хорош и как дипломат на приеме, и как иллюзионист на арене, и как... резидент в «стане врага».

Может быть, неслучайно биографическая «легенда» (сопровождающая всякого стоящего барда) упорно приписывала Анчарову нечто таинственное, секретное. Насколько Визбор был «распахнут», а Высоцкий даже «вывернут» наизнанку (а Окуджава вежливо «приоткрыт») — настолько Анчаров казался «закрытым» наглухо. Легенда шла за каждым из них, иногда считаясь, а иногда и не считаясь с фактами; то, что Окуджава был

«грустный солдат» как-то еще вязалось с его судьбой, но солдатом-фронтовиком слыл никогда не воевавший Визбор (впрочем, еще больше он слыл спортсменом, лихим горнолыжником, что было ближе к истине). Высоцкий тоже казался спортсменом (альпинистом), что еще могло иметь реальную основу, но то, что он был в сознании народа — зеком, лагерником, — это уже чистейший образ.

Так образ в данном случае больше говорил, чем эмпирика!

Биография Анчарова малоизвестна. В его изложении это практически «библиография»: пел то-то, писал то-то. Песни, рассказы, романы. А до этого что было? «Прежде, чем избрать своим делом литературу, я перепробовал множество разных занятий. Я был бардом, художником, сценаристом и даже писал либретто для опер...» Естественно, что к списку этих чисто артистических дел молва должна была добавлять нечто более осязаемое. И она добавляла — «подвиги разведчика».

С обликом Анчарова эта легенда удивительно совпадала, потому и держалась. Корректность и сдержанность отличали у него не просто манеру поведения, но весь артистический облик — то, что составляет у поэта «ауру души». Это был образ человека потаенного, безукоризненного и как бы несколько «нездешнего». Пришелец. Что-то странное было не только в его песнях, но и в самой манере петь.

Слова ложились четко, жестко, как врезанные. Артикуляция отдавала правильностью, таящей скорее строгую школу, чем естественное дыхание. Резкость голосового рисунка (все время около речитатива) странно контрастировала с элементами цыганского распева, время от времени выплывавшими из строя речи сентиментальными вздохами, вернее, сентиментальными цитатами. В принципе-то это был ритм символов, не ритм вздохов! Ничего общего ни с задушевностью Визбора, ни со взрывным, «неуправляемым» темпераментом Высоцкого, ни с ликующей иронией Кима, ни с гармоническим ритмом Окуджавы — именно ритмом вздохов. Анчаров, казалось, пел в

панцире. Что-то металлическое отдавалось в его голосе. Много лет спустя у Виктора Цоя откликнулся это звук: голос отпавшего, не желающего сливаться, идущего «отдельно» сознания.

Предвещено — у Анчарова. «Мужики, ищите Аэлилу!» Что-то марсианское, звездное, сдвинутое. Притягательность сомнамбулического «прохожего», идущего сквозь нашу жизнь неведомым путем. Из загадочной тени в загадочную тень. Из тумана в туман. «Звук шагов, шагов да белый туман...»

Не «бЕлый» — «белый»... Даже странное ударение кажется у Анчарова необходимым. Сдвинут язык. Может сказать: «Мы в пахаре чтим целину, в войне — страх врагам», — и лучше не вкапываться в логику фразы, ибо смысл — в содвигении символов. И цыгана (вернее, «цыгана») с городской окраины зовут у Анчарова женским именем «Маша», и это тоже в стиле: мир увиден со странной точки, потаенно очарованным сознанием.

И — увиден. Описан. Предстает в реальных очертаниях, в деталях, в драматичных человеческих судьбах. В истории того же «цыгана», подломившего ларек в голодную военную пору. В истории безногого инвалида, одиноко стучащего костылями по обледелым московским улицам сорок шестого года. В истории крутого шофера, таранящего трехосным МАЗом непролазные наши дороги. Послевоенная Россия во всей ее скудости, щедрости, злобе, великодушии, дури, доверчивости встает из песен Анчарова. И здесь он неспроста перекликается с поэтами своего круга. С Галичем, Высоким. И жанр тут общий; уже и Визбора под конец все больше привлекала эта форма — подробный «балладный» рассказ, исчерпывающий и эпизод, и судьбу человека. Не лирический «мазок» — прямая захлестывающая исповедь.

Горизонт Анчарова, очерчивающий реальную землю, замкнут судьбами как бы противоположного плана. Как бы «людьми неба». Тут реальность — там «иллюзион». Тут ледяной ветер городской окраины, там — прозрачные эмпирии и «воздух искусства». Тут шофера да инвалид, там — органист на концерте, циркач на арене и

наконец — главный любимец 60-х — король интеллектуалов: физик.

Эти романтические герои всегда круто осажены у Анчарова в грубую реальность. Органист — унижен, прикрыт тенью эстрадной певицы (она — окружена поклонением, Алла Соленкова, героиня 1960 года — не предтеча ли другой Аллы — Пугачевой?). Циркач едет по кругу, качаются плюмажи, сверкает позолота, но оттенок тщеты неустрашим из картины праздника: «губы девочка мажет в первом ряду» — не знает, как эти кони ходили в атаку. Анчаров видит мир всегда с высшей точки («от Аэлиты»), и одновременно видит — тщету, пошлость, обреченность этой высоты. Он жестче Галича, язвительней Высоцкого, резче Визбора. Сравнить фигуры шоферов: у Визбора — романтический путник, у Анчарова — прошедший огни, воды и медные трубы работяга — четвертый год без отпуска. Сравнить того же «физика» — у Галича, когда тот устами истопника рассказывает, как «гады-физики на пари раскрутили шарик наоборот», и у Анчарова, когда тот устами «шлюхи» рассказывает: «Он работал в секретном ящике, развивал науку страны, только сам он был весь ляддаченький, все потел, пока снял штаны...» И эта резкость штриха, грубость рисунка, этот неперенный черный подбой у сверкающе белых видений — все это составляет неповторимую окраску анчаровской лирики, и каким-то образом сопрягается со странностью его пения, и открывает глубинную тему его творчества.

Ключ указан самим Анчаровым: Александр Грин. Алые паруса посреди серой окраинной Благуши. Уплыть, уйти! Благуша была холодная и темная, «текстильная, воровская, пацанская». А Грин был — теплый, южный. Анчаров слушал, как воют в подворотнях благушинские собаки, и писал музыку на гриновские стихи о ветрах и кораблях. Про это рассказали вдове Грина — в предвоенные годы она еще жила где-то в таганских переулках. Анчарова повезли. Вместе с гитарой. Старушка заплакала, когда двенадцатилетний пацан спел ей: «Южный Крест нам сияет вдали». Он вернулся на Благушу, потрясенный ее слезами.

Южный Крест сияет в стихах и песнях Анчарова. Всю жизнь. Романтический Грин зеленеет, синее, сверкает. Романтический мир — отсветами, отблесками, отзвуками. Залпами цветов, криками лебедей, морозной пылью троек, летящих к звездам, серебристым смехом, сверканием сабель, салютами, взлетающими над раскаленными руинами, над пеной морей, над дорогами, по которым бродят поэты и безбожники, мушкетеры и сорванцы. Романтический узор, светящийся в стихах Анчарова, иногда придает им экзотичность, что-то пряное и непременно нездешнее. Золотится, серебрится, зеленеет, синее, рыжее, сверкает и слепит всеми цветами радуги... Кроме алого. Этот цвет, самый «гриновский», самый точный, — неспроста укрыт у Анчарова. Может быть, из щепетильности — не цитировать учителя в лоб. Но скорее из подсознательного (или сознательного) ощущения, что истина напрямую не видна. Главный цвет скрыт, преломлен, раздроблен — в золотистых, серебристых, пестрых оттенках-осколках; он искажен, обречен; он в этом мире сломлен.

Здесь, я думаю, главный секрет анчаровского мироощущения: романтическая мечта у него изначально обречена. Собственно, пишет-то Анчаров не романтическую картину мира, а картину гибели романтического мира. Рассыпается конная лава, раскрываются цветки парашютов — уходят на Луну корабли, и гибнут кони, череп пробит, парашют пробит, и марсианка знает: «Сыну Неба два крыла запутали в дерьме». Анчаров — поэт гаснущих звезд. У него «небо в землю упало». Поэт света, одолеваемого тьмой. Поэт свето-темени. «От слепящего света стало в мире темно». Можете истолковывать в каком угодно контексте — по нынешним временам все можно. У Анчарова все пережито в конкретности. Мечтает мальчик в беспросветной Благуше, а мечтателя «крестят» поленом по спине, и вырезанных им сказочных деревянных коней кидают в огонь. Вырастает мальчик — под воинские марши: граница на замке, атака самураев отбита, сопка за спиной, грохот рыжего огня, топот чалого коня, — а остается от всей героической

эпопеи — бормотание психа, которого везут на Канатчикову Дачу, а он все не отдает санитарам свою пограничную фуражку...

Предвоенные зарницы полыхают в стихах безумными отсветами. Анчаров — из того поколения «меченых», которому судьба начертала умереть за Мировую Революцию, и они еще были счастливы, когда начали умирать. Огнем — обошла война Анчарова, не прибила его лирику к земле, не пригнула к окопу, как лирику Слуцкого, Межирова, Самойлова, она не сделала из него грустного солдата, как из героя Окуджавы. Тут вариант, близкий скорее к коржавинскому (или к судьбе Юрия Трифонова): человек воюющего поколения стечением обстоятельств сдвинут к следующему поколению: к невоюющим. К неповрежденным мечтателям. Мечту он продолжает носить в сердце, и оно обугливается.

Мирная литературная судьба у Анчарова прикрыла эти горящие угли. Он стал профессиональным писателем, выпустил несколько книг прозы. Мне приходилось писать о них, но это другой разговор. Могу только сказать, что благополучие его писательской судьбы проблематично. Хотя успех был. Было даже такое, что по анчаровскому сценарию поставили телепередачу, и она понравилась Л.И. Брежневу. Это очень острый момент в писательской судьбе, и не вдруг поймешь, счастливый ли. «Поэт в России больше, чем поэт», — одному приходится оправдываться, как это он шел против власти, другому — как это он власти понравился.

Мне доводилось изредка встречать Михаила Леонидовича и в последние годы его жизни. Мягкий джемпер, мягкая улыбка. Он не участвовал ни в «акциях протеста», ни в прочих громких делах проклятого Застоя и пьянящей Гласности. Наверное, это был самый тихий, самый скромный из «бардов» великой эпохи. Вокруг — ослепительный бунт Высоцкого, всесветное изгнание Галича, жалаящий смех Кима, укрытого псевдонимом от ответных ударов власти, язвительная вежливость Окуджавы, неуязвимость в своей всегдашней тончайшей оппозиционности. Бунт по-лхал все ярче. Шла новая эпоха — рок, тяжелый рок,

роковой для ценностей прежней эпохи. Тихий Анчаров, человек в мягком джемпере, казалось, оставался там, в прошлом, в шестидесятых романтических годах.

К сведению будущих историков песни. Анчаров действительно написал в 60-е годы несколько текстов, ставших «классикой». «Зерцало вод», «Село Миксуница», «Тополиная метель», «МАЗ», «Аэлита»... Но «Богомазы» написаны еще в 50-е, «Девушка, эй, постой!», «Песня о психе», «Кап-кап» — это все в 1957 году. А «Русалочка», «Царевны», «В германской дальней стороне», а пленительное «Солнечным утром в тени» — это 40-е, это большею частью 1943 год! Пелось же — два, три десятка лет спустя — как только что рожденное. Будет ли петься дальше? Что? Кем? Кто знает, что останется истории, а что будущим поколениям? Что будут изучать, а что — петь?

Может, вот это, тихое, горькое, глубоко созвучное мне у Анчарова, самое любимое его:

**Звук шагов, шагов
Да белый туман.
На работу люди спешат, спешат.
Общий звук шагов —
Будто общий шаг,
Будто лодка проходит
По камышам.
В тех шагах, шагах —
И твои шаги,
В тех шагах, шагах —
И моя печаль.
Между нами, друг,
Все стена, стена,
Да не та стена,
Что из кирпича.**

**Ты уходишь, друг,
От меня, меня.
Отзвенела вдруг
Память о ночах.
Где-то в тех шагах
Соловьи звенят,
Где-то в тех ночах
Ручеек заках.
И не видно лиц —
Все шаги одни.
Все шаги, шаги,
Все обман, обман.
Не моря легли,
А слепые дни,
Не белы снега,
А седой туман.**

Не видно лиц. Отсветы. Не слышно слов. Отзвуки. Отсветы зарев, отзвуки битв. Седой туман. Грусть пронзительная.

Здесь — зенит Михаила Анчарова. Точка схождения его горизонтов. Небо, павшее в землю. Свет, ослепивший до тьмы.

Семь струн. Семь нот. Семь бед

После окончания университета мы еще несколько лет пели песни. Все реже у костра, все чаще за столом. Однажды Алик и Лида Яновы пришли к нам обмениваться сокровищами студенческого фольклора. Будущий американский советолог и специалист по контрреформам не был выдающимся вокалистом, его жена тоже, но когда они запели — все прежнее как бы перестало звучать, звучало только это:

**Я все равно паду на той,
на той далекой, на гражданской.
И комиссары в пыльных шлемах
склонятся молча надо мной.**

Это был явно не фольклор. Я потребовал имя автора. Они назвали.

Через два дня я стоял перед автором в коридоре «Литературной газеты». Через три — записывал его на мой допотопный «Спалис».

Тридцать песен той первозаписи легли на душу естественно и... как бы получше выразиться... по-домашнему. Арбатские переулки, смоленские дороги, своиские ребята. Кое-что было мне чуждо, но на задушевной волне принималось: бравада ресторанных шалопаев, девочки, млеющие от матросских ленточек, общий налет уличного праздничества. А сквозь все это — звенящая нота, пронизывающая тихую исповедь маленького солдата, взревающая его жалобы:

Я все равно паду на той...

Непонятно. Вот это горькое «Все равно». О чем это?

Он объяснял: «Какое новое сражение не покачнуло б шар земной».

Потом стало ясно: новое сражение, которое покачнуло шар земной, началось с падения Берлинской стены.

Тогда я понял, что так мучило, так приковывало меня.

Выпадало из приглушенного тембра, светилось, кричало, сверкало, кровью билось в висках.

А вот это упрямое и обреченное: «Все равно...»

Эта песня тоже — наискосок всему. Всему, что уже воспринималось у Булата как привычное и ожидаемое. Привычен стал путь со старого Арбата на войну. Привычен герой — маленький школяр, надевший шинель. Его неисправимо штатский облик. Его городские ангелы. Его мечтаемые женщины — неверные, непостижимые, туманно-загадочные.

Вдруг — мама. Что-то русское, певуче-простое, невообразимо далекое и от армяно-грузинских корней, и от советских новобранцев, мальчиков Державы, идеалистов 1941 года.

**Не клонись-ка ты, головушка,
От невзгод и от обид,
Мама, белая голубушка,
Утро новое горит...**

Как сон из деревенского детства.

Это был единственный случай, когда, записывая Булата, я не выдержал и попросил повторить.

Словно не поверил:

— Это — тоже твоё? Боже мой, это твоё? Твоё?!

Душа замерла, потянулась в несбывшееся, в запретное — далекое от ранних шинелей и поздних троллейбусов, — такое горькое, сладкое очарование было в этих простых словах, рифмующихся осторожно и неясно, как во сне:

**И сладки, как в полдень пасеки,
Как из детства голоса, —
Твои руки, твои песенки,
Твои вечные глаза...**

Так притягивало у Булата — нетипичное.

А вот это — типичное: будни нашего отряда, бездомная девчонка, попавшаяся на фронтовом маршруте. Преведными песнями Булата подготовлено пришествие окопной Мадонны, это беззащитной беженки, приткнувшейся к армейским харчам, к армейским мужикам-защитникам:

**И откуда на переднем плане,
Где даже земля сожжена,
Детских рук доверчивость такая
И улыбки такая тишина?**

Святая!

Но тогда откуда этот мутный след за нею шлейфом? Откуда дух коммуналки на этом ветрище? Солдаты «шагом тяжелым проходят по улице в бой» — в самом строчечном строе какая-то странность: так, «по улице» не в «бой» проходят, а на службу. Второй план — такой же странный по речестрою: «редкие счастливые жены» над судьбой девочки «злословят». Во-первых, какие там «счастливые жены», когда «земля сожжена»? Ах, «редкие»? До «редких» мне дела нет. Во-вторых, ну и что, если злословят? Это что, соизмеримо — война, которая *все сожгла*, и что-то квартирное, обыденное, коммунально-арбатское «злословят»?

Этот мотив вообще проходит у Булата какой-то странной нотой: завеса мелкой лжи в людях, мелкая слабость, которая почему-то застит свет. Думаешь: он же с Богом говорит, причем тут «жены», или их «воровство», или та «циркачка», к которой «страсть схватила», или та «Наденька», которая «пойдет гулять с другим». Или это все страсти-страхи «московского муравья»? Акакий Акакиевич в шинели рядового-необученного...

Очистительным шквалом приходит — фронт. Отрада — святая в этом аду.

**Мы идем на запад, Отрада,
И греха пред пулею нет.**

Какого греха? А если нет, зачем — о грехе? И если перед той девочкой «ни грана вины» — зачем о мнимой вине речь? Какую боль, какую жуть так в себе заговаривают? Поверху — гармония, песня. Вернее, всегда — «песенка» — ну, как бы пустяк: легко все, воздушно, аристократично. А понизу — смутное ощущение обрыва в бездну.

Ничего непонятного: Арбат, суэта дворов, все просто... Загадка фактуры любого текста у Булата — вот эта милая простота, незаметно и мягко погружающая тебя в странное инобытие. Городская обыденность, троллейбусы, прохожие. В случае невероятного форса — какая-нибудь ресторанная бравада. Ну, в пределах ленточки на бескозырке. А так — пыль повседневности.

Только пыль эта — с былинных шлемов.

Красками арбатской суеты живописуется — мистерия.

Этот сказочный, сказовый ритм — с первых строк. Он инобытие той простецкой жизни, которой живет этот мир, он ее тайное спасение.

**Живописцы, окуните ваши кисти
в суету дворов арбатских и в зарю,
чтобы были ваши кисти словно листья.
Словно листья,
словно листья к ноябрю.**

«К ноябрю» — тайно-праздничный знак времени, опознавательное клеймо меченых мальчиков Державы. Праздник плывет по серому асфальту. Мостовая качается, не может очнуться. Непонятно, как это все слито, как сращено в стихе: плывущая заревая легенда и суета. Они ж чужие, чужие! У них координаты не сходятся! Их судьба разведет!

Он и это чувствует, певец Арбата, на это и отвечает:

**Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы,
наше лето, нашу зиму и весну...
Ничего, что мы — чужие.
Вы рисуйте!
Я потом, что непонятно, объясню.**

Последняя строка и есть тот «мазок гения», который отсылает всю картину в запредельность. Последняя строка вдруг открывает тебе то, что все время смутно брезжит в картине.

Необъяснимо счастье обреченного поколения. Необъяснимо прекрасен этот страшный мир. Вам непонятно?

Так это и должно быть непонятно.

Нестроен, неясен, странен до призрачности у Булата привычный обыденный мир, а мир сказочный, напротив, строен и ясен до прозрачности. Условность задается с первой строки: «Мой конь притомился, стоптались мои башмаки». То есть: в некотором царстве, в некотором государстве... Все обернуто: река — не синяя, а красная, а гора — наоборот: синяя. Свет во тьме должен светить, а не светит.

**Фонарщик был должен зажечь,
да, наверное, спит...**

Что за фонарщик?! Это ж из другой оперы! Тут — небо, подпертое плечом богатыря. Какой фонарщик? Ах, да: чтобы краски нездешние смешались получше. Чтобы се-вер наложился на юг и запад на восток. Андерсен — на Реку-Гору. Потому что и то и другое равно невообразимо на Арбате.

Невообразимо — но как расчерчено! Сужаются круги, сходятся пути, с разных концов сбегаются в перспективе линии. Едет богатырь, света нет, дороги нет... все равно едет. Что ж, неужто и Цели нет?

— Ты что потерял, моя радость? —
кричу я ему.

И он отвечает:

— Ах, если б я знал это сам...

Вот оно, колдовство. Катарсис. Обрыв и очистительное незнание.

Любой пошлости: громогласной, тихой, государственной, домашней — неизменно мягкое «нет».

За всеми этими «нет» должно быть то, что «есть».

А оно неизречимо.

Неизречимо то, чего «нет».

**Пока Земля еще вертится,
пока еще ярок свет,
господи, дай же ты каждому,
чего у него нет...**

То, что весь этот мир — «пока», что сроки сочтены и свет недолог, — это из судьбы понятно, из судьбы поколения смертников.

Дальше — непонятное. *Мудрому дай голову* — так мудрый был без головы? *Трусливому дай коня* — но трусливому конь без надобности. *Дай счастливому денег* — но подлинно счастливому деньги счастья не добавят, а то еще и несчастным сделают. *Каину дай раскаянье...* — но кающийся Каин — не Каин. *Дай передышку щедрому...* — зачем? Перестать быть щедрым?

И наконец, высший оскюморон: *Дай рвущемуся к власти навластвовать властью*.

Нет, вы слышите, чего просит?! Да ведь этот, рвущийся,

властвовать будет над другими и за счет других — щедрых, мудрых, счастливых...

Счастливых?

Да вот в том-то и дело, что мелодия дрожит на острие и счастливец тайно, скрыто, сокровенно несчастен. Это звучит в обертонах, стучит в висках, но если так уж нужно определение, то в конце концов и оно предъявлено:

Как верит солдат убитый,
Что он проживает в раю...

Яснее не скажешь.

Нет, еще яснее, страшнее — не про то, как в 1963 году (когда «Молитва» написана) мы переживали очередную выходку власти (вроде выходки Н. Хрущева на Манеж к живописцам); это регулярное бесовство ничто перед тем, что чувствует человек, когда Всевышний возвращает ему его молитву, и становится смертельно ясно, что винить — некого.



«УБИТЬ ПРЕЗИДЕНТА!»

Америка на приеме у психиатра

Беседа главного редактора журнала «Время и мы»

Виктора Перельмана с доктором психиатрии Марком Голиным

В.П. Вначале давайте представим вас читателям: как давно вы работаете в психиатрии?

М.Г. Если в общей сложности, то 32 года, с 1965 года.

В.П. Больше половины жизни — в джунглях психиатрии! Вас никогда не охватывало разочарование от сложности ее задач, неясности путей, размытости критериев? Пессимизм от того, что так трудно в этой области чего-то достигнуть? Да является ли психиатрия, вообще, наукой? Такой вопрос себе не задавали? Может быть, все зависит от искусства психиатра, действующего в этих «джунглях» сообразно интуиции, и не более того? Не хотелось ли вам уйти в сферу более ясную, определенную, эффективную?

М.Г. Все это не совсем так. Вы правы, когда говорите, что искусство психиатра — это искусство. Но сегодня

очень многое в психиатрии поставлено на научную основу. Если и «джунгли», то не такие непроходимые, какими они были когда-то. Сейчас мы уже понимаем, что — откуда берется, что — чем вызывается, как — что лечится или, по крайней мере, как что должно лечиться — притом на уровне мозговых структур. Возможно, вы слышали о нервных передатчиках, о трансммиттерах и т.д. В общем, сейчас психиатрия — куда больше наука, нежели искусство, хотя большой элемент искусства все еще присутствует, особенно, когда психиатр ищет пути во внутренний мир человека, в его, если угодно, душевное подполье.

Искусство, наверное и умение создать особые, доверительные отношения, располагающие к открытости, к своеобразному «стриптизу души».

В.П. Давайте введем разговор в более конкретное русло. Америку иногда называют страной статистики. Все в этой стране статистически более или менее обработано. Мой вопрос о том, какова статистика психиатрических заболеваний? Эффективность лечения? Или мы имеем дело со столь размытой проблемой, что даже невозможно говорить о каких-то статистически достоверных данных?

М.Г. Со статистикой в психиатрии все в порядке и примечательно, что почти в любом уголке мира шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, дегенеративные болезни мозга, возникающие в старческом возрасте, — все это распространено более или менее одинаково. Различия начинаются тогда, когда заходит речь о так называемых «неврозах», во многом проистекающих из условий жизни данного общества, связанных с национально-культурными особенностями того или иного народа. Здесь статистические расхождения чрезвычайно. Если вы обратитесь к странам Африки, то процент шизофреников на душу населения там примерно такой же, как и в США. Зато невротиков в малоразвитых странах Азии и Африки — значительно меньше. И не только потому, что цивилизация порождает неврозы, а еще и потому, что в малоразвитых странах мамы не отдают детей в ясли или нянькам — ребенок за спиной у матери, даже если она работает в поле.

В.П. Но какой все же процент психиатрических заболеваний в Америке, сколько психически больных приходится на 270 миллионов граждан Соединенных Штатов?

М.Г. Принято считать, что каждый четвертый американец имеет то или иное психическое заболевание. Думаю, что эта цифра явно занижена! Вы, наверное, видели сколько их «статистически незарегистрированных» бродят по улицам Нью-Йорка. Интереснее, наверно, говорить не о психических отклонениях вообще, а о тех, которые так или иначе проистекают из условий жизни общества. Пример: склонность к культам. Или синдром Мюнхгаузена. Или уже совсем американский синдром — тяга к убийству президентов. Это не шизофрения, нет, и не обычная депрессия, это нечто такое, что появилось сравнительно недавно.

В.П. Расскажите подробнее. Ну, вот синдром Мюнхгаузена. Что это такое?

М.Г. Синдром Мюнхгаузена (помните барона-вралю?) как раз известен довольно давно. Это — когда человек симулирует болезнь без всякой корысти, с единственной целью — играть роль больного. Он ходит по врачам, бесконечно лечится, сознательно и произвольно продуцируя симптомы различных заболеваний. Это больные с определенной формой истерии, имитирующие симптомы настолько убедительно, что обманутые ими врачи кладут их на операции по 15—20 раз в течение жизни. Но что примечательно? В последнее время этот синдром как бы получил дальнейшее развитие. В классическом синдроме Мюнхгаузена человек продуцирует симптомы сам на себе и сам же за это «платит цену». Но вот некоторое время назад врачи заметили новую разновидность — «Munchausen syndrom by proxy» — это когда симптомы производятся на ком-то другом, когда, скажем, мать искусственно вызывает «симптомы болезни» у ребенка, а затем бежит к врачам спасать его. По американскому телевидению показывали видеозапись скрытой камерой, как мать «придушила» своего ребенка и тотчас же побежала к врачам, умоляя спасти ее дитя. Никаких данных, что этот синдром обусловлен генетически — нет. Как, впрочем, нет свидетельств

и того, что он распространен за пределами Америки. Почему так — трудно сказать. Возможно, тут вера американцев в их первоклассную медицину, но, как мне кажется, есть и совсем другая причина, кстати, довольно необычная. Как известно, один из самых мощных инстинктов — это инстинкт самосохранения и материнский инстинкт. Чаще всего материнский даже превалирует. В синдроме «Munchausen by proxy», похоже, все наоборот. Может быть, это проистекает из нарастающей разобщенности детей и родителей? И тенденция психологов, а с ними и общественного мнения, обвинять во всех грехах и преступлениях родителей отнюдь не способствует сплочению семьи. Трудно поверить, что сексуальная эксплуатация детей родителями — это широко встречающееся явление. Думаю, что здесь много ложных воспоминаний и интерпретаций. А вся шумиха вокруг этого вносит свою «лепту» в разобщенность и недоверие в семье.

В.П. А что вы скажете о тяге к культам или, как вы упомянули тяге к убийству президентов? Вероятно, существуют и другие близкие им синдромы. Откуда они? Их происхождение?

М.Г. Начнем с одной особенности американской культуры (да и американской жизни вообще), которая в силу крайнего индивидуализма приводит многих людей к чрезвычайной изоляции и одиночеству. Ни в одной стране мира я не видел столько людей и супружеских пар, не имевших совершенно друзей, не связанных ни с обществом, ни с соседями: старинный английский девиз: «Мой дом — моя крепость» принимает здесь какой-то уродливый характер. А это в свою очередь порождает одиночество, депрессии, а иногда принимает причудливые формы, что-то похожее на еще один, хотя и редкий синдром «La Folie a Deux» (страх на двоих или бред на двоих). Это когда один из супругов или партнеров развивает некую бредовую «идею», а другой, обычно не имеющий никаких психических отклонений, начинает в эту «идею» верить, «заражаясь» этим страхом или бредом. Естественно, при наличии друзей и родных эти «идеи» подвергаются критике и коррекции. Но в условиях, о которых мы говорим,

разделенные подозрения цветут пышным цветом. Один из моих пациентов, работающих в компании «Белл Атлантик», убежден, что на работе от него хотят избавиться, следят за каждым шагом и делают «всякие пакости». Он и жена живут очень изолированно (жена его Линда за все 54 года ни разу не была в Нью-Йорке, хотя они живут в получасе езды от города). Линда стала замечать «странные машины», запаркованные рядом с их домом, поведение соседей казалось ей подозрительным, и она твердо уверовала в правоту мужа. Перед нами как бы общий «супружеский бред».

В.П. А что же синдром убийства президента? Как вы объясняете его? И почему именно в этой стране? С ее демократией, конституцией, законопослушанием?

М.Г. Вы не ошиблись: именно в Америке. И что интересно — в последние десятилетия этот синдром стал проявляться в странах, которые оказались под американским влиянием. Вспомните убийство Садата после сближения его с Америкой, или скажем, убийство Рабина — в Израиле, полностью ориентированном на Америку. В остальных странах это было всегда чрезвычайно редким явлением. То есть, убийства, обезглавливание монархов случались в истории, но, как мы знаем, это происходило по определенным политическим мотивам. Здесь другое: изолированный, с больной психикой человек оказывается одержимым манией убить президента. Типичный пример — покушение на Рейгана, когда какой-то маньяк — мальчишка пытался убить президента, движимый чувством неразделенной любви. В двух словах этого даже не объяснишь. Наблюдения каких-то явлений, накапливаемых психиатрией, часто обгоняют их научно-достоверные объяснения. Поэтому часто приходится довольствоваться догадками, психологическими гипотезами. Но с другой стороны упомянутый синдром — еще одно свидетельство того, что психиатрия все более становится наукой социальной. Без нее все труднее понять происходящее в обществе. Но откуда все-таки синдром убийства президента? Думаю, от чисто американского, чрезвычайно неуважительного отношения к главе государства. Взгляни-

те, как средства массовой информации копаются в грязном белье Клинтона. По телевидению вам нетрудно увидеть человека, который придет в Белый Дом и, задрав ноги на стол, будет эдак амикошонски похлопывать президента по плечу. Де такова наша демократия, когда президент в ней «свой в доску парень» — вот ведь какая славная философия! Кстати о президенте. Мне кажется неправильным разрешение Верховного суда предъявлять президенту гражданский иск. Президент должен иметь иммунитет на срок президентства. Думаю, что у него есть более важные дела, чем, скажем, отбиваться от обвинений в сексуальных эскападах. А может быть — от неуважения к родителям к неуважению к учителям, к боссам, к авторитетам вообще, к президенту, — так почему бы не убить президента? Мне кажется, что особо четко эта цепочка прослеживается в биографии Освальда, убившего президента Кеннеди. Многочисленные версии — от комиссии Уоррена, до политических интриг, до мафии, до Мэрилин Монро, так и не нашли убедительного подтверждения. Мной была сделана попытка исследовать биографию Освальда с точки зрения психиатра, которая подвела меня к вопросу, не дающему мне покоя и по сей день: «А что, если не было, вообще, никакого заговора, и Освальд явился просто жертвой болезни, одним из проявлений которой был «синдром убийства президента?»

В.П. А у меня знаете, какая мысль? Нет ли тут некоего комплекса маленького человека, буруеваемого страстями, но прозябающего где-то в своей субурбии, никому не нужного, всеми забытого в обществе, где столько блеска, где главное — это успех, а президент — это вершина успеха, пик успеха, не достижимого для нашего несостоявшегося героя, жаждущего славы и объятый чувством зависти к купающемуся в лучах славы президенту. Как ему заявить о себе? Пустив в президента пулю, он прокричит о себе на весь мир, о нем затрубят средства массовой информации, телевидение, хоть и факир на час, а все же герой и звезда общества.

М.Г. Вы правы, есть и такой феномен. Продолжая разговор о «новых» психических синдромах — вот вам ауто-

эротическая асфиксия — люди душат себя, для того, чтобы пережить яркий оргазм, возникающий за несколько минут до смерти. Еще примерно 20 лет назад стали находить повешенными мужчин, одетых в женское белье с явной эротической целью. В сегодняшней Америке аутоэротическая асфиксия встречается в пять-шесть раз чаще, особенно у подростков. (Помните фильм «Flatliners»?) И конечно же, нельзя не упомянуть о культах — в лучшем случае разрушающих личность, а в худшем — приводящих к массовым трагедиям. Две тысячи погибших со Смитом в Гвиане, около двадцати сгоревших с Давидом Корешем в Яко, 30 человек покончили с собой в Калифорнии, веря лидеру культа и разочаровавшись в жизни на Земле. У людей, посвятивших себя культам и сектам, определенно комплекс неполноценности, некий внутренний конфликт, который они сами разрешить не в состоянии. Исторически, культы всегда были воплощением желания разрешить социальные, экономические или духовные проблемы, разрушающие общество. Вспомните Америку 60-х годов. Мне особенно обидно за Бобби Фишера, лучшего шахматиста в истории человечества, который отдал всего себя культу, повелевающему атомный апокалипсис.

В.П. Все это, безусловно, интересно. Но было бы еще интереснее, если бы читатели смогли все это «прочувствовать в живом мясе жизни», скажем так, да вот хоть на примере вашей деятельности как психиатра. Вы приводили синдромы? Но как вы на них реагируете как психиатр и имеете ли вы с ними дело вообще?

М.Г. Хорошо, постараюсь быть более конкретным. Не далее, как на приеме в прошлую пятницу, я как раз столкнулся с «Синдромом Мюнхгаузена бай пракси». Собственно, это довольно старая история, со времен, когда впервые в моем кабинете появилась тогда совсем еще молодая медсестра-итальянка с восьмилетней дочерью. Жили они в Нью-Джерси. Отец девочки, какой-то крупный мафиози, с семьей расстался, но деньги на воспитание дочери давал. Было это лет семь назад, девочка выросла, была необыкновенно красива, но вечно мучилась какими-то странными болями в кишечнике, поносами, постоянны-

ми простудами. Чего только врачи не находили и не предполагали у этой девочки, пока кто-то в семье не заметил, что мать годами «давала ей какие-то таблетки», которые, как выяснилось, продуцировали многие из симптомов. Девочку даже оперировали дважды по поводу «острого живота», но ничего не нашли. Вот вам и «Munchausen by proxy».

В.П. Если уж вы заговорили о пациентах, давайте продолжим. Итак, любой из ваших пациентов — продукт общественных проблем. Каких именно? Что это — чаще всего депрессии? Отчего, вообще, вокруг столько депрессий? Раз начали с пятницы, когда к вам заявилась эта итальянка, давайте об этой пятнице и поговорим. Расскажите, кто еще был в этот день, случай за случаем.

М.Г. Первой в это утро пришла «новая русская». Муж у нее крупный миллионер, живет в Москве, чем он там занимается, один бог ведает. А она, стало быть, живет в Нью-Джерси, с двумя детьми, в большом доме, в роскоши, с приставленными к ней двумя телохранителями, живет как в золотой клетке. И вот она, к слову сказать, весьма красивая женщина, рассказывает о том, как ей здесь одиноко, по-английски она практически не говорит, плохо спит, мучают кошмары, боится, что рано или поздно мужа убьют, и она останется с детьми одна. Кстати, ни телохранители, ни «золотая клетка» не помешали ей пережить роман, но «мимолетная любовь» облегчения не принесла. Как я ее лечу? В основном — это поддерживающая терапия. Стараюсь помочь ей стать сильнее, увереннее в себе, научить ее справляться с обстоятельствами, — словом подставляю «плечо», на которое она может опереться. Собственно, в терапии — и заключается искусство психиатра.

Сейчас много пишут о росте пожилого населения в Америке (средняя продолжительность жизни женщин — 81 год) — и вот неожиданный поворот: следующая пациентка — женщина 76 лет, которая, овдовев, встретила другого человека — ему 82 года. У них большая любовь, они хотели бы вступить в брак, но дети с обеих сторон противодействуют этому, не желая потерять наследство.

Отсюда растущее у обоих чувство греховности, одиночества: ни друзей, ни общества, они чувствуют себя изгоями, она даже пыталась покончить жизнь самоубийством. Следующий. Его зовут Ирвинг — он хороший адвокат, которого «изнасиловал» банк. Именно так! Банк, который держал закладные на большинство его домов, участков и офисов и т.д., уговорил его взять ссуду в два миллиона долларов и купить здание у компании, которая задолжала банку те же два миллиона, с обязательством, что компания будет арендовать у Ирвинга это здание. Через месяц после сделки компания закрылась, Ирвинг остался с двухмиллионным долгом и, когда он отказался платить по «обманному займу», банк потребовал к оплате все закладные, — короче, наш адвокат, который был богатым человеком, лишился всего, в результате — тяжелая депрессия. Еще один случай социальной разобщенности людей, когда, по словам того же Ирвинга, «каждый должен ожидать удар в спину».

В.П. Но, в принципе, это же все здоровые люди, хоть и с некоторыми отклонениями. Что же среди ваших пациентов нет ни одного шизофреника?

М.Г. Может быть, один или два за всю мою практику. Шизофреники идут в особые клиники, особые госпитали. К нам же приходят люди, у которых какие-то проблемы, или симптомы, мешающие нормальной жизни. Они могут идти и к психологу, но психиатр просто шире смотрит на вещи. Кстати, день, о котором мы говорим, оказался удивительно концентрированным, словно специально для нашего интервью. В ту же пятницу ко мне пришла больная, которую мучила жуткая, необъяснимая тревога, хотя объективно для тревоги не было никаких оснований. Когда мы провели медицинское обследование, то оказалось, что у нее редкая опухоль надпочечника, которая и вызывала ощущение тревоги. Такой пациентке психиатр не поможет.

И, наконец, о группе по-настоящему гениальных людей, которым нелегко найти свое место в жизни. Один — очаровательный молодой человек из Тбилиси, в четырехлетнем возрасте самостоятельно разобрал, а затем со-

брал трехколесный велосипед. Теперь он координирует системы, управляющие всей индустрией развлечений в Америке. Он пытается всем понравиться, всем помочь, оставаясь на периферии отношений — не понятый и одинокий. Или вот 26-летний гений — Джордж, который женился шесть месяцев назад, и жене его кажется, что у него серьезные отклонения: он непрестанно говорит о насилиях, об убийствах, держит дома две большие змеи и огромную игуану, которая живет в ванной и очень агрессивна. Он часто высказывает странные идеи, пугающие жену. Вот, например, одна: Пентагон заслал в прошлое машину «GOD» (guidance and obedience device — машину руководства и подчинения). Эта машина, по-русски «БОГ», вышла из подчинения и перепрограммировалась в Иисуса Христа, таким образом изменив ход мировой истории. Джордж работает простым программистом-компьютерщиком, и это ему безумно скучно и неинтересно.

Когда мы начинаем беседовать наедине, между нами возникает очень теплый контакт, которого от такой личности вряд ли можно было ожидать: передо мной сидел вполне милый молодой человек. Когда он постепенно открылся, оказалось, что он делает на компьютере такие разработки, к которым еще никто и никогда не приближался. Он работает над созданием так называемой «вирчуал-реальности», то есть такой версии реальности, которая не существуя в жизни, создается компьютером. Образцы этой реальности он боится кому-то показать, потому что уверен, что его не поймут. Вот так получилось, что озлобленный и никем в мире не понимаемый он жил как «вирдо» (то есть оторванный от жизни странный, божий человек). Близкий к гениальности, он, насилуя самого себя, старается быть таким же, как все. И в своем стремлении к конформизму начинает вести себя совершенно неадекватно, более всего боясь оказаться самим собой. Проблема сводилась к тому, как ему все-таки принять идею, что он не такой, как все окружающие, а другой, совершенно особая индивидуальность — на это и была направлена работа психиатра.

В.П. Слушаю я вас и знаете, какие приходят соображения? О новом совершенно облике сегодняшней психиатрии. Точнее о безгранично расширившемся после ее применения, сближении с разными областями обществоведения. Собственно, у них один и тот же предмет — общество с его нарастающими проблемами. Только психиатрия действует как бы на клеточном уровне, зондирует общество через поведение и психику человека.

М.Г. С этим можно согласиться, но с одной поправкой. Нельзя сбрасывать со счетов, что психиатрия всегда так или иначе детерминирована национально-культурной спецификой того или иного народа. Типичное для Америки может вовсе не наблюдаться в Европе или в Африке, или в Китае: разные страны, разная психология, непохожие одно на другое культурные восприятия. То, что Томас Кун называет парадигмой, относится и к социальным меркам — что нормально и что ненормально, какое поведение считается приличным, какое неприличным в обществе. Скажем, если по-итальянски экспансивно стиснуть в объятиях и трижды расцеловать сдержанного англичанина — ему это вряд ли понравится. Согласимся и с тем, что выпитый ящик «Московской» на детском дне рождения может случиться не в каждой стране. В Китае довольно необычное заболевание, которое называется «Коро», по-китайски «Шукянг». Что это за болезнь? Откуда она? Оказывается, «Коро» является результатом определенных национально-культурных взглядов и обычаев, распространенных, в частности, в южном Китае и более всего в Сингапуре. Таоизм учит: «Десять зерен риса рожают одну каплю крови». «Десять капель крови рождает одну каплю спермы». Отсюда в Южно-китайской культуре расхождение спермы — процесс крайне нежелательный. И люди, у которых обостренное чувство вины (или из-за того, что они мастурбируют или из-за внебрачных связей или из-за слишком интенсивной половой жизни) — так вот, у этих людей появляется безумный страх, что их накажет Бог и детородящий орган у них «втянется» обратно в живот. Дошло до того, что сконструировали специальное приспособление, препятствующее половому органу «лезть

обратно». Но что все это значит? Стремление сохранить нацию? Варварское суеверие, превратившееся в национальный обычай? Массовая истерия? Пусть пример этот экзотичен, но он же и красноречив, показывая, насколько тесно переплетаются национально-культурные взгляды народа с рождаемыми в его среде психическими отклонениями. Есть определенные синдромы, свойственные Малайе, народам Южной Африки, аборигенам Австралии и т.д.

В.П. И все они, независимо от страны их возникновения, общественного происхождения? И никак не связаны с генетикой, о которой сегодня так много говорят?

М.Г. Нет, к генетике все это не имеет никакого отношения.

В.П. А что же, вообще, наследственность при возникновении психических заболеваний? По словам одного из психиатров последняя настолько важна, что накладывает отпечаток на все наше мировоззрение. Сегодня кажется уже невозможно, вслед за просветителями, бездумно повторять, что все люди рождаются равными. Какое уж тут равенство, когда они так часто обременены столь неприятными генетическими «кодами». Давайте называть вещи своими именами, — говорит психиатр, — люди ведь уже рождаются психопатами, алкоголиками, насильниками. Вот какая милая картинка! И как тут свести концы с концами?

М.Г. Я бы не стал драматизировать эту проблему. Каждый из нас имеет определенную наследственность, все так. Но еще очень многое зависит и от того, как реализуется этот генетический код и будет ли он реализован вообще, вот тут и вступает в игру влияние общества.

В.П. Это вы о болезнях, а что же синдромы, не зависящие от генетики, а сами порождаемые обществом? Насколько перспективно лечить этих людей, переубеждать, возвращать к нормальной жизни?

М.Г. Каждого индивидуального человека, который приходит к психиатру, можно излечить и переубедить, об этом разговора нет. Но мы же говорим о синдромах как о явлении, можно ли искоренить их? Вот тут и нужно подхо-

доть с социальными мерками. Психиатрия выступает в совершенно новой, общественной ипостаси, о чем мы, собственно, и ведем разговор. Тема эта безгранично широка, и в ее контексте я бы хотел заметить, что еще одна функция психиатрии — это «декондиционирование» — т.е. противодействие против «брэйнвошинга», промывки мозгов. Ведь в культах, в организациях, в пропаганде, в разных философиях присутствует мощное воздействие и не каждому удастся его нейтрализовать. Самая эффективная система «де-брэйнвошинг» оказалась по карману только сказочно богатому Пентагону. Вы обратили внимание на то, что заложники, вернувшиеся из Ирана или Ливана, прежде чем вернуться к нормальной жизни в США, были отправлены в Германию, на американскую военную базу, где как раз и осуществлялся упомянутый «де-брэйнвошинг». Некоторые из заложников заявляли, что они за иранскую революцию, за политику Аятолы, летчики, вернувшиеся из Вьетнама, говорили, что они за свободный Вьетнам. Многие из переживших Холокост утверждали, что немцы в принципе были очень хорошими — во всем виноваты латыши и украинцы. Это очень интересный синдром, который идет от универсальных механизмов, закладывающихся в голове ребенка с детства, когда мальчик воспринимает отца как агрессора, которому необходимо подчиниться. Это особый механизм приспособления человека к силе, которую он не способен преодолеть. Есть такое английское выражение «Если ты не в силах победить их, стань одним из них». Таким образом и возникает желание ассимилироваться. Все мы хотели ассимилироваться в советском обществе, слиться с чрезвычайно мощным коммунистическим режимом, которому, как мы знаем, служило очень много порядочных людей.

В.П. Между прочим, то же мы видим и в Америке: отчетливый конформизм большинства граждан, стремящихся слиться с системой, следовать ее стандартам, мыслить принятыми категориями. Мы не разбираем, хороши или дурны эти стандарты (возможно, лучших в мире не существует), но американцы следуют им не потому, что

они лучшие, а потому что за ними сила, хотя вслух об этом и не принято говорить. Конформисты никогда не говорят о силе. Они говорят о верности морали, своему народу и Родине. Человек — существо довольно лицемерное. И я лично затрудняюсь даже, как это назвать. Политики предпочитают говорить о консенсусе, о чем угодно, но только не о страхе перед силой.

М.Г. Тут я с вами не согласен. Конформизм — это немножко другое, конформизм — это когда мы начинаем думать так и верить в то, как думает и во что верит группа. Группа на нас давит, и мы начинаем верить. В Америке этого нет. Америка — очень пуританская страна, верующая в Бога, законопослушная, но конформизм в Америке не очень велик. Здесь каждый делает то, что хочет, думает, что хочет, живет, как ему хочется.

В.П. Это ему кажется, что он живет, как ему хочется. На самом деле он, сам того не замечая, живет сообразно стандартам этого общества, часто автоматически. Я думаю, что нормальный американец даже не представляет себе, как можно жить и думать иначе, например, бунтовать против этих стандартов, для него — это просто нонсенс, психическое отклонение. Именно в силу его конформизма, в таком обществе тяжело что-то менять, и протесты принимают самые уродливые и варварские формы — террор, культы, да вот та же Оклахома. Вы задумывались, отчего все это произошло в Оклахоме?

М.Г. Отчего?

В.П. Вы думаете, Оклахома свидетельствует о силе политической системы? Это же протест: ужасный, варварский (и смертная казнь достойное за него наказание) — но если вдуматься, произошло-то все от бессилия изменить дела легальными путями. Если бы была настоящая, неконформистская оппозиция, не было бы Оклахомы. У меня есть подозрение, что многие граждане страны внутренне глубоко переживают происходящее, но именно конформизм и сделал их социально инфантильными. Оттого-то в их среде и появляются протестанты, которые в терроре начинают видеть единственный путь к переменам. А какое, интересно, вы, как психиатр, видите объяс-

нение Оклахоме и поступку этого злосчастного Маквейга? Кстати, он был никакой не злодей, а совершенно добропорядочный молодой американец, что, кстати, и поставило в вопрос присяжных.

М.Г. Я лично вижу совершенно другое объяснение случившемуся. За спиной этого парня стояла организация — «милиция», которая открыто проповедовала ненависть, призывала к террору. Прежде всего они были движимы расовой ненавистью. И вот этот мальчишка, невежественный и неумный, взял на себя миссию исполнителя воли своей организации. Ненависть — сила, чрезвычайно опасная и деструктивная. У меня был больной, он настолько ненавидел черных, что совершенно серьезно обсуждал варианты, чтобы внести в реку, в Гарлем специальные составы, которые стали бы источниками распространения так называемой «Серповидной анемии» — болезни, которой подвержены только черные.

В.П. И вы думаете это сравнимо с Оклахомой? Ведь Маквейг взрывал здание, в котором находились далеко не одни черные.

М.Г. Но главным образом черные. К тому же «милиция», которая толкнула его на этот дикий поступок, была против системы вэлфера, против пособий и т.д. А он был их слепым орудием. Камикадзе — вот кто он был.

В.П. Кажется мы незаметно углубились в тему «Психиатрия и политика». Раньше об этом писали применительно к СССР, принудительно лечение и прочее...

М.Г. Но если говорить о конформизме, то как раз и следует вспомнить советское общество. Советский конформизм и породил использование психиатрии в политических целях. Ну, разве мог нормальный человек выступать против социалистической системы, пользующейся всенародной поддержкой? Печально знаменитый академик Снежневский ввел для диссидентов даже специальный термин «вялотекущая шизофрения». Никаких симптомов заболевания у них не было. Люди просто не укладывались в рамки и поэтому признавались больными. Кстати, шизофреником в свое время был объявлен и прогремевший сейчас на весь мир Илья Рипс, автор так называ-

емого «Байбл кода», сенсационная книга о котором миллионными тиражами расходится по миру. Я знал его лично и впервые столкнулся с ним в Риге. Был он известен тем, что в 68 году, когда советские войска вошли в Чехословакию, облил себя в знак протеста керосином у памятника Свободы и хотел себя сжечь. С детских лет это был необычный и очень талантливый еврейский мальчик, увлекался математикой, выделялся среди своего окружения. И вот, когда огонь на нем потушили, его сразу же повезли в психиатричку и тут же приклеили диагноз «вялотекущая шизофрения». В больнице он пробыл месяцев четыре-пять, и вскоре семья его уехала в Израиль. Что было с ним дальше, мне трудно сказать. Судя по книжке, о которой сейчас только и говорят, он ассоциировался с профессором одного из израильских университетов. Конечно, Илья — странен, странным он был и в те годы, когда я его знал, но совершенно ясно, что в Америке, при всех его странностях, он никогда бы диагноза шизофрении не получил. В лучшем случае, можно было сказать, что это шизоидная личность, то есть определенная персонификация: есть истерические личности, есть подозрительные, есть параноидные, но к заболеванию все это никакого отношения не имеет. Или еще один, даже более яркий пример. Рижский мальчик — очень мягкий и деликатный, писавший, кстати, великолепные стихи. Вся его беда состояла в том, что он обожал наряжаться в форму царского поручика, которая была довольно близка форме российского офицера уже наших лет. Он расхаживал в этой форме по центральной улице Ленина и, кому полагается, отдавал честь. Многие военные, не разобравшись что к чему, салютовали ему в ответ, пока не произошел довольно смешной казус: какой-то заслуженный полковник, вся грудь в орденах, отдал честь бывшему царскому поручику. Раздули эту историю до небес и раз за разом стали помещать этого несчастного мальчишку в психиатричку. В Америке, я думаю, психиатр даже не подумал бы приблизиться к нему.

В.П. Я хотел бы вернуться к началу, когда вы говорили о том, что в Америке каждый четвертый имеет психи-

ческую проблему и приводили перечень так называемых синдромов, вплотную подойдя к проблемам социальным. Ну а кто-то в верхах пытался сделать выводы, повлиять на создавшуюся в обществе ситуацию? Хоть как-то откорректировать ее?

М.Г. Ужас в том, что ситуация эта пока никак не корректируется. Говорят, правда, много. Ближе других подошел к этому Буш. Он хотел реформировать систему правосудия, особенно так называемый «малпрактис», т.е. когда профессионалов (например, врачей) судят за халатное или непрофессиональное отношение к клиентам. Он хотел оставить подсудными только случаи чрезвычайной небрежности или злого умысла. Кстати, врач-гинеколог (а их бедных судят чаще всего) платит из своего кармана до \$100000 в год за страховку. Как вы думаете, кто в результате оплачивает этот счет? Правильно — наши жены и дочери, идущие к врачу. Вот вам и путь сокращения медицинских расходов. Но избрали Клинтона, и к этим проблемам уже не возвращались. Если вспомнить то, о чем мы говорили: одиночество, разобщенность, взаимное недоверие, то следует отметить, что на американскую жизнь страшное влияние оказывают адвокаты. Америка совершенно уникальная страна в этом смысле. В этой стране каждый может судить каждого. В Англии тоже может, но там, если вы меня судите и проиграла, то это вам даром не пройдет — вы платите огромные судебные издержки, вас наказывают на большие суммы. Уж если вы судите, выдолжны быть убеждены в своей правоте. Что же в результате получилось в США? Вопрос далеко не прост. Мы знаем, что многие юристы уходят в политику. Собственно, большинство конгрессменов — юристы, усилиями которых соответствующий дух проникает во все поры страны. Отсюда и возникает одна из очень опасных болезней общества. Поскольку каждый может судить каждого, получается таким образом, что иногда люди считают более целесообразным заплатить, чем проходить через прокрустово ложе судов и тяжб. Становится более выгодным беспринципно договориться, чем искать истину. В жертву приносятся сами идеалы общества, о которых так пеклись

его отцы-основатели. А страх от этих порядков (когда без адвоката вы не можете ступить ни шагу), только нарастает. У меня есть множество примеров, когда близкие друзья судили друг друга, становясь смертельными врагами. Друг пришел к другу, скажем, на шашлык и подскользнулся у него на драйвэе. И вот он начинает судить хозяина, находя оправдание в том, что де не ты же будешь платить, а страховая компания, что тебе жалко их денег? Недавно хотели судить Косби. На каком основании? Какая-то девочка захотела ни за что ни про что получить от него 40 миллионов. Мама ей рассказала, что она много лет назад переспала с Косби. И вот теперь девочка решила доказать миру, что ее папа — Косби. Только в Америке такое возможно. К чему это ведет? Понятно к чему: соседи боятся соседей. Врачи боятся своих пациентов. Пациенты ждут ошибку врача. Офицеры боятся солдаток (sexual harassment!). Журналисты — боятся разоблачать пороки. И вся страна становится постепенно сутяжной. Психически нездоровым делается само общество. И все это между прочим довольно странно. С одной стороны, Америка — это страна, в которой мы видим повсюду благотворительность. То есть люди — очень добрые, отзывчивые на чужую беду, а с другой стороны, вот эта всеобщая, охватившая страну паранойя. Так вот, Буш хотел устранить, ограничить этот разгул сутяжничества. Но это ничем не кончилось.

В.П. А вы не задумывались, откуда вся эта паранойя? В стране, основатели которой выработали самую прекрасную в мире конституцию, где столько сил было отдано борьбе за идеалы свободы?

М.Г. Я думаю, что Америка страдает от перепроизводства адвокатов и вообще юристов, вот и все!

В.П. Боже, опять адвокаты! Не припомнили бы они вам все эти инвективы? Но если серьезно, то юристы — это ведь только верхушка айсберга, только следствие, а не причина. Причина-то в чем?

М.Г. Вы спрашиваете, почему переизбыток юристов? Да потому, что система такая!

В.П. А почему система такая?

М. Г. А такая она потому, что отцы-основатели, создавая когда-то, в 18 веке, новое правосудие, никак не могли предвидеть, что страна придет к тому, что человек будет судить другого человека ради наживы.

В.П. То есть произошла какая-то трансформация общества, которая и привела к таким печальным результатам. Вы, может быть, слышали, что знаменитый миллиардер Джон Сорос недавно выступил со статьей, где заявил, что сегодня все опасности идут не от коммунизма, который повергнут, а от капитализма и свободно-рыночного хозяйства.

М.Г. Нет, здесь мы с вами немножко расходимся. Вы пытаетесь сказать, что в американском обществе произошли какие-то структурные сдвиги и на все существуют глубокие причины. А я думаю, что все эти проблемы были вызваны чисто административно, искусственно и убираться они должны точно таким же административным путем.

УТВЕРДИТЬ ЖУРНАЛИСТА И ПОЭТА ВЛАДИМИРА ДОБИНА РУКОВОДИТЕЛЕМ ИЗРАИЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ» И ВВЕСТИ В СОСТАВ РЕДКОЛЛЕГИИ.

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД

СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ,

ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ. ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГАБЕКОВА, АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.

КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА. РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ. И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД - ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ - ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.

КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА

Цена книги -15 долларов.

Заказы и чеки высылать по адресу:

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel.: (201) 592-6155**



ИЗ ПРОШЛОГО
И НАСТОЯЩЕГО

Джозеф МИТЧЕЛЛ

СЕКРЕТ ДЖО ГУЛЬДА*

Перевод с английского Лии Левиной-Бродской

«Секрет Джо Гульда» Джозефа Митчелла (1908—1996) — биографическая повесть о жизни нью-йоркского бродяги, принадлежавшего литературной богеме Гринич** Вилиджа. Все персонажи этой хроники — реальные люди, составлявшие литературную и интеллектуальную среду Гринич Вилиджа в течение нескольких десятилетий. В их числе люди, так или иначе вовлеченные в жизнь Гульда, начиная от когда-то очень популярных, но теперь забытых писателей и кончая самыми блестящими именами американской литературы. В повести раскрываются многие аспекты жизни обитателей Гринич Вилиджа — их интеллектуальные и политические увлечения, описываются поэтические группировки, богемный быт этого района.

В первые десятилетия нашего века это был район недорогих квартир. Его обитателями были писатели и поэты, еще не добившиеся успеха или, напротив, уже отчаявшиеся в своих надеждах. К середине века Гринич Вилидж становится тем, чем

* Журнальный вариант.

** Транскрипция дается в соответствии с английским произношением, принятом в русских переводах. Американское произношение — Грэнчич.

СЕКРЕТ ДЖО ГУЛЬДА

181

он является сейчас — сердцем литературной и художественной жизни Америки.

Джо Гульд, бездомный интеллектуал, каких и сейчас иногда встречаешь на улицах Гринич Вилиджа, опубликовавший однажды в знаменитом журнале «Дайл», издаваемом поэтессой Марианн Мур, несколько не связанных друг с другом эссе, произвел столь сильное впечатление на начинающего тогда писателя Уильяма Сарояна, что тот считал Джо Гульда своим учителем и через 12 лет, приехав в Нью-Йорк, разыскал его. Знакомство окончилось печально, т.к. швейцар в доме на Парк-авеню вытолкнул на улицу Джо Гульда, пришедшего просить у «своего ученика» денег на вставную челюсть.

«Секрет Джо Гульда», написанный Джозефом Митчеллом для биографического раздела «Профили» в журнале «Нью-Йоркер», стал классическим произведением американской литературы. Его последнее прижизненное издание вышло в 1996-м году в серии «Современная Библиотека».

Джозеф Митчелл писал биографические очерки о реальных людях. Со временем он пришел к заключению, что наибольший интерес в нем вызывали и наибольшее удовольствие он получал, интервьюируя людей необычных. «Среди них, — написал он однажды, — были провидцы, одержимые, самозванцы, фанатики, потерянные души, уличные проповедники конца мира, старые цыганские короли и королевы и самого невероятного свойства уродцы из ярмарочных балаганов». Качество, присущее им и помогающее им выжить, которое более всего привлекало Д. Митчелла — это их «черный юмор». Таким юмором обладал Джо Гульд.

24-го мая 1997-го года исполнился год со дня смерти Джозефа Митчелла. Митчелл успел узнать о готовящемся переводе его произведения на русский язык. «О, мой Бог!» — сказал он счастливым голосом. Перечисляя любимые им русские романы, он спросил: «А как звали того человека, который отказался от всякой деятельности? Ах, да, Обломов!»

Лия Левина-Бродская

Джо Гульд — эксцентричный маленький человечек, непригодный ни к какой работе и без копейки в кармане, приехал в Нью-Йорк в 1916-м году и с тех пор лавировал, увиливал и ловчил изо всех сил более тридцати пяти лет. Он принадлежал к одной из самых старинных семей Новой Англии. Родился и вырос в маленьком городке, недалеко от Бостона, в котором его отец был уважаемым граждани-

ном, окончил Гарвард, как до него его отец и дед, но утверждал, что пока не приехал в Нью-Йорк, везде чувствовал себя не на месте.

«В моем родном городе, — написал он однажды, — я никогда не чувствовал себя дома. В Нью-Йорке, особенно в Гринич Вилидже, среди безумцев, и неудачников, и чахоточных, и бывших когда-то кем-то, и тех, кто мог бы быть кем-то, и тех, кто еще будет кем-то, и тех, кто никогда и никем не будет, и бог знает среди кого еще, я всегда чувствовал себя дома».

Гульд выглядел бомжем и жил, как бомж. Он носил чужие обноски и спал в ночлежках или в дешевых номерах самых дешевых гостиниц. Временами он спал в парадных. Большую часть времени он околачивался в маленьких ресторанчиках, кафетериях и барах Гринич Вилиджа, или бродил по улицам, или выискивал друзей и знакомых по всему городу, или же сидел в городских библиотеках, царапая что-то в школьных тетрадях, купленных в магазинах, где все по гривеннику. Как правило, он носил одежду, не снимая, пока кто-нибудь не давал ему новую, и тогда старую он выбрасывал. Он редко стригся («На каждую вторую Пасху», — говорил он), да и то в школе для парикмахеров на Бауэри-стрит*. Он страдал хроническим инфекционным конъюнктивитом, в просторечье «розовым глазом». У него был на редкость гнусавый голос. Временами он воровал. Обычно он воровал книги из книжных магазинов и продавал их в букинистические лавки, но если ему действительно приспичивало, он воровал у друзей. (В одну особенно холодную ночь он постучал в дверь студии одного скульптора, который был почти так же беден, как и он сам, и скульптор разрешил ему провести ночь на полу студии, завернувшись, как мумия, в газеты и холсты для скульптур; на следующее утро он встал рано, взял несколько инструментов скульптора и отнес их в заклад.)

Ко всему этому он был сумасбродный, нахальный, любопытный, сплетничающий, издевающийся, ехидный и грубый. Тем не менее, все эти годы не прерывалась длинная череда мужчин и женщин, которые давали ему

* Улицы в Нью-Йорке, где находится большинство ночлежных домов для бездомных, алкоголиков, наркоманов.

свою старую одежду и небольшие суммы денег, и покупали ему еду и питье, и платили за его ночлег, и приглашали его в гости и на уик-энды за город, и помогали ему приобрести такие вещи, как очки, вставные зубы, или же просто интересовались им — некоторые, потому что находили его забавным, некоторые, потому что сочувствовали ему, некоторые, потому что испытывали к нему сентиментальные чувства как реликвии Гринич Вилиджа, некоторые, потому что им доставляло удовольствие презирать его, некоторые по причинам, по которым они, возможно, сами не отдавали себе отчета, и некоторые, потому что они верили, что книга, над которой он работает так много лет, может оказаться хорошей книгой, даже великой, и они хотели поощрять его продолжать над ней работу.

Гульд называл свою книгу «Устная История», иногда добавляя, «Нашего Времени». Как он описывал ее, «Устная История» состояла из разговоров, которые он слышал и считал значительными и которые он записывал дословно или суммируя, все — от услышанных на улице замечаний до длящихся часами разговоров в полных народу гостиных — и из его эссе, комментирующих эти разговоры. Некоторые разговоры содержали очевидный смысл и больше ничего, как он объяснял, а некоторые (причем говоривший мог и не отдавать себе отчета) содержали, по меньшей мере, и другой смысл, а иногда — несколько различных смыслов проглядывали сквозь его очевидный смысл. Этот последний тип разговора, говорил он, как раз то, что он собирал для Устной Истории. Он провозглашал, что такие разговоры могут иметь историческое значение. В них может быть предзнаменование, говорил он — и любил цитировать двустишие из «Предсказания невинности» Уильяма Блейка:

**Воплями шлюх из улицы в улицы
Старой Англии саван соткется.**

Все зависит от того, говорил он, как будет интерпретирован разговор, и не всякий может его интерпретировать.

«Да, Вы правы, — сказал он однажды собеседнику, принижающему Устную Историю, — это только то, что я услышал от

людей, но, возможно, я имею особенную способность, возможно, я могу понимать значительность того, что говорят люди, возможно, я в состоянии прочесть внутренний смысл. Вы услышите разговор двух стариков в баре или двух старух в парке на скамейке и будете думать, что это худшего сорта околесица, а я могу слушать этот же разговор и находить в нем глубокий исторический смысл.

Со временем, — сказал он в другой раз, — люди смогут читать Устную Историю Гульда, чтобы понять, что случилось с нами, как мы читаем «Упадок и разрушение» Гиббона, чтобы понять, что случилось с римлянами».

Он говорил людям, которых он встречал на разных сборищах в Вилидже, что Устная История уже содержит миллионы и миллионы слов и, без всякого сомнения, это самое большое существующее неопубликованное литературное произведение, но что книге еще очень далеко до конца. Он говорил, что не ожидает, что она будет опубликована, пока он жив; издатели, по своей природе, слепые, как летучие мыши, и он иногда шарил по своим карманам, вытаскивал и зачитывал вслух свое завещание.

«После моего ухода из жизни, когда это будет удобно тем, кого это касается, все мои рукописные книги должны быть собраны из разных мест, в которых они хранятся, положены на весы и взвешены. Две трети этого веса должны быть переданы библиотеке Гарварда, а оставшаяся треть должна быть передана библиотеке Смитсониан»*.

Гульд почти всегда писал в тетрадях — типа тех, которыми пользуются школьники, линованных, в бумажных обложках с напечатанной сзади таблицей умножения. Обычно, когда он кончал тетрадь, он отдавал ее тому, кто попадался ему первым из тех, кого он знал и кому доверял: кассиру, где он ел, владельцу бара, служащему гостиницы или ночлежки — и просил спрятать и сохранить для него. Затем каждые несколько месяцев он обходил эти места и собирал все накопившиеся тетради. Он говорил, если кто-то интересовался этим, что он хранит их в доме старого друга или в квартире старого друга, или в студии старого друга.

В разговорах об Устной Истории он всегда подчеркивал

ее длину и объем. Он постоянно сообщал людям о ее увеличении. Например, однажды, в июне 1942-го, он сказал одному знакомому, что в данный момент Устная История — приблизительно в девять миллионов двести пятьдесят тысяч слов. Затем он добавил, гордо откинув голову: «Примерно в двенадцать раз длиннее Библии».

В 1942-м году, по причинам, о которых я скажу позже, я оказался вовлечен в жизнь Гульда и с тех пор постоянно общался с ним.

Несколько месяцев назад, пытаясь освободить какое-нибудь место в моем кабинете, я вытащил коллекцию бумаг, имеющих отношение к Гульду. Я нашел в папках двадцать девять писем, записки, почтовые открытки. Я начал с того, что просматривал их, а кончил тем, что стал читать их внимательнейшим образом. Одно письмо мне было особенно интересно. Оно было от февраля 1946-го года.

«Вчера вечером я столкнулся с одним молодым художником, моим знакомым, и его женой в таверне «Минотта», — писал он, — и они сказали, что недавно были на вернисаже в студии художницы, по имени Алис Ниил, моего старого друга, и что в этот вечер Алис показала им мой портрет, который она написала несколько лет назад*. Я спросил их, что они о нем думают. Жена молодого художника говорила первой. «Это один из самых шокирующих портретов, какие я когда-либо видела», — сказала она. И ее муж был с ней согласен. «Я того же мнения», — сказал он. Это было мне очень приятно, особенно реакция молодого человека, поскольку он оголтелый абстракционист, далеко впереди в авангарде, и обычно не впечатляется никакой живописью, если она только не абсолютно без всякого смысла и не была закончена примерно полчаса назад. Я позировал Алис для этого портрета в 1933-м году, прошло тринадцать лет, и тот факт, что люди все еще находят его шокирующим, говорит о нем многое. Это говорит о вероятности, что портрет может иметь некоторые из качеств, общие для всех великих произведений живописи, то есть силу оставаться таковым. В городе, в студиях, есть немало картин, которые хорошо известны людям из мира искусства, но они не могут быть выставлены в галереях или музеях, потому что их, вероятно, сочли бы непристойными, и они могли бы принести неприятности галерее или музею, и этот портрет один из них. За

* Портрет Джо Гульда экспонировался в Нью-Йорке в 1997 г. на выставке «Работы Алис Ниил 30-х годов».

* Под этим названием объединено несколько музеев и библиотек в Вашингтоне.

эти годы его видели сотни людей, многие из них художники, выражавшие свое восхищение, и я предвижу, что в один прекрасный день, когда люди привыкнут к, так называемой, непристойности, он будет висеть в Уитни* или в Метрополитэне. Алис Ниил родом из маленького городка, находящегося недалеко от Филадельфии, училась в Школе дизайна для женщин. У нее была студия в Вилидж, но она давно переехала в центральную часть города. Ее работы находятся в серьезных коллекциях, но этот портрет, может быть, ее лучшая работа. Лучшая работа, и она не может быть показана публике! Своего рода подпольный шедевр. Я бы хотел, чтобы Вы когда-нибудь поехали и посмотрели его. Мне было бы интересно знать, что Вы о нем думаете. Она, конечно, не показывает его каждому, кто просит, но я дам Вам ее номер телефона, и если Вы скажете, что я хочу, чтобы Вы его посмотрели, я уверен, она Вам покажет...

Я помню, что когда я получил это письмо, в тот же день я пытался несколько раз звонить мисс Ниил, но никто не отвечал, и я спрятал письмо, Гульд никогда не возвращался к этой теме, и я забыл об этом. Теперь же, прочтя письмо и поддавшись импульсу, я вновь позвонил мисс Ниил и застал ее. Она сказала, что, конечно же, я могу посмотреть портрет Гульда, и дала мне адрес своей студии. Этот адрес привел меня к жилому дому в верхней части Ист-Сайда, в негритянском и пуэрториканском районе, а мисс Ниил оказалась статной, степенной, приятного вида блондинкой пятидесяти с чем-то лет. Ее студия была обыкновенной квартирой на третьем этаже дома. Одна стена была занята стеллажом из двух полок, со стоящими на них картинами. Портрет Гульда, сказала она, был на верхней полке. Ей пришлось встать на стул и, чтобы добраться до него, вытащить несколько других картин. Затем появилась картина с маленьким, бородатым, костлявым, круглоплечим человеком, который был голым, совсем без всего, исключая очки, и это был портрет Гульда. Картина была довольно большая, и Гульд был изображен почти в свой нормальный рост. Фон был неопределенным; Гульд, казалось, сидел на деревянной скамье в парилке, дожидаясь пара. Его костлявые руки лежали на его костлявых коленях и у него явственно проступали ребра. Кроме гениталий в положенном месте, еще

одни, такие же, росли из того места, где у него должен быть пупок, и еще одни мужские гениталии росли из деревянной скамейки. С точки зрения анатомии живопись была с фантазией и выглядела гротескно, но не особенно шокирующей, исключая вид мужских органов. Это была трезвая, реалистическая штудия истощенного недоеданием мужчины средних лет. Шокирующим было выражение лица Гульда.

Бывало, где-нибудь в гостях в Вилидж, Гульд так возбуждался, что он вдруг вскакивал и начинал бегать по комнате, кланяясь женщинам всех возрастов и размеров, и всех степеней доступности, умоляя потанцевать с ним и иногда даже пытаясь их обнимать и целовать. Через некоторое время, получив отпор со всех сторон, он утомлялся этим. Тогда он начинал имитировать полет чайки. Он начинал подпрыгивать, подскакивать, шататься из стороны в сторону, хлопая, поднимать и опускать руки, и одновременно, подражая чайкам, кричать: «Скрик-иик! Я чайка». Он продолжал это делать, пока люди не переставали глядеть на него и не возобновляли свой разговор. Затем, чтобы опять возбудить их внимание, он снимал пиджак и рубашку, бросал их в сторону и, хлопая руками, шлепая себя по груди и притоптывая, исполнял шумный танец. «Тихо!» — кричал он, — «я танцую. Это священный танец. Это танец индейцев. Это танец полнолуния племени Чиппеуо». Его глаза блестели, его нижняя челюсть отвисала. Он часто дышал, как в летнюю жару собака, и на его лице появлялось хитрое, ликующее, приторно-отсутствующее выражение — полусатанинское, полуидиотическое.

Мисс Ниил уловила это выражение.

«Джо Гульд очень гордился этим портретом и, бывало, приходил, садился и смотрел на него, — сказала мисс Ниил. Судя по портрету, она изучала лицо Гульда с интересом и любопытством и также, мне показалось, с определенной неловкостью. — Я назвала это «Джо Гульд», — продолжала она, — но, вероятно, правильнее было бы назвать «Портрет эксгибициониста». И тут же добавила: «Я не хочу сказать, что Джо был эксгибиционистом. Я уверена, что он не был — в буквальном смысле. И все же, говоря совершенно честно, много лет назад, наблюдая его в гостях, я

* Музей современного американского искусства.

чувствовала, что внутри него был заперт застарелый эксгибиционист, пытающийся вылезти наружу, как паук из банки. Глубоко внутри него. Испуганный, застарелый эксгибиционист — типа тех, которых видишь в метро поздней ночью. И не обязательно, что сам он знал это. Вот почему я его так написала».

Впервые я увидел Гульда зимой 1932-го года. Я был тогда газетным репортером и писал, главным образом, в разделе под рубрикой уголовных преступлений. Время от времени я описывал какую-нибудь историю из Женского уголовного суда, который тогда помещался в здании Джефферсон-рынка на Шестой-авеню и Десятой-стрит, в Гринич Вилидже. В том же квартале, где был суд, находился греческий ресторан «Афины», куда приходили те, кто работал в суде или часто бывал в суде по делам. Обычно мы сидели за длинным столом перед столиком кассира, и иногда владелец ресторана Гарри Панагакос подходил и усаживался с нами.

Однажды днем, во время перерыва в суде, я сидел за столом, пил кофе с Панагакосом, судебным полицейским, еще одним судебским и парой детективов, когда вошел странного вида маленький человечек. Он был пяти футов, четырех или пяти дюймов, очень худой, вряд ли он весил больше девяноста фунтов. Он был без шапки и нес свою голову высоко, склонив на сторону, как английский воробей. У него были длинные волосы и густая борода. На лбу были черные полосы, очевидно, он тер лоб грязными пальцами. На нем был плащ на несколько размеров больше, чем надо, почти достигавший пола. Он сжимал одной рукой другую для тепла — был очень холодный день — и рукава плаща покрывали его руки, наподобие муфты.

Несмотря на его бороду, этот человек в плаще не по размеру, без шапки и с грязным лицом имел в своем облике что-то детское и потерянное: ребенок, который только что вместе с другими детьми на чердаке примерял одежду взрослых и потом, устав от игры, вышел на улицу.

Некоторое время он стоял неподвижно, собираясь с духом, затем подошел к Панагакосу и сказал: «Могу ли я

съесть что-нибудь сейчас, Гарри? Я не могу ждать до вечера».

Сначала, казалось, Панагакос был недоволен, но затем, передернув плечами, сказал этому человеку пойти и сесть в глубине зала, и что он сам через несколько минут зайдет на кухню и велит шефу что-нибудь ему дать.

С видом большого облегчения этот человек поспешно прошел между двумя рядами столиков. Точнее, он промчался по проходу. «Кто это, ради всего святого?» — спросил один из детективов. Панагакос сказал, что этот человек принадлежит к вилиджской богеме. Он сказал, что люди богемы умирают от голода — в Нью-Йорке зима 1932-го была худшей зимой во время депрессии — и что он взял за правило кормить некоторых из них. Затем сказал, что официанты откладывают остатки бифштексов и отбивных и другие оставшиеся куски с тарелок, заворачивают их в вощеную бумагу, кладут в бумажные пакеты и сохраняют их для людей богемы. Панагакос сказал, что единственно, о чем он их просит, — это приходите забирать еду ближе к закрытию, к полночи, чтобы зрелище входящих и выходящих не действовало на нервы посетителям, которые платят. Он добавил, что даст этому суп и сэндвич, но что нужно предупредить его, чтобы тот больше не приходил так рано. Детектив спросил, был ли этот человек поэтом или художником. «Я не знаю, как вы его назовете, — сказал Панагакос. — Его зовут Джо Гульд, и считается, что он пишет самую длинную книгу в мировой истории».

В конце тридцатых годов я оставил работу в газете и перешел на работу в «Нью-Йоркер». Примерно в то же время я переехал в Вилидж и стал постоянно встречать Гульда. Я замечал его, когда он входил или выходил из баров и ресторанчиков. «Иерихон-таверна» в начале Шестой-авеню, или «Бар и закуска» на Вилидж-сквер, или «Бельмар», или «Гуди», или «Рошанбо». Я видел его, сидящим за столом и строчащим что-то в одном из ответвлений Публичной библиотеки, на Джексон-сквер, или я видел его наполняющим чернилами свою авторучку на главной вилиджской почте — той, которая на Десятой-

стрит. Я также видел его, сидящим среди молодых матерей и старых алкоголиков в закопченном, покрытом голубьями, засыпанном крошками и газетами маленьком садике гробовой конфигурации, зажатом кустами подстриженной бирючины на Шеридан-сквер.

В то время я часто работал по ночам и время от времени, по пути домой, около двух или трех часов ночи, я встречал его на Шестой-авеню или на боковых улицах, согнувшегося и медленно бредущего, как будто даже без определенного направления, почти всегда одного, почти всегда с раздутой коричневой картонной папкой, иногда что-то бормочущего.

В моих глазах он был древней, загадочной, призрачной фигурой, изгоем. Видя его, я не мог не вспоминать о Старом капитане, или Вечном жиде, или Летучем голландце, или же о молчаливом старике по имени «Болотный Джексон», который жил один в хижине у болота, недалеко от маленького фермерского городка на Юге, откуда приехал я, и который вечно ночами ходил пешком по боковым деревенским дорогам.

Однажды утром, летом 1942-го года, сидя в своем кабинете в «Нью-Йоркере», я думал о Гульде — я встретил его на улице прошлой ночью — и мне пришло в голову, что он может быть интересным персонажем для биографической статьи в разделе журнала «Профили».

Я вошел в кабинет одного из редакторов и рассказал ему о своем замысле. Я сказал этому редактору, что мне кажется, Гульд — прекрасный пример эксцентрика, каких очень много в Нью-Йорке, одинокий ночной бродяга, но что есть другой аспект, который интересует меня больше всего — и это не его богемность, а его Устная История; в свое время я интервьюировал разных представителей богемы Гринич Вилиджа, и они казались мне удивительно неинтересными. Редактор одобрил идею и предложил попробовать.

Я боялся, что будет трудно уговорить Гульда рассказывать о себе — в сущности, я почти ничего не знал о нем и воображал его замкнутым и от всех отчужденным. И я решил, что лучше поговорить с теми, кто хорошо его знает

или хотя бы знаком с ним, и тогда станет ясно, как лучше к нему подступиться.

Я вышел из редакции около одиннадцати и направился в Гринич Вилидж, заходя в разные места по Шестой-авеню и упоминая имя Гульда, заводя разговоры о Гульде с барменами, официантками и старожилами Гринич Вилиджа.

Во второй половине дня я позвонил телефонистке в журнал и спросил, не спрашивал ли меня кто-нибудь, как я обычно делал, если меня долго не было в редакции. Она немедленно соединила меня с секретаршей, которая сказала, что уже около часа в приемной сидит человек, ждущий моего возвращения. «Я передам ему трубку», — сказала она.

«Алло, это Джо Гульд, — сказал человек. — Я слышал, что вы хотите поговорить со мной, так что я заскочил, но дело в том, что я должен идти в клинику глазных и ушных болезней на Второй-авеню у Тринадцатой-стрит и взять по рецепту лекарство от глазной болезни, которой я страдаю, это может быть лекарство, которое ничего не стоит, но оно может и стоить около двух долларов. А у меня при себе нет никаких денег, и я хотел бы знать, не могу ли я занять у вашей секретарши два доллара, а вы, когда вернетесь, ей отдадите, и потом мы можем встретиться в любое время, когда вы скажете, и мы побеседуем, и тогда я верну вам долг».

Секретарша взяла трубку и сказала, что она одолжит ему деньги, и затем снова взяла трубку Гульд и мы договорились встретиться на следующее утро в полдесятого в ресторане «Дефферсон» на Шестой-авеню в Вилидже.

Когда я вернулся в редакцию, я отдал секретарше два доллара. «Он был ужасно грязный, этот человечек, и ужасно любопытный, — сказала она, — я хотела, чтобы он поскорее ушел».

«О чем он любопытствовал?» — спросил я.

«Хм, только об одном, — сказала она, — он хотел знать, сколько я получаю. И еще — вручила она мне сложенный листок бумаги, — уходя, он дал мне эту записку и сказал, чтобы я ее не читала, пока он не войдет в лифт».

«У вас великолепные плечи, моя дорогая, — говорилось в записке, — и мне бы хотелось их целовать».

«Он оставил записку и для вас, — сказала она, вручая мне другой сложенный листок: «Я передумал, — говорилось в этой записке, — полдесятого немного рано для меня. Давайте в одиннадцать».

«Джефферсон» — теперь этого ресторана уже нет — был одним из тех больших, просторных ресторанов с проигрывателем-автоматом. Он помещался на западной стороне Шестой-авеню, на пересечении Шестой-авеню, Гринич-авеню, Вилидж-сквер и Восьмой-стрит, то есть в самом сердце Вилиджа. Ресторан был открыт круглые сутки и был самым популярным местом для встреч. Там был длинный бар с рядом расшатанных высоких стульев и ряд столиков, отделенных друг от друга высокими спинками сидений.

Когда в одиннадцать я вошел туда, Гульд сидел на первом стуле у стойки бара, лицом к двери, держа на коленях свою засаленную картонную папку, и он выглядел таким жалким, каким я еще никогда его не видел. На нем был грязный костюм из легкой полосатой материи, грязная рубашка на пуговицах с потертым воротником и грязные кроссовки. Его лицо было зелено-серого цвета, и правая сторона рта подергивалась. Глаза его были налиты кровью. Он был лыс на макушке, но сзади и с боков волосы его торчали во все стороны. Его борода была нечесана, и вокруг рта у него были желтые пятна от сигаретного дыма. На нем были очки, которые сидели неплотно и как-то набок, сваливаясь почти до кончика носа.

Когда я вошел, он немного приподнял голову и взглянул на меня, его лицо было тревожным, настороженным, и, вместе с тем, настолько усталым и отчужденным и таким глубоко задумчивым, что оно было почти безразличным. Глядя прямо на меня, он смотрел сквозь меня. Я видел такое же обманчиво пустое выражение на лицах старых уродов, сидящих на подмостках на ярмарочных представлениях, и на лицах старых обезьян в зоопарке, в конце воскресного дня.

Я подошел и представился Гульду, и он мгновенно

преобразился. «Насколько я понимаю, вы хотите что-то написать обо мне, — заговорил он чирикающим, гнусавым голосом, — и я поздравляю вас с великим начинанием». Сказав это, он, казалось, запнулся и потерял в себе уверенность. «Я мало спал прошлой ночью, — сказал он. — Я не был дома. То есть я не был в ночлежном доме, в котором я сейчас ночую. Я спал под портиком церкви Св. Иосифа, пока не открыли двери на первую мессу, и тогда я вошел, сел на скамейку и сидел там, до того как не отправился сюда несколько минут назад».

«Св. Иосиф», на Шестой-авеню и Вашингтон-плэйс, — это главная католическая церковь в Вилидже и одна из старейших церквей в городе; ее портик образуют две большие колонны, за которыми скрытые от улицы спали поколения и поколения неудачников.

«Я умер, был похоронен и был в аду два или три раза за это утро, пока сидел на этой скамье, — продолжал Гульд. — Честно говоря, я с похмелья, без копейки и ужасно голоден, и я был бы очень признателен, если бы вы заказали для меня завтрак».

— Конечно, — сказал я.

«Яичницу на поджаренном хлебе! — крикнул он тоном приказа бармену. — И принесите мне чашку кофе немедленно и потом еще одну, с яичницей. Черный кофе. И, пожалуйста, горячий. — Он сполз со стула. — Если вы возьмете себе что-нибудь, — заключил он, — закажите и давайте сядем за отдельный столик. Официант принесет нам туда».

Мы сели за отдельный столик на скамейки с высокими спинками, и официант принес Гульду кофе. Кофе был в белой кружке с толстыми стенками, в стиле вагон-ресторанов, и он был такой горячий, что от него поднимался пар. Но Гульд легкими щелчками подвинул кружку к себе и, не поднимая ее от стола, склонился, и немедленно принялся тянуть и отпивать маленькими, осторожными быстрыми, птичьими глотками, чередовавшимися с короткими подвывающими звуками, выражавшими удовольствие и облегчение. Почти немедленно вернулся цвет его лица, глаза его заблестели и его тик исчез.

Я никогда раньше не видел такой быстрой реакции на кофе; возможно, брэнди не оказал бы на него большего воздействия или кокаин, или кислородная подушка, или переливание крови. Он выпил таким образом всю кружку, потом откинулся, склонил набок голову и посмотрел на меня.

«Я полагаю, вы мной озадачены, — сказал он. Тон его голоса сделался снисходительным; к нему частично вернулась его самоуверенность. — Если так, — продолжал он, — наши чувства совпадают, потому что я озадачен самим собой с самого детства. Я кажусь себе подмененным ребенком или атавистическим возвращением к предкам, или результатом какого-то рода мутаций исключительно уважаемой старинной фамилии Новой Англии. Позвольте мне представить вам несколько биографических фактов. Мое полное имя — Джозеф Фердинанд Гульд, меня называли в честь моего деда, который был врачом. Во время Гражданской войны он был хирургом Четвертого полка массачусетских добровольцев. Позже он был известным врачом-акушером в Бостоне и преподавал на медицинском факультете Гарварда. Гульды, или та ветвь, к которой принадлежу я, жили в Новой Англии с тысяча шестьсот тридцатых годов и принимали участие во всех войнах этой страны, включая войну короля Филипа и войну Пекуот*. Мы состоим в родстве со многими старинными семьями Новой Англии, такими как Лоурэнсы, Кларки, Стореры. Моя бабка со стороны отца — прямой потомок Джона Лоурэнса, приплывшего из Англии на «Арабелле» в 1630-м году и бывшего первым Лоурэнсом в этой стране, и она могла проследить своих предков до рыцаря, по имени Роберт Лоурэнс, жившего в 12-м веке. Она обычно говорила, что род Лоурэнсов, или именно эта линия Лоурэнсов, была не только самой древней из прослеживаемых линий в Новой Англии, но также одной из наиболее ясно прослеживаемых линий и в самой Англии, и что мы никогда не должны об этом забывать».

Внезапно Гульд начал чесаться. Он делал это бессознательно. Он чесал сзади свою шею и затем засунул руку в рубашку и стал чесать грудь и ребра.

«Я должен был бы родиться в Бостоне, — продолжал он, — но я родился не там. Мой отец, которого звали Кларк Сторер Гульд, тоже был врачом. Он был бостонец, но ему пришлось переехать и практиковать в Норвуде, Массачусетс, и они с моей матерью прожили там всего несколько месяцев, до того как я родился. Норвуд — порядочного размера старый городок янки**, пример-

но в пятнадцати милях на юго-запад от Бостона. Это богатый жилой пригород, но в нем также находятся печатные фабрики, сыромятни, фабрики по изготовлению чернил и клея. Я родился в полнолуние, 12-го сентября 1889-го года. В квартире над мясной лавкой Джима Хартшорна. В Норвуде, кстати, произносят Джим Хатсон. Через год, или около того, мой отец построил большой дом на Вашингтон-стрит, главной улице Норвуда. Номер 486, Вашингтон-стрит. Это был трехэтажный дом, с двадцатью одной комнатой, с фронтоном и мансардным окном, украшенными резьбой балконами и паркетными полами, и этот дом был одним из достопримечательностей Норвуда. В холле стояло зеркало восьми футов высоты, декорированное золочеными херувимами. Вокруг каминов были очень красивые терракотовые изразцы. На лестничных площадках — ромбовидные окна, в которые были вставлены красные, зеленые, пурпуровые и янтарного цвета стекла.

Как я сказал, мой дед и мой отец были врачами, и пока я рос, я хорошо знал, что мой отец надеялся, что я пойду по его следам, как он пошел по следам своего отца. Он никогда не говорил об этом, но для меня это было вполне очевидным, как и для всех других, что это как раз то, что он хотел. Я любил своего отца и я хотел, чтобы он хорошо думал обо мне, но я знал (еще с тех пор как был совсем маленьким мальчиком и потерял сознание при виде крови, когда мне довелось увидеть, как наша кухарка скручивала шею цыпленку), что я буду для него разочарованием, потому что я действительно не выносил даже мысли о том, чтобы стать врачом; я держал про себя, что это было последним делом, каким бы я хотел заниматься. Не то чтобы я хотел что-то еще. Правда заключалась в том, что я ни в чем не был хорош — ни дома, ни в школе, ни в играх. Начать с того, что я был маленького роста; я был коротышка, моллюск, орешек, чекушка, сучок. Моим прозвищем, когда кто-нибудь хотел обидеть меня, было «Пузырек для анализа».

К тому же я был тем, кого мой отец называл — катаральный ребенок — у меня всегда текло из носу. Обычно, когда мне следовало быть к чему-то особенно внимательным, я начинал громко сморкаться. И вообще, я во всем был абсурден. Я недавно искал что-то в большом словаре и наткнулся на слово, которое обобщает, кем я был тогда, и, по существу, кто я и сейчас, — амбисинистрес — злополучный или левша на обе руки. Мой отец не знал, что со мной делать, и я иногда ловил на себе его задумчивый взгляд».

Гульд встал, снял свои совсем съехавшие очки и уставился отчаянным взглядом на бармена, который явно отложил заказ Гульда до тех пор, пока не обслужит всех

* Племя индейцев, живущих в южной части Новой Англии.

** Янки — первоначально, жители Новой Англии.

других в зале, включая и тех, кто пришел после того, как мы уселись за столик. Бармен нарочно не обращал на него внимания и отводил глаза.

«Как-то, — продолжал Гульд, безропотно усаживаясь опять, — когда мне было около тринадцати, случилось несколько вещей, которые достаточно ясно показали мне, где мое место в этой жизни. В школе мы часто маршировали по двое в ряду. Мы маршировали по двое, входя в класс, и мы маршировали по двое, выходя из класса. Я никогда не мог ни с кем идти в ногу, поэтому меня ставили последним, и я завершал шеренгу, маршируя сам по себе.

Как-то меня оставили в школе после занятий, и учитель позволил мне пойти в библиотеку и выбрать себе книгу для чтения. Я был там один, и никто меня не видел, согнувшегося перед книжным шкафом у задней стены и пытавшегося решить, какую из двух книг взять, когда вошел директор школы с другим человеком — учителем математики. Они оба бросили свои книги на стол и стояли там несколько минут, говоря о том о сем, и вдруг я услышал, как директор сказал: «Заметил ли ты сегодня маленького Гульда?» Математик ответил что-то, но я не услышал, и потом директор сказал: «Этот отвратительный маленький ублюдок не может идти в ногу даже с самим собой». Математик рассмеялся и сказал что-то, что я не расслышал, и затем они ушли.

Так получилось, что в это время мой отец был членом Школьного совета и очень интересовался делами школы. Он и директор часто встречались. Они, действительно, были хорошими друзьями. Директор и его жена часто приходили к нам на обед, а мой отец и мать ходили на обеды к ним. Поэтому я был глубоко потрясен замечанием директора. Больно было слышать, как тебя называют «отвратительным маленьким ублюдком», это было неуважением к моему отцу, и это было больнее всего. «Маленький Гульд!» Это относилось и к моему отцу. Если бы он просто сказал «Джозеф Гульд», это не было бы так плохо. Это относилось бы только ко мне. Я чувствовал, что директор оскорбил моего отца, что он его предал. По меньшей мере, он надсмехался над ним за его спиной.

Станным образом, я почувствовал себя ближе к моему отцу, чем когда бы то ни было раньше, и я пожалел его — мне захотелось что-нибудь для него сделать. Поэтому в тот же вечер, после ужина, я вошел в гостиную, где он сидел, читая что-то, и сказал ему: «Папа, я недавно думал о том, кем бы я хотел стать, и я решил, что я хочу изучать медицину и стать хирургом». Я подумал, что ему будет приятно вдвойне, если я скажу, что я хочу стать хирургом. «Тогда, — сказал отец, — если ты действительно станешь хирургом и сделаешь операцию, как ты делаешь все

остальное, то оперированный окажется в ужасном состоянии: его сердце будет вверх тормашками, печень повернута в другую сторону, кишки окажутся вокруг легких, мочевой пузырь будет соединен с дыхательным горлом, и он сам будет вынужден ходить на руках, дышать через задний проход и мочиться из левого уха».

Гульд вздохнул, и тень глубокой печали прошла по его лицу. «Я долгое время не мог простить отцу этого замечания, — сказал он. — Время от времени, на протяжении всех этих лет, я вдруг вспоминал слова отца, и они резали меня на части.

Потом, через годы и годы, много позже того, как я покинул дом, и много позже того, как умер мой отец, я шел как-то ночью, здесь, по Нью-Йорку, и почему-то вспомнил об этом, и, должно быть, впервые подумал об этом объективно, потому что я вдруг расхохотался».

В этот момент официантка поставила перед Гульдом тарелку с яичницей на поджаренном хлебе и другую чашку кофе. Как только она повернулась спиной, он взял бутылочку кетчупа, которая была наполовину пустой, и опрокинул ее всю на свою тарелку, окружив кетчупом оба яйца. Затем он порыскал глазами на других столиках, направился к соседнему, за высокой спинкой скамейки, и принес другую бутылочку с кетчупом, которая была наполнена примерно на треть, и опустошил ее тоже на свою тарелку, полностью покрыв яйца и хлеб.

«Я не особенно люблю смешивать еду, — сказал он, — но я взял за правило съедать все, что можно. Это единственная дармовая жратва, насколько мне известно».

Он начал есть, сначала пользуясь вилкой, но потом быстро сменил ее на ложку.

«Иногда я захожу куда-нибудь и заказываю чашку чая, — сказал он доверительно, — и я выпиваю ее и расплавляюсь, а потом прошу чашку горячей воды. Бармен думает, что я собираюсь выпить вторую чашку чая с тем же самым пакетиком, и ему все равно: пожалуйста. Но вместо этого, я выливаю туда кетчуп, и тогда у меня получается очень хороший томатный суп задаром. Попробуйте когда-нибудь».

Гульд окончил свой завтрак, и официантка подошла забрать его тарелку. Заметив пустые бутылки из-под кетчупа, она сказала: «Вам надо иметь большее уважение к самому себе, чтобы не делать таких вещей».

«Когда я голоден, у меня нет к себе ни малейшего уважения, — сказал Гульд. — В любом случае, я не делал этого. — Он махнул головой в мою сторону. — Это он сделал. Это он опрокинул обе бутылки вверх дном и выпил их. Вы, должно быть, слышали глаг, глаг, глаг! Мне было просто стыдно за него. Кроме того — и мне кажется, вы, люди, никак не возьмете в толк — я не просто обычный человек. Я — Джо Гульд; Джо Гульд — поэт; Джо Гульд — историк; Джо Гульд — исполнитель танцев диких индейцев племени Чиппеуо; и я — Джо Гульд, величайший в мире авторитет в языке морских чаек. Я оказываю вам честь просто тем, что захожу сюда, и чем вы оплачиваете мне, кроме того, что досаждаете мне такими вещами, как кетчуп?» Это не позабавило официантку. Она была полная, раздражительная женщина, с одышкой, почти вдвое больше Гульда.

«Кто, ты думаешь, черт тебя побери, ты есть, крысенок? — сказала она, — я вот как-нибудь возьму тебя за твою Джо-гульдовскую бороду и вышвырну отсюда».

«Попытайтесь, — сказал Гульд, его голос сделался удивительно угрожающим, — и мы окажемся на полу с вами вместе».

Он вынул из кармана своего полосатого пиджака пригоршню окурков и положил их на стол. Когда он это делал, дождь из табачных крошек посыпался ему на колени, на пол и на стол, а я испугался, что сейчас снова начнется его перепалка с официанткой. В то время как она наблюдала это с отвращением, Гульд порылся в окурках, выбрал один и вставил его в длинный черный мундштук. Не обращая внимания на официантку, он зажег его архиэлегантным, чаплинским жестом, и официантка удалилась.

«Теперь, — сказал он, — на минутку возвращаясь к истории моей жизни, я закончил школу в Норвуде и затем поступил в Гарвард. В 1911-м году я окончил Гарвард и затем потратил несколько лет на обмозговывание, что мне делать дальше.

К 1915-му году я был близок к тому, чтобы отказаться от надежды прийти к какому-нибудь решению, но тут я каким-то образом заинтересовался евгеникой. По сути дела, я настолько заинтересовался, что занял денег у своей матери и поехал в Бюро записей родословных в Колд-Спринг-Харбор, на Лонг-Айленде, и прослушал летний курс по методике сбора фактического материала для евгеники. После этого я решил, что я должен использовать то, что я узнал, занял еще денег у матери и поехал в Северную Дакоту, где стал обмерять головы индейцев.

В январе и феврале 1916-го года я обмерил головы пятисот индейцев из племени Мандан в резервации Форт Бертгольд, и в марте и апреле я обмерил головы у тысячи индейцев из племени Чиппеуо в резервации на Черепаховой Горе, — затем у меня кончились деньги. Я написал матери, прося еще, и получил от нее вместе с деньгами и на билет на поезд телеграмму, в которой она велела мне немедленно ехать домой, что я и сделал. И она рассказала мне, что они с отцом находятся в затруднительных денежных обстоятельствах, на самом деле, до такой степени тяжелых, что им пришлось продать наш дом и что теперь они снимают его и платят месячную ренту нынешнему владельцу.

Оказалось, что несколько лет назад мой отец вложил свои деньги и деньги, оставленные ему его семьей, в акции компании, которая была создана для покупки и разработки большого участка земли на Аляске. Другими словами, мой умный отец купил акции золотых приисков. И пока я был в Северной Дакоте, они с матерью получили известие, не вызывающее сомнений, что эти акции больше ничего не стоили.

На этом повороте моей судьбы отец взял на себя труд найти мне работу. И я знал, что или я соглашусь на эту работу, или я должен оставить Норвуд. У меня было ужасно сложное отношение к Норвуду. Я никогда по-настоящему не чувствовал себя в Норвуде дома, но в нем были некоторые вещи, которые я очень любил или любил когда-то. Я обожал гулять вдоль берегов реки Непонсет, которая вилась по восточным и южным окраинам города. И я любил бродить по старому, заросшему, заброшенному ново-английскому кладбищу, которое начиналось прямо позади нашего дома на Вашингтон-стрит.

Трава там была по пояс, вы могли спрятаться в ней. И никто вас не видел. Вы могли лежать в траве и размышлять о скелетах, ряд за рядом лежащих на спине в земле под вами.

Мне нравились некоторые старые здания в центре города, старые магазины. Мне нравился запах сырмятен, особенно туманными утрами. Это был мускусный, уксусный, железнодорожный запах. Это была смесь запахов сырых бараньих кож,

дубильных кислот, которые заливали в кожаные чаны, и улоного дыма — этот запах был характерен для города.

Я когда-то любил в этом городе многих людей — в них было что-то от старых янки, и это мне в них нравилось. Но по мере того, как я подрастал, я постепенно начал понимать, что сам я был для них своего рода дурачком. Я выяснил, что даже самые благородные, старые люди, которыми я восхищался и которых особенно уважал, отпускали шуточки и смеялись надо мной. Я никогда не был своим. Так что мало-помалу в течение тех лет я пришел к тому, что стал ненавидеть Норвуд. Я возненавидел его всей душой. Случались дни, когда, будь у меня силы убивать, я убил бы каждого мужчину, каждую женщину, каждого ребенка в Норвуде, включая моих отца с матерью. Так что я сказал отцу: «Я решил, — сказал я, — поехать в Нью-Йорк и заняться литературным трудом».

«В таком случае, сын мой, — сказал отец, — как постелишь, так и поспишь».

Через несколько дней я покинул Норвуд. Я покинул его с легким сердцем, хотя в глубине души чувствовал, что покидаю его навсегда, если не считать того, что, может быть, я вернусь когда-нибудь на Рождество или на летние каникулы, или по случаю таких событий как похороны — похороны моего отца, похороны моей матери, свои собственные похороны. Однако, я не далеко отъехал, когда почувствовал нечто такое, что меня удивило. В поезде, весь путь в Нью-Йорк, я так тосковал по Норвуду, что я должен был сделать над собой усилие, чтобы не сойти с поезда и не поехать назад, в обратном направлении. Даже теперь я иногда болезненно ощущаю ностальгию по Норвуду. Ее вызывает, например, кислый запах, напоминающий мне сырмятни, такой, как запах из подвалов в итальянской части Вилиджа, где некоторые старые итальянцы делают вино. Это одна из самых проклятых вещей, которые я узнал о человеческих эмоциях, и какими предательскими они могут быть — тот факт, что вы можете всей душой ненавидеть какое-то место и все-таки тосковать по нему. Не говоря уже о том факте, что вы можете всей душой ненавидеть человека и все-таки скучать по нему.

Я приехал в Нью-Йорк с идеей получить работу театрального критика, потому что я думал, что тогда у меня будет оставаться время на писание романов, пьес, стихов, песен, эссе, временами — научных работ по вопросам евгеники, и в конце концов мне удалось получить работу полукурьера, полупомощника полицейского репортера для «Вечерней почты».

Однажды утром, летом 1917-го года, я сидел на солнце на ступенях заднего входа Главного полицейского управления, приходя в себя после вчерашней выпивки. Незадолго до этого я

наткнулся у букиниста на маленькую книжонку рассказов Уильяма Батлера Ейтса*, и одна фраза в предисловии Ейтса застряла у меня в голове: «История нации — не в парламенте и не на поле боя, а в том, что люди говорят друг другу в дни ярмарок и праздников, и в том, как они обрабатывают землю, ссорятся друг с другом и отправляются в паломничество». И тут у меня возникла идея Устной Истории. Всю оставшуюся жизнь я потрачу на то, чтобы ходить по городу и слушать, что говорят люди — подслушивать даже, если нужно, — и записывать то, что я слышал и что будет мне казаться существенным, и неважно, насколько скучным или идиотичным, или вульгарным, или непристойным это может звучать для других.

Я увидел всю книгу в своем воображении — бесконечно длинные разговоры и короткие, незначительные разговоры, блесящие разговоры и глупые разговоры, ругательства, летучие фразы, грубые замечания, обрывки ссор, бормотанье пьяных и сумасшедших, мольбы нищих и бомжей, зазывания проституток, разглагольствования уличных торговцев и разносчиков, речи уличных проповедников, ночные крики, дикие слухи, проклятия, вырвавшиеся из глубины души. Тогда же и там же я решил, что я никак не могу оставаться на своей работе, потому что она забирает все мое время, которое я должен посвятить Устной Истории, и я сказал себе, что я никогда больше не соглашусь ни на какую регулярную работу, если только не возникнет крайняя необходимость или я не буду умирать с голоду, и я сведу свои потребности только до самого насущного, положусь на поддержку друзей и доброжелателей.

Идея Устной Истории возникла у меня около половины одиннадцатого. Примерно без четверти одиннадцать я встал, пошел к телефону и отказался от службы».

Голос Гульда задрожал от волнения.

«С этого рокового утра, — продолжал он, распрямив плечи, расширив ноздри и подняв подбородок, — Устная История стала моей веревкой и моей плахой, моей постелью и моей пищей, моей женой и моей милашкой, моей раной и солью на ней, моим виски и моим аспирином, моим камнем преткновения и моим спасением. Это единственно, что для меня ценно. Все остальное — суета».

Было очевидно, что это готовая речь, что она была им записана, что он произносил ее за все эти годы много раз и что он наслаждался ею, и мне почему-то сделалось неудобно.

* Уильям Батлер Ейтс (1865—1939) — ирландский поэт и драматург.

«Только что, когда вы сказали официантке, что вы — авторитет в языке морских чаек, — сказал я, чтобы переменить тему, — вы говорили правду?»

Лицо Гульда просветлело. «Когда я был ребенком, — сказал он, — мы с матерью обычно проводили лето в городке на берегу океана, в Новой Шотландии, в Клементспорте, и каждое лето один старик ловил для меня чайку, и временами у меня возникало впечатление, что моя чайка говорила мне что-то или пыталась сказать. Позже, когда я учился в Гарварде, я потратил многие субботние часы, сидя на одной из верфей в Бостоне, внимательно слушаю морских чаек, и в конце концов я стал их понимать, мало-помалу я научился языку морских чаек. Я понимаю его лучше, чем я говорю на нем, но я говорю на нем много лучше, чем вы думаете. Фактически, я перевел на него немало известных американских поэм. Послушайте!»

Он откинул голову и начал ухать, и щебетать, и квакать, и мяукать, и клекотать, и кулдыкать, и квохтать, и каркать, перемежая все эти звуки нечленораздельным бормотанием. Было что-то монотонное и высокопарное в этом гаме, что делало это звучание отдаленно знакомым.

«Вы не узнаете? — воскликнул Гульд в волнении, — это «Гайавата»! Это из главы «Детство Гайаваты». Слушайте. Я переведу это опять на английский:

**На побережье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
С юных дней жила Нокомис,
Дочь ночных светил, Нокомис.
Позади ее вигвама
Темный лес стоял стеною —
Чащи темных, мрачных сосен,
Чащи елей в красных шишках...»***

Гульд давился смехом; его настроение поднялось с того момента, как он начал говорить о чайках. «Генри Уадсуорт Лонгфелло прекрасно переводится на язык морских чаек, — сказал он. — В целом, сказать вам правду, я считаю, что он звучит лучше по-чайкински, чем по-английски. И теперь, с вашего великодушного разрешения, — продолжал он, вставая и намереваясь выйти из-за столика, и на лице его появилось какое-то хитрое выражение, — я пройду в проход между столиками и покажу вам мою

интерпретацию голодной морской чайки, кружащейся над молом, где выгружают рыбу».

Я видел краешком глаза, что бармен следит за нами. Теперь этот человек обратился к Гульду. «Сядь, — сказал он. Гульд круто повернулся и взглянул на бармена, я ожидал, что он ответит бармену так же резко, как он ответил официантке. Он удивил меня, когда уселся послушно и смиренно, не открыв рта. Затем, подняв с полу свою папку и взяв ее подмышку, как будто собираясь уходить, он склонился над столиком и заговорил тихим голосом: «Насчет денег, которые я вчера занял у вас на лекарство для глаз, — сказал он, — я пошел в глазную и ушную клинику, но по пути что-то задержало меня, и когда я пришел, клиника была уже закрыта, а сегодня я в еще более ужасном положении, чем вчера, в смысле денег, и клиника закрывается по четвергам раньше, чем по средам, и я хотел бы знать, не могли бы вы одолжить мне два или три, или четыре, может быть, пять долларов, чтобы я мог пойти получить лекарство и начать им пользоваться. Мы можем продолжить наш разговор как-нибудь в другой раз».

«Конечно», — сказал я.

«Вы не возражаете?»

«О, нет, — сказал я, — но только я надеялся увидеть что-то из Устной Истории и, может быть, почитать что-то из нее».

«О никакого труда!» — сказал Гульд.

Он положил папку к себе на колени, развязал ее, открыл, порывшись, вытащил две школьные тетради и положил их на стол. «Вы найдете по главе Устной Истории в каждой из них, — сказал он. — Я окончил их только позавчера. Мне еще нужно над ними немного поработать, но вам не будет трудно их читать».

Он продолжал обеими руками рыться в папке. «В двадцатых и тридцатых годах несколько кусочков, отрывков и фрагментов Устной Истории были опубликованы в маленьких журналах, — сказал он, — и они у меня где-то здесь».

Он вытащил из глубины папки маленький бумажный

* Перевод И.А. Бунина.

пакет, закрученный сверху и перетянутый тонкой резинкой, и посмотрел на него испытующе:

«Черт побери, что бы это могло быть? — сказал он, открывая пакет и заглядывая внутрь. — А да, — вспомнил он, — окурки!»

Он бережно положил пакет обратно в папку. «Когда мокрая погода или когда улицы под снегом, — сказал он, — удобно иметь где-то припрятанные окурки». Затем он вытащил четыре журнала, один за другим, и положил их друг на друга. Они были растрепанные, засаленные, залитые кофе.

«Это старый журнал Эзры Паунда* «Эксайл», — сказал он, перелистывая страницы лежащего сверху журнала. — Вышло только четыре номера «Изгнания», и это второй номер — осень 1927 — здесь есть глава из Устной Истории. Я должен за это быть благодарен Е. Е. Каммингсу**. Каммингс — один из моих самых старых друзей в Нью-Йорке. Мы оба одинакового происхождения, из Новой Англии, и наши годы в Гарварде пересеклись — мой последний год был его первым годом — но я познакомился с ним только в Вилиджде.

Приблизительно, в 1923-м, 24-м или 25-м Каммингс рассказал Паунду обо мне и об «Устной Истории», и тогда Паунд написал мне, и между нами установилась переписка, длившаяся несколько лет.

Паунд был большим энтузиастом моего плана «Истории». Он напечатал эту маленькую подборку в «Эксайл», и позже в своей книге «Благовоспитанные эссе». После того как он говорил об Уильяме Карлосе Уильямсе как о великом недооцененном американском писателе, он сказал обо мне: «Этот еще более непризнанный и непонимаемый местный орешек, мистер Джозеф Гульд». А это «Брум», август-ноябрь 1923. Здесь глава из «Истории» — глава «С-С-С-Л-Х-У-1-1». В то время я нумеровал главы римскими цифрами. А это «Пейгэни», апрель-июнь 1931. Здесь несколько отрывков из «Истории»

А это пока мой самый большой триумф — «Дайл», апрель 1929. Здесь два эссе из Устной Истории. Мэрианн Мур, поэт, была редактором «Дайл», и ее редакция помещалась как раз здесь, в Вилиджде — на Тринадцатой-стрит, восточнее Седьмой авеню. В одном из тех старых домов, который всегда был для меня олицетворением Вилиджда — трехэтажный дом из красного кирпича, с высокими ступенями, ведущими в бельэтаж, и с криво растущим перед домом китайским ясенем.

* Эзра Паунд (1885—1972) — американский поэт.

** Е.Е. Каммингс (1894—1962) — американский поэт.

Бывало, я заходил туда, приблизительно раз в неделю, и усаживался в прихожей перед ее кабинетом, проводя там утро, а иногда и вторую половину дня, читая сигнальные экземпляры. И если мне удавалось немного поговорить с ней самой, я пытался убедить ее в литературной значительности Устной Истории, и в конце концов она напечатала два этих коротких эссе.

Все, что я сделал, может исчезнуть, но я обессмертил себя ими. «Дайл» — самый замечательный литературный журнал, когда-либо издававшийся в этой стране. В нем опубликовано много шедевров и полусшедевров, также как и много любопытного и чудовищного.

Переплетенные тома этого журнала будут постоянно требоваться в главных библиотеках мира, пока говорят и читают по-английски. «Бесплодная земля» появилась в нем, и также «Полые люди»*. Элиот написал ревью об «Улиссе» для него. Два замечательных рассказа Томаса Манна появились в нем — «Смерть в Венеции» и «Непорядок и раннее горе». «Хью Селуин Моберли» Эзры Паунда появился в нем и «Бруклинский мост» Харта Крейна, как и «Я — дурак» Шервуда Андерсона. Джозеф Конрад писал для этого журнала и также Джойс, и Ейтс, и Пруст, и Каммингс, и Гертруда Стайн, и Вирджиния Вульф, и Пиранделло, и Джордж Мур, и Шпенглер, и Шнитцлер, и Сантаяна, и Горький, и Гамсун, и Стефан Цвейг, и Джуна Барнс, и Форд Мэдокс Форд, и Мигуэль де Унамуно, и Г. Д.** и Катерина Мансфилд, и сотни других.

Во все последующие века люди будут листать журнал, ища произведения этих писателей, и время от времени один из них, я уверен, заметит два моих коротеньких эссе и полюбопытствует прочесть их (слава Богу, они не длинные), и этим я ближе к бессмертию, чем многие мои сегодня знаменитые, крикливые современники со своими бесцеллерами, радио-интервью, скучными, маленькими фактиками из их скучных, маленьких жизней в справочниках «Кто есть кто», фотографиями их пустых лиц в секциях книжных обозрений, шестью или семью оставленными женами и всем прочим.

Обратите внимание на некоторые другие вещи в этом номере. Стихи Харта Крейна. Эссе Логана Пирсолла Смита. Несколько фотографий обнаженных Майоля. Письмо из Парижа Поля Моранда. Театральное ревью Падрика Колума. Рецензия Бертрана Расселла*.

Гульд подтолкнул ко мне журналы и тетради. «Возьмите их и почитайте», — сказал он.

Выйдя из ресторана, уже на улице, мы договорились встретиться в субботу вечером. «Но не в этом ресторане,

* «Бесплодная земля» и «Полые люди» — поэмы Т.С. Элиота.

** Дэвид Герберт Лоуренс (1885-1930) — английский писатель.

— сказал Гульд. — Прежде я вполне ладил с барменом и этой официанткой. Они шутили со мной, и я шутил с ними. Но теперь они явно плохо ко мне относятся. — На его лице появилось глубоко озабоченное, затравленное выражение, и он помолчал некоторое время. — До недавнего времени, — продолжал он, — очень немногие люди были настроены против меня. Теперь же, по всему Вилиджу, мужчины и женщины, которые раньше были моими друзьями, не выносят меня, ненавидят и презирают. Вы, наверняка, столкнетесь с ними, и, возможно, они будут выдвигать разные причины, почему они так относятся ко мне, и я полагаю, я должен опередить их и рассказать о действительной причине. Хотели бы Вы выслушать меня?»

Я сказал, что хочу.

«Действительная причина заключается в том, что я написал одно стихотворение».

Мы медленно шли по Шестой-авеню.

«В начале тридцатых годов, из-за депрессии, — продолжал он, — очень многие в Вилидже начали интересоваться марксизмом и сделались радикалами. Вдруг все здешние поэты стали пролетарскими поэтами и все писатели стали пролетарскими писателями, и большинство художников стали пролетарскими художниками. Я знаю одну женщину, которая замужем за богатым врачом, она коллекционирует искусство, и у нее дочь балерина, я однажды встретил ее, и она с большой гордостью сообщила мне, что ее дочь теперь пролетарская балерина.

Горе в том, что, чем радикальнее становились эти люди, тем они становились самоувереннее. И более самодовольными. И с большим самомнением. Они сидели в тех же самых местах в Вилидже, где они сидели раньше, когда были обыкновенными людьми обыкновенной богемы, и они говорили так же много, как всегда, только теперь это было не об искусстве или сексе, или о выпивке, как раньше, а о грядущей революции, диалектическом материализме, диктатуре пролетариата и что Ленин имел в виду — сказав то, или что Троцкий имел в виду, сказав это, и они вели себя так, как будто заключения, к которым они приходили по этим вопросам, имели огромное влияние на будущее всего мира. Другими словами, они совершенно потеряли чувство юмора. Послушав, как они говорили о пролетариате, вы могли подумать, что все они сыновья и дочери сталеваров, но на самом деле удивительно большое число из них происходило из семей сред-

небуржуазного или высшего класса общества, и они были состоятельными или просто очень богатыми.

Шло время, и я начал чувствовать себя чужим среди них. Не столько отвращала меня их политика (оставляя в стороне тот факт, что политика любого рода вызывает во мне смертельную скуку), сколько самоуверенность, с которой они говорили о политике. И больше всего, то как они говорили «мы». Вместо «я думаю так» или «я думаю сяк», всегда было «мы думаем так» или «мы думаем сяк». Я не мог привыкнуть к этому «мы». Я был напуган этим.

Однажды, пытаясь пошутить и разрядить атмосферу, я брякнул одному из них, что принадлежу к партии, состоящей из одного человека, и эта партия называется «Партия Джо Гульда». Он ответил, что всякий раз, когда я делаю подобные замечания и шучу над серьезными вещами, я показываю себя в истинном свете.

«Мы против тебя и тебе подобных, — сказал он. — Когда ты паясничает, ты просто пытаешься скрыть тот факт, что ты реакционер. Честно говоря, — продолжал он, — мы классифицировали бы тебя как паразита, реакционного паразита. Что касается Устной Истории, то все, что ты делаешь, насколько мы знаем, — это собираешь словесный мусор буржуазии».

Как раз тогда, летом, одним из новшеств в Вилидже было открывшееся уличное кафе, перед отелем «Бреверт» на Пятой-авеню и Восьмой-стрит — несколько рядов столиков за кустами, растущими в деревянных ящиках, выкрашенных белой краской, и люди полагали, что это очень по-европейски и очень элегантно. Почему-то это кафе было излюбленным местом сборищ вилиджских радикалов.

Однажды после полудня, летом 1935-го, я проходил мимо этого кафе, у меня не было ни цента в кармане, и я был голоден. Не просто немного хотел есть, как обычно, а настолько голоден, что меня тошнило, мои глаза не могли ни на чем сосредоточиться, мои десны кровоточили, моя голова раскалывалась от голода, и я чувствовал тупую, мучительную боль внизу живота. И несколько из них сидели там и пили самое лучшее мартини, какое только можно купить, ели хорошую французскую еду и серьезно что-то обсуждали, без сомнения, что-то, имеющее отношение к грядущей революции, когда в моей голове вдруг возникли стихи. Я назвал их «Баррикады».

В ту же ночь, в гостях, в Вилидже, я встал и объявил, что у меня есть пролетарское стихотворение, которое я хочу прочесть, и я прочел эти стихи. Это не были настоящие стихи — фактически, это было глупое рифмоплетство — но случилось нечто удивительное. Некоторые сочли это забавным и посмеялись немного — собственнo, все, что я ожидал, и все, чего я хотел, но там

присутствовали некоторые вилиджские радикалы и сочувствующие им, включая того человека, кто объявил меня реакционным паразитом, и они были в шоке.

Сначала я подумал, что они разыгрывают меня, валяют дурака, но нет, они по-настоящему были в шоке. Они смотрели на меня так, как глубоко религиозные люди могут смотреть на кого-то, сделавшего что-то ужасно святотатственное, — и когда они опомнились от шока, они рассвирепели. Они так рассвирепели и впали в такую истерику, что я ушел из гостей и двинулся с конца Ист-Сайда обратно на Уэст-Сайд Вилиджа.

На Девятой-стрит, недалеко от Университи-плэйс, я заглянул в окно ресторана, который назывался «У тетушки Клемми», и увидел за круглым столом разношерстную группу старожил Вилиджа, из которых я знал отдаленно нескольких, и я решил попробовать «Баррикады» на них.

Я вошел и прочел им, и случилось то же самое — некоторые вежливо посмеялись, а некоторые осатанели. Тогда я отправился на Шеридан-сквер и вошел в кафетерий, который в то время в Вилидже был самым популярным местом ночных сборищ, — кафетерий «Стюарт», и прочел там, и случилось то же самое. Я был поражен фанатической реакцией на эти стихи у некоторых людей. У них, буквально, была пена у рта. В то же время я наслаждался всем этим. Я провел много вечеров, обходя Вилидж и ища возможности прочесть «Баррикады».

Довольно скоро я нашел способ сделать эти стихи еще более возбуждающими. Вместо того, чтобы читать их, я приводил себя в некоторый транс и начинал распевать. Я распевал их взволнованным голосом, голосом пламенного революционера, потрясая в конце каждой строки сжатой в кулак рукой. Дошло до того, что в некоторых местах в Вилидже, поздней ночью, все, что мне нужно было сделать, — это встать и сказать, что у меня есть пролетарское стихотворение, которое хочу прочесть, и половина присутствующих вскакивала на ноги, пытаясь меня остановить, а другая половина вскакивала на ноги и поощряла меня.

Я стараюсь ходить на разные сборища в Вилидже настолько часто, насколько могу. Я хожу ради бесплатной еды и питья и для сбора материала для Устной Истории. На некоторые меня приглашают, о некоторых я узнаю и тогда просто прихожу сам.

Одной субботней ночью, через несколько месяцев после того, как я написал «Баррикады», я появился на большом сборище на Вашингтон-сквер. Я не был приглашен, но я знал хозяев, мужа и жену. Я ходил по гостям, не будучи приглашенным, годами.

Когда я позвонил, дверь открыла жена, и мне показалось, что она не была так дружелюбна, как бывала раньше, но она

пригласила меня войти. Я вошел, сел в углу, и, после того как я выпил изрядное количество вина, мне пришло в голову, что я должен внести некоторое разнообразие и отплатить хозяйке за ее гостеприимство своим речитативом, так что я встал и объявил, что знаю пролетарские стихи, которые хотел бы прочесть. Мгновенно все умолкло, и я быстро обвел взглядом комнату. Это была большая комната, полная народу, и все лица, на которые я глядел, смотрели на меня с ненавистью. Это меня не особенно обеспокоило. Я привык к этому. Затем я взглянул на них более пристально, и среди лиц, совершенно мне посторонних и тех, кого я немного знал, но которые ничего для меня не значили, я заметил там и сям лица нескольких мужчин и женщин, которые раньше всегда были готовы дать мне немного денег или купить мне еду, или помочь мне как-то еще, — и их лица были холодны и враждебны, как у всех других. И это-таки обеспокоило меня. Это меня немедленно отрезвило. Мне вдруг сделался очевидным тот факт, что даже не осознавая, что делаю, я нажил Бог знает какое количество врагов.

С тех пор я пытаюсь поправить положение, но мне это не удается. Я больше никогда на публике не читаю «Баррикады». О, читаю, если я уверен в своей аудитории, — и прошло уже немало времени, но вилиджские радикалы не простили меня. Я обнаружил, что каждый раз, когда мое имя всплывает в разговоре, они оскорбляют, порочат и поносят меня. И что самое худшее — это то, что они рассказывают другим, как они ко мне относятся. Рано или поздно они настроят против меня весь Вилидж. Те, бармен и официантка, в ресторане, например, — я уверен, что они стали плохо ко мне относиться просто потому, что они слышали, как вилиджские радикалы отпускали в мой адрес злобные и унижающие меня замечания. Ну что ж, что сделано, то сделано. Вот, — сказал он, протягивая мне свою папку, — поддержите, и я прочту вам «Баррикады».

Он подтянул галстук и застегнул свой грязный полосатый пиджак. Выпрямился, как школьник, произносящий клятву верности перед флагом. Затем подняв правый кулак высоко в воздух, прочел следующие стихи:

Эти скромные кусты перед «Бревуртом»

Символ грядущей революции.

Это баррикады,

Баррикады,

Баррикады.

И за этими баррикадами,

За этими баррикадами,

За этими баррикадами,

Умирают товарищи!
Умирают товарищи!
Умирают товарищи!
И за этими баррикадами,
Умирают товарищи —
От переедания.

Гульд взял у меня свою папку.

«С другой стороны, — сказал он, — это может быть совсем не потому, я имею в виду этих людей в ресторане. Я очень устал и изнервничался за это лето и когда я в таком состоянии, я много чешусь. Просто нервная привычка — я это делаю с самого детства. Эти люди в ресторане, без сомнения, заметили, как я чесался, и, возможно, им взбрело в голову, что у меня вши, и вот это-то вполне могло настроить их против меня».

До этого он говорил спокойно, но теперь вдруг внезапно изменился. Его лицо исказилось выражением боли и бешенства, и он плюнул на тротуар. «Абсолютно мерзкая, и отвратительная, и неопишуемая проклятая правда состоит в том, — сказал он, — что у меня вши. Я обнаружил это, пока был на мессе в «Св. Иосифе». Это второй раз за месяц. Я должен пойти сегодня ночевать в Городской ночлежный дом, чтобы принять ванну и отдать им свою одежду для дезинфекции».

Он покачал головой в неуверенности. «Так жить нельзя, — сказал он, его голос звучал подавленно, — но это единственно, как я могу жить и работать над Устной Историей».

Я попытался сказать что-то оптимистическое, но почувствовал, что рискую показаться самонадеянным; человек без вшей находится не в очень хорошем положении, чтобы преуменьшать неудобства, приносимые вшами, если он с человеком, по которому они ползают, — так что я переменял предмет разговора на то, где мы встретимся в следующий субботний вечер.

Я открыл одну из тетрадей Гульда. На первой странице было старательно выведено: «СМЕРТЬ ДОКТОРА КЛАРКА СТОРЕНА ГУЛЬДА. ГЛАВА ИЗ УСТНОЙ ИСТОРИИ ДЖО ГУЛЬДА».

Глава состояла из предисловия и четырех частей. Части были озаглавлены: «ПОСЛЕДНЯЯ БОЛЕЗНЬ», «СМЕРТЬ», «ПОХОРОНЫ» и «КРЕМАЦИЯ».

«Первое, о чем я должен написать в связи со смертью моего отца, — писал Гульд в своем предисловии, — это то, что для меня он умер дважды. Летом 1918-го года я оставил Нью-Йорк, где я начал серьезно работать над Устной Историей, и поехал в Норвуд, чтобы провести месяц с моей матерью. Еще продолжалась Первая Мировая война, и мой отец служил, в звании капитана, в Медицинском корпусе армии Соединенных Штатов и находился в лагере Шерман в Чилликоте, в Огайо. Он был адъютант-ассистент Главного госпиталя.

На второй день моего пребывания дома моя мать поехала в соседний городок Дедхэм навестить подругу, а я пошел прогуляться в центр города, в деловой район Норвуда.

В то время как нас обоих не было дома, один врач из Бостона, друг моего отца, позвонил моей матери, и наша кухарка, старая немка, не очень хорошо говорившая по-английски, не говоря уже о том, что, в целом, не очень смышленная, взяла трубку. Врач из Бостона сказал, что он звонит моей матери с просьбой, что когда она будет в следующий раз писать моему отцу, чтобы она сообщила ему, что другой бостонский врач, друг моего отца, который некоторое время служил вместе с ним в лагере Шерман, умер сегодня от заражения крови в другом госпитале, на Среднем Западе, но старуха-кухарка все перепутала и поняла так, что это мой отец умер сегодня от заражения крови в лагере Шерман.

Когда после полудня я вернулся домой, она плакала на кухне и сказала мне, что умер мой отец. Я поднялся вверх в свою комнату, задернул все шторы и сидел там, оплакивая своего отца. Я был переполнен горем. Во второй половине дня вернулась домой моя мать и немедленно бросилась звонить бостонскому доктору, чтобы узнать, что он сказал нашей кухарке. И затем странная вещь случилась со мной — хотя я понимал разумом, что мой отец не умер, но я не мог перестать оплакивать его. Для меня — удар был нанесен. Я погрузился в состояние глубокой печали и не мог из нее выбраться. Я оплакивал своего отца до конца пребывания в Норвуде и продолжал оплакивать его еще несколько недель, уже будучи в Нью-Йорке.

Мой отец был с почетом демобилизован из армии 28-го декабря 1918-го года, и он тут же вернулся в Норвуд и возобновил свою частную практику. Меньше чем через три месяца после возвращения в Норвуд он серьезно заболел и его положили в больницу Питер Бригэм, в Бостоне, где он и умер в пятницу, в ночь на 28-е марта 1919-го года, в возрасте пятидесяти четырех лет. Теперь я должен отметить тот факт, что его болезнью был

сепсис, то есть заражение крови, что было и остается для меня поразительным совпадением.

Когда мне сообщили о его смерти, я больше совсем не оплакивал его. Для меня он давно уже был мертв.

В своей будущей автобиографии я намерен написать, что мой отец умер от заражения крови во время Первой мировой войны в военном лагере в Огайо, и я буду настаивать на том, чтобы так же писали в любом биографическом материале обо мне, пока я жив и могу контролировать подобные вещи, так как для меня ненастоящая смерть моего отца была его настоящей смертью. Такая вольность меня совершенно не беспокоит. Я открыл, что в автобиографии и в биографии, как и в истории, бывают случаи, когда факты не передают правды. Однако я должен отметить, что в данном случае собираюсь рассказать только о реальной, фактической смерти моего отца».

Стиль писаний Гульда был таким же, как и его речь; немного вымученный, высокопарный, скорее даже скучноватый, но временами оживляемый неожиданными наблюдениями или интересными фактами, или саркастическими комментариями, или злыми и иногда абсурдными замечаниями. Его рассказ был полон отступлений; некоторые отступления вели к другим отступлениям, а некоторые отступления были внутри самих отступлений.

Отец Гульда принадлежал к Универсалистской церкви и масонам, и на его отпевании совместно служили службой пастор из местной Универсалистской церкви, капеллан и мастер-священнослужитель местной масонской ложи.

Гульд описал универсалистскую часть службы и от этого перешел к обсуждению тончайших различий между Универсалистской, Унитариянской и Конгрегационной церквами в городах Новой Англии, а от этого перешел к дискуссии по поводу различий в пасхальной службе в Восточной церкви — он однажды был на службе в албанской Ортодоксальной-Католической церкви в Бостоне со своим другом-албанцем, студентом из Гарварда — и в пасхальных службах, на которых он присутствовал в Римско-католических церквях. От этого перешел к описанию необычного, но очень приятного вкуса тушеного мяса, которое он однажды ел в одном бостонском ресторане, в подвале, любимом месте албанских рабочих с обувной фабрики, куда его позвал студент-албанец («они сказали,

что это баранина, и это мог бы быть барашек, — писал он, — но, возможно, что это была козлятина или конина, и не то чтобы я возражал против козлятины или конины, имея за собой такой опыт, как поедание в обществе индейцев из племени Чиппеуо вареных собак, которые, кстати, вкусом похожи на баранину, только слаще, хотя я должен указать здесь, что поедание собак имеет для чиппеуанцев церемониальный смысл, и может быть сравнимо с нашим причастием и, следовательно, вкус как таковой не имеет большого значения»), а от этого перешел к описанию однажды увиденного им на Мэдисон-авеню в витрине антикварного магазина горшка для тушения бобов, который был точно таким же, как на кухне в его доме в Норвуде. «Глядя на этот, так сказать, антикварный горшок для бобов, — писал он, — я впервые почувствовал, что понимаю кое-что относительно Времени».

Затем он вернулся к описанию теперь уже масонской части отпевания своего отца. По всей тетради были разбросаны фразы, не имеющие отношения к повествованию; по-видимому, это были мысли, приходившие ему в голову, в то время как он писал, и он тут же заносил их на бумагу, чтобы не забыть.

На обложке другой тетради было выведено: «ОПАСНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОМИДОРОВ. ГЛАВА ИЗ УСТНОЙ ИСТОРИИ ДЖО ГУЛЬДА».

Я ничего не понял в этой главе, пока не пролистал ее всю и не обнаружил, что она была издевательски-серьезной и что ее целью было высмеивание статистики. Гульд утверждал, что всю страну захватила таинственная болезнь.

«Причина ее в увеличении потребления помидоров. — В этом месте Гульд начал заполнять страницу за страницей не имеющей отношения ни к чему статистикой, явно переписанной из финансовых секций газет. — Если это правда, — писал он после каждого статистического отчета, — следовательно, и это правда. — Он заполнил двадцать восемь страниц этой статистикой. — И теперь, — писал он, — я, надеюсь, доказал, что потребление помидоров машинистами является причиной пятидесяти трех процентов крушений на железных дорогах в Соединенных Штатах за последние семь лет».

Я был озадачен. Эти главы Устной Истории не имели ничего общего с тем, что рассказывал об Устной Истории Гульд. В них не было ни бесед, ни разговоров и, если только не рассматривать их как монолог самого Гульда, в них не было ничего устного.

Я принялся за тоненькие журналы, которые мне дал Гульд, и увидел, что его вкладом были коротенькие эссе, каждое из которых имело название из одного-двух слов и затем подзаголовок, объясняющий, что это «глава из» или «подборка из «Устной Истории». В журнале «Эксайл» его темой было «Искусство». В «Брум» — «Социальное положение». В «Дайл» было два его эссе — «Брак» и «Цивилизация». И два в «Пейгэни» — «Безумие» и «Свобода».

К этому времени я уже достаточно начитался гульдовских писаний, чтобы представлять себе, что такое его эссе. Это были выбранные редакторами или самим Гульдом отступления из Устной Истории и отдельно озаглавленные. Другими словами, это было то, что я уже читал. Я листал их без особого интереса, пока в эссе «Безумие» не натолкнулся на три предложения, которые сильно отличались от всего остального. Эти предложения предполагались Гульдом как своего рода маска, скрывающая его тщеславие, но мне показалось, что в них он раскрыл больше, чем намеревался. С годами, когда я лучше узнал его, эти фразы вспоминались мне много раз. Они были расположены в конце параграфа, в котором он высказывался о том, что сомневается в возможности деления людей на нормальных и ненормальных. «Я бы считал в высшей степени нормальным того человека, который, ясно осознавая трагическую изолированность людей, спокойно преследует наиболее существенные цели для самого себя, — писал он. — Я полагаю, что я чувствую именно таким образом, потому что ощущаю манию величия. Я верю себе, что я — Джо Гульд».

В субботний вечер, 13-го июня 1942 года, я вошел в бар «Гуди», как мы условились с Гульдом. «Гуди» (фамилия хозяина была Гудман) находился на Шестой-авеню, между Девятой-стрит и Десятой-стрит, прямо напротив

здания суда Джефферсон-маркет. Я давно приметил это место, но никогда раньше там не был. Как большинство баров на Шестой-авеню, в Вилидже, он был длинным, узким и мрачным — темный туннель, нора, убежище летучих мышей, медвежья берлога. Позже я узнал, что многие мужчины и женщины, завсегдатаи этого бара, — представители вилиджской богемы первого поколения, теперь они были в летах или совсем старыми, в последних стадиях алкоголизма. Я пришел, как было условлено, в девять. Гульда нигде не было видно. Примерно без четверти десять в будке около входной двери бара зазвонил телефон. Один из посетителей вошел в будку и потом появился и выкрикнул мое имя. Когда я поднялся, удивленный, он сказал: «С вами хочет говорить Джо Гульд».

«Простите, но я не в состоянии встретиться с вами сегодня вечером, — сказал Гульд, голос его звучал немного с похмелья. — Я совершенно забыл, что я должен был идти на заседание поэтического общества «Ворон». На самом деле, заседание уже идет, я выскользнул на минутку и зашел в аптеку, в телефон-автомат, чтобы позвонить вам, но я немедленно должен вернуться. Я не принадлежу к «Воронам»; они не хотят, чтобы я присоединился к ним — они всегда бросают черные шары, когда называется мое имя — но они позволяют мне посещать их заседания и время от времени включают меня в свою программу. «Вороны» — самая большая поэтическая организация в Вилидже, и в ней нет ни одного настоящего поэта. Если сложить вместе все лучшее в них, то это не сделает и одного третьестепенного поэта. Они все — «будто бы». Псевдо. Имитаторы имитаторов. Они имитаторы плохих поэтов, которые в свою очередь были имитаторами плохих поэтов. Я их не выношу, и они не выносят меня, но проклятие заключается в том, что я наслаждаюсь ими и наслаждаюсь их собраниями. Они настолько плохи, что они хороши. И после чтений они подают вино. И также среди них большой процент незамужних леди-поэтов. Рано или поздно я собираюсь охмурить какую-нибудь из них и склонить ее к свободной любви или браку, даже если

это будет высокая, худая, с костлявыми коленями трезвенница, на которую я с некоторых пор положил глаз, и у которой, должно быть, есть некоторый доход. Она пишет поэмы о вечном море, и у нее голландская мужская стрижка, длинный нос, адамово яблоко под подбородком, постоянно сигаретный пепел на коленях и кошачья шерсть по всему туловищу. «Катись, катись, — читает она, — вечное море», — и ее большое старое адамово яблоко прыгает вверх и вниз. Но главная причина, почему я не хочу пропустить собрание, — это потому что я предвижу сегодня некоторый шанс получить удовольствие у «Воронов». Сегодня вечер религиозной поэзии, и я уговорил их включить меня в программу. Я попросился читать последним. Вы можете себе представить, на какую религиозную поэзию они способны. Мистическая! Духовная! Захватывающая! И какая глубина — о, Бог мой, они глубже, чем Джон Дунн когда-либо мечталось быть. После того как все они прочтут свое, я встану и прочту мое. Слушайте, я прочту Вам.

«Джо Гульд, «Моя религия»:

**Зимой я буддист,
А летом я нудист».**

Гульд хихикнул. Он спросил, прочел ли я главы Устной Истории, которые он мне дал. Я сказал, что прочел, и что они очень отличаются от того, что я ожидал, и что я бы хотел прочесть что-нибудь еще.

«Большая часть Устной Истории хранится в недоступном месте, — сказал он, вдруг сделавшись серьезным, — но у меня есть несколько глав, здесь и там в городе, откуда их нетрудно забрать. Я скажу вам вот что. У меня есть старый друг, по имени Аарон Зизкинд, авангардистский документальный фотограф, и его «темная комната», и его жилье помещаются вместе — в квартире над букинистическим магазином, в доме номер 102 на Четвертой-авеню. У меня там хранится, должно быть, шесть, семь, восемь, девять, десять или дюжина тетрадей. Он сейчас там — он работает в своей «темной комнате» по ночам — и до него очень близко дойти пешком от «Гуди». Может быть, вы прогуляетесь до него и прочтаете эти главы? Он

не будет против вытащить их для вас. И давайте встретимся у «Гуди» завтра вечером. Я обещаю, что на этот раз я там буду».

Квартира Зизкинда была над угловым книжным магазином, на Четвертой-авеню и Одиннадцатой-стрит, как раз в середине района старых букинистических магазинов. Дверь открыл коротенький, живой человек со скептическим выражением глаз, я сказал ему о цели моего визита, и он рассмеялся. «Бог мой! — сказал он. — Не могли найти ничего лучшего, чем занять свое время?» Однако он немедленно подошел к стенному шкафу в прихожей и, склонившись, стал рыться среди обуви и упавших вешалок на дне шкафа и потом вытащил пять тетрадок.

«Джо несколько ошибся в счете, — сказал он. — В данный момент здесь только пять». Он стряхнул пыль с тетрадей, вручил их мне, и я уселся и открыл одну. На первой странице было старательно выведено: «СМЕРТЬ ДОКТОРА КЛАРКА СТОРЕРА ГУЛЬДА. ГЛАВА ИЗ УСТНОЙ ИСТОРИИ ДЖО ГУЛЬДА». Это оказалась еще одна версия последней болезни отца Гульда, его смерти, похорон и кремации. Факты, относящиеся к этим событиям, были те же самые, что и в той главе, которую я уже читал, хотя они были иначе расположены, но отступления были совершенно другими.

Я открыл вторую тетрадь, и название было совершенно такое же: «СМЕРТЬ ДОКТОРА КЛАРКА СТОРЕРА ГУЛЬДА. ГЛАВА ИЗ УСТНОЙ ИСТОРИИ ДЖО ГУЛЬДА». Это был еще один вариант. Название третьей было: «ПЬЯН КАК САПОЖНИК ИЛИ КАК В ЛЮТЫЙ МОРОЗ Я ОБМЕРЯЛ ГОЛОВЫ ПОЛУТОРА ТЫСЯЧАМ ИНДЕЙЦЕВ. ГЛАВА ИЗ УСТНОЙ ИСТОРИИ ДЖО ГУЛЬДА». Это было описанием поездки Гульда в индейские резервации в Северной Дакоте.

Названием четвертой тетради было: «ОПАСНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОМИДОРОВ ИЛИ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ДОЛОЙ ДОКТОРА ГЭЛЛАПА! ГЛАВА ИЗ УСТНОЙ ИСТОРИИ ДЖО ГУЛЬДА». Это был еще один вариант статистической главы.

Названием пятой тетради было: «СМЕРТЬ МОЕЙ МАТЕРИ. ГЛАВА ИЗ УСТНОЙ ИСТОРИИ ДЖО ГУЛЬДА». Это была

самая короткая из глав. Она занимала только одиннадцать с половиной страниц, и большей ее частью было отступление на тему раковой болезни.

«Джо приходит сюда каждые несколько дней и выколачивает из меня подачки или, как он называет, — взносы в «Фонд Джо Гульда», и если при нем находится законченная тетрадка, он сам идет и бросает ее в этот шкаф, — рассказывал мне Зизкинд, пока я просматривал тетради. — Это продолжается уже очень давно. Он оставляет тетради в шкафу, до тех пор когда их накопится полдюжины или дюжина, и тогда он собирает их, кладет в свою папку и уносит. Затем опять начинает копить по одной. Раньше он просил меня их читать, и я читал, но теперь не читаю. Он пишет на одну и ту же тему снова и снова, и я боюсь, я потерял интерес к смерти его отца и смерти его матери, и опасности потребления помидоров, и индейцам в Северной Дакоте, и ко всему прочему. Он, по-видимому, перфекционист; по-видимому, он решил продолжать писать новые варианты каждой из его тем, пока не добьется совершенства.

Прошлой зимой, в один холодный день, он пришел сюда, сел около радиатора и начал пересматривать и исправлять одну из своих тетрадей. Он прочел ее всю, изменяя по слову здесь, по слову там, вычеркивая по предложению и вписывая другое. Затем он опять прочел все снова и изменил еще несколько слов, и вычеркнул еще несколько предложений. Затем прочел еще раз. И затем он изорвал эту тетрадь и выбросил в мусорную корзину.

«Слава Богу, Джо! — сказал я, — эту ты, определенно, улучшил. Ты улучшил ее до полного отсутствия недостатков».

«Когда он забирает свои накопившиеся тетради и кладет в свою папку, куда он потом их деваает?» — спросил я.

«Относительно этого он всегда как-то темнит, — сказал Зизкинд. — На самом деле, я никогда не понимал, зачем он, вообще, их забирает. Я ему много раз говорил, что он может держать их здесь, сколько хочет, и что он может получить в свое распоряжение весь этот шкаф, если ему надо. Он такой перфекционист, что я не удивил-

ся бы, узнав, что он рвет их и выбрасывает в первую попавшуюся мусорную корзину. И потом начинает все заново. По-новому. Да, я предполагаю, что у него есть какое-то секретное место, куда он относит их и где хранит».

На следующий вечер я опять пошел в «Гуди». Гульд сидел за столиком напротив стойки. Перед ним стояла пустая пивная кружка. Он был в том же грязном полосатом пиджаке, в котором был в нашу первую встречу, только теперь пиджак был гораздо грязнее и с дырой по шву на плече. Это выглядело так, как будто в какой-то очереди кто-то со злостью дернул его за левый рукав и наполовину оторвал его от плеча. Я подошел, сел, вернул ему тетради и тоненькие журналы, которые получил от него, и поблагодарил его, за то что он позволил мне их почитать.

«Вы были разочарованы», — сказал он тоном обвинения.

— «О нет», — сказал я.

— «Нет, Вы были, — сказал он, — я вижу».

— «Честно признаться, — сказал я, — был. Из того, что вы мне говорили, я так понял, что Устная История — это, главным образом, разговоры, но в главах, которые вы мне дали, и в тех, которые я видел у Зизкинда, не было никаких разговоров».

Гульд возвел руки. «Естественно, что не было, — сказал он. — В Устной Истории — два типа глав: главы эссе и главы разговоров. Так получилось, что вы читали главы эссе».

Это замечание прояснило мое недоумение относительно Устной Истории. Я взял пустую кружку Гульда, подошел к стойке и купил ему пива. Затем, усевшись, сказал, что очень хотел бы почитать главы разговоров из Устной Истории.

«О, Господи, — сказал Гульд, — поскольку мы уже зашли так далеко, я должен сказать вам кое-что о нынешнем ее месте нахождения. Я надеялся, что могу молчать об этом, но сейчас я вижу, что, все равно, рано или поздно, я должен буду рассказать об этом людям. — Он нахмурился,

закатил глаза к потолку и стал гладить свою бороду, казалось, обдумывая, как бы простейшим образом объяснить что-то исключительно сложное. — Ну хорошо, вернемся немного назад, — сказал он. — Одна моя приятельница, которая раньше работала в Публичной библиотеке, несколько лет назад вышла на пенсию и купила на Лонг-Айленде ферму с курами и утками. В последний День Благодарения она пригласила меня к себе. Я не собираюсь называть вам ее имя или точный адрес ее фермы, так что не задавайте мне вопросов. Это глухое место, по маленькой грунтовой дороге. Ближайшая железнодорожная станция — Хантингтон, но это довольно далеко от Хантингтона. У нее там два дома. Один дом — деревянный, оштукатуренный, и в нем живет поляк-фермер с женой, которые смотрят за курами и утками. Другой — старый каменный дом, и в нем живет моя приятельница с племянницей. Моя приятельница провела меня по всему дому, включая подвал. Подвал — уютный, сухой, с побеленными стенами и разделен на одну большую комнату и три маленькие. Маленькие комнаты предназначались для хранения вещей и имели хорошие крепкие двери. И на дверях были замки — врезанные замки, не навешенные.

И вот в начале января этого года, примерно месяца через полтора, после того как я побывал там, один художник, мой друг, сказал мне, что его знакомый, торговец картинами, рассказал ему о том, что музей Метрополитэн перевозит много своих наиболее ценных картин в бомбоубежище за городом на время, пока идет война, и тогда я решил, что и мне надо что-то предпринять относительно Устной Истории. Я немедленно подумал о тех комнатах в подвале моей знакомой, и мне показалось, что это было бы идеальным местом для Устной Истории. Так что я написал ей и спросил, возможно ли это. Сначала ей не очень понравилась эта идея — она боялась ответственности — но я написал ей еще раз и сказал, что хороший библиотечный работник, каким является она сама, должен понимать всю важность для потомков того, что я прошу ее сделать, и я обещал ей, что поколения еще не родившихся будут благодарны ей и будут благословлять

ее имя. В конце концов она написала мне, чтобы я собрал всю Устную Историю, завернул ее в двойной ряд клеенки, обвязал веревкой — иными словами, упаковал. Я так и сделал, и в следующее воскресенье она с племянницей заехали ко мне, взяли этот тюк и спрятали в подвал. Там он и находится. И если вы заплатите за мой билет на поезде до Хантингтона и обратно, за такси от станции до ее фермы и обратно, и дадите мне еще достаточно денег, чтобы я купил ей в подарок коробку конфет, то в начале следующей недели я могу поехать, развязать этот тюк и отобрать несколько дюжин характерных глав — на сей раз разговорных, и привезти их сюда».

Мы подсчитали, сколько денег ему надо на эту поездку, и я дал их ему.

Он не торопился ехать. В следующий четверг он пришел ко мне в редакцию и сказал, что вчера ездил на ферму своей знакомой, но был не в состоянии достать Устную Историю.

«Моей приятельницы не было дома, — сказал он. — Как сообщила ее племянница, она отсутствует уже несколько месяцев. Она во Флориде. У нее есть брат, школьный учитель английской литературы, на пенсии, холостяк, он проводил зиму в Сент-Огастине, и примерно в середине апреля у него случился инсульт. Она очень привязана к нему, так что она поехала туда ухаживать за ним. И перед тем как уехать, сказала племянница, она заперла половину комнат, в том числе три комнаты в подвале, и забрала ключи с собой. Это очень огорчило меня, я умолял племянницу немедленно написать ей и попросить, чтобы она прислала ключи от комнаты, где хранится Устная История. «Напишите ей сами, — сказала племянница, — это не мое дело». Тогда я решил, что, может быть, гораздо разумнее ей позвонить, племянница дала мне телефон гостиницы, где она остановилась, и я был бы очень вам признателен, если бы вы дали мне денег на этот звонок».

Я сказал, что устрою так, чтобы он мог позвонить прямо из редакции.

«Это было бы прекрасно, исключая того, что я не могу звонить ей в течение дня. Ее племянница сказала, что я

должен звонить ей вечером, потому что днем она в больнице. Если вы просто дадите мне денег, я могу позвонить ей сегодня же вечером из автомата у «Гуди».

На следующее утро, вскоре после того, как я пришел в редакцию, позвонил Гульд и сказал, что он много раз пытался заставить свою приятельницу и наконец дозвонился до нее около полуночи.

«Она, должно быть, совершенно измучена и поэтому очень нервна, — сказал он, — потому что она очень меня отчитывала. Она мне напомнила, что когда она согласилась хранить Устную Историю, она ясно объяснила мне, что я не буду забирать Устную Историю и приносить ее опять, а что она будет держать ее у себя до конца войны. «Вы хотели иметь надежное место, — сказала она, — это и есть надежное место, так что успокойтесь».

Я спросил ее, когда она вернется домой, но я не получил определенного ответа. «Могут пройти недели, — сказала она, — и могут пройти месяцы, и могут пройти годы, а пока что, — сказала она, — перестаньте мне надоедать». Я пытался ей объяснить, но она повесила трубку».

«Не стоит ли мне самому позвонить ей?» — спросил я.

«Как только она узнает, зачем вы звоните, — сказал Гульд, — она повесит трубку».

Это меня озадачило. Со времени моего первого интервью с Гульдом, обнаруживая его друзей и его врагов, я расспрашивал их о нем. Большинство этих людей знали Гульда очень давно и были либо постоянными пожертвователями «Фонда Джо Гульда» или же были ими когда-то раньше. Некоторые из них — Е.Е. Каммингс, поэт; Слейтер Браун — писатель; М.П. Уернер — биограф; Оррик Джонс — поэт; Кеннет Фиринг — поэт и прозаик; Малколм Каули — критик; Барни Галлант — владелец «Барни Галланта» — ночного клуба в Вилидж и Макс Гордон — владелец «Вилиджского Авангарда», другого ночного клуба, — давали ему по гривеннику или по четвертаку, или по полтиннику, или по доллару, или по несколько долларов раз или два в неделю в течение более двадцати лет.

Каждый, кого я встречал, рекомендовал мне увидеть других, и я нашел около пятнадцати человек и говорил по телефону еще, приблизительно, с пятнадцатью. Все они соглашались, иногда даже очень охотно, рассказать о Гульде все, что о нем знали, и я узнал от них множество разных историй и получил большое количество биографической информации о нем.

Я прочел относящиеся к нему вырезки из газет в архивах трех редакций. (Самая старая вырезка, которую я нашел, была от 2-го марта 1934 года из «Геральд трибьюн». В этой заметке говорилось о том, что Гульд рассказывал репортеру, что Устная История уже состоит из 7,300,000 слов. В другой вырезке из «Геральд трибьюн», от 10-го апреля 1937-го года, говорилось, что Устная История состоит уже из 8,800,000 слов. В одной заметке, из газеты «После полудня», от 24-го августа 1941-го года, Гульд назван «автором, который написал книгу больше, чем он сам». «Пачка рукописей, составляющих Устную Историю, достигает более семи футов, — говорилось в «После полудня», — «Гульд — пяти футов, четырех дюймов».)

По совету одного из его сокурсников я отправился в библиотеку Гарвардского клуба и посмотрел ведомости с отметками его курса — выпускников 1911-го года. Я провел целый день в Публичной библиотеке, в зале генеалогии, просматривая генеалогию семей, историю городов и округов Новой Англии, чтобы получить сведения о его предках и семейных связях, и мог подтвердить почти все из того, что он мне рассказывал. Теперь единственная вещь, которая была мне нужна, — это посмотреть на разговорные главы Устной Истории, и это было самым важным.

Мне было ясно, что Устная История была смыслом гульдовского существования, и если я не могу цитировать ее или хотя бы описать ее, я не представлял, как я могу написать о нем биографическую журнальную статью в отдел «Профили».

Я мог отложить работу над статьей, пока та женщина не вернется из Флориды и не пустит Гульда в свой подвал, но я знал по опыту, что откладывание статей такого рода

обычно означает конец всего замысла. Я знал, что как только я займусь другими темами, мой интерес ослабеет, и не исключено, что тот факт, что это продолжает висеть надо мной, очень скоро настроит меня против этой работы. Более того, я начал испытывать недоверие к Гульду; я начал чувствовать, что по какой-то причине он не хочет, чтобы я увидел разговорную часть Устной Истории, и что когда та женщина вернется, могут сами по себе появиться новые трудности. Под влиянием момента я решил, что лучше всего отказаться сейчас же от этой статьи и как можно быстрее заняться чем-то еще.

«Простите меня, мистер Гульд, — сказал я, — но я думаю, что лучше просто отказаться от нашего плана».

«О нет!» — воскликнул Гульд. Его голос прозвучал встревоженно. «Послушайте, — сказал он, — у меня ненормальная память, действительно, мне часто говорили, что я обладаю тем, что психологи называют фотографической памятью. Я несколько раз терял главы Устной Истории и восстанавливал их полностью по памяти. Однажды я потерял главу, восстановил, а потом нашел потерянную, и очень много страниц в обеих совпали слово в слово. Если вы встретитесь со мной сегодня вечером в «Гуди», я прочту вам несколько глав. Я прочту дюжины глав. Если у вас хватит терпения, я прочту вам сотни. Вы получите такое же представление о разговорной части Устной Истории, как если бы вы прочли сами. Принимая во внимание мой почерк, может быть, даже большее».

Этим же вечером, около восьми, мы с Гульдом сели за столик в тихом дальнем углу бара «Гуди». Поначалу он выпил два двойных martini, сказав, что это необходимо для практической цели. «Я открыл, — сказал он, — что джин содействует притоку памяти».

Затем он начал рассказывать историю жизни человека, с которым он сталкивался в ночлежках, своего рода религиозного фанатика, по прозвищу «Дьякон». Этот Дьякон был мрачным, запойным алкоголиком. Он был членом отколовшейся от лютеранства еретической секты и считал, что он потерял свою душу. Он верил, что нашел в

Библии намек относительно точной даты — года, месяца, дня и времени суток конца мира.

Затем, после еще одного двойного martini, Гульд цитировал некоторые замечания, которые, как он сказал, были сделаны ему одной печальной старой венгеркой, известной под именем «Старый Будапешт» или «Старая Буда Пешта», которая раньше сидела в барах на Третьей-авеню, рядом с Купер-сквер, и готова была говорить с любым, кто согласен был слушать.

Гульд сказал, что он заполнил много тетрадей ее разговорами. Старая Буда трижды была замужем и трижды овдовела; через одного из мужей у нее были некоторые связи с торговлей наркотиками; она была когда-то содержательницей борделя или, как она определила это, «диспетчером дома с меблированными комнатами портового района в Бруклине» — кончила она тем, что работала на кухне в городской больнице. Ее разговор был, главным образом, описанием ее размышлений о страшных вещах, которые она испытала или которым была свидетельницей. Гульд прочел несколько ее монологов дословно, пересказал другие и суммировал третьи.

Покончив со «Старой Будой», он выпил четвертый martini, на этот раз — одинарный. Затем он заказал еще один, но решил не пить его до конца. Вместо этого, он заказал большую кружку пива, выпил ее, заказал маленькую, выпил и ее. В этот момент он описывал место, где он чаще всего ел в начале тридцатых годов. Оно называлось «Кофейник Френчи» и было на Первой-авеню, рядом с Двадцать девятой-стрит, как раз напротив здания патологического отделения больницы Бельвью, здания, в котором также находился городской морг. Это кафе было открыто с шести часов утра до двух часов ночи; его постоянными посетителями были медсестры, стажеры, санитары, водители «Скорой помощи», студенты-бальзамировщики и другие работники больницы или морга. Когда только он мог, сказал Гульд, он вовлекал этих людей в разговор, и теперь он начал цитировать некоторые вещи, которые они ему рассказывали. «Эта часть Устной Истории довольно кровавая, — сказал он. — Она называ-

ется «Разнообразные эхо с черного хода Бельвю» и разделена на секции под такими названиями, как «Исключительные операции и ампутации», «Ужасные кончины», «Доктора-садисты», «Необыкновенно большие опухоли», «Странные вещи, обнаруженные при вскрытиях» и т.п.

Тем временем, после того как он процитировал некоторое количество высказываний из каждой секции Бельвю, он заказал еще одну маленькую кружку, выпил ее и потом сказал, что сейчас он процитирует кое-что из наиболее длинной и наиболее важной части Устной Истории. Он сказал, что эту часть он назвал «Беспредельная белиберда» и что это о Вилидже и занимает около семидесяти пяти тетрадей. «Она содержит огромное количество монологов, разговоров, диспутов на темы искусства, литературы, политики, теологии и секса, которые я слышал в Вилидже, — сказал он, — и это будет исключительно ценным для социальных историков будущих столетий, но самое ценное, что там содержится — это сплетни: что люди в Вилидже говорили в двадцатые и тридцатые годы друг о друге за спинами друг друга. Как я сказал где-то в предисловии к этой части, которое само занимает девять тетрадей, — «злокачественные сплетни, злобные и злокачественные. Ненависть и ревность, и старческая похоть, и старческая желчь».

Вы можете назвать почти любого, кто жил в Вилидже в первую четверть этого столетия, и у меня, вероятно, есть что-нибудь о нем или о ней в этой части Истории — что-нибудь безобразное. Тем не менее, все-таки пусть будет и так, — он вдруг внезапно поднялся на ноги и сказал: — Извините меня, я на минутку».

Я был так занят записыванием, что некоторое время не поднимал головы. И тут я взглянул и увидел, что Гульд совершенно пьян. Его глаза сделались пустыми и уставились в одну точку; он смотрел на меня, как будто никогда раньше не видел. Я был поражен, потому что его голос звучал ясно и речь была членораздельной. «Я сейчас вернусь», — сказал он. Выходя из-за стола, он пошатнулся в проходе между столиками, но потом, выправившись, направился в мужской туалет, осторожно ставя ноги и

держа руки перед собой для равновесия, как немощный старик.

Когда он вернулся, я сказал, что боюсь, что он устал и что мы можем прерваться и встретиться на следующий вечер. Он категорически затряс головой. «Я ни капли не устал», — запротестовал он.

Я закрыл свой блокнот и стал засовывать его в карман. «Это вы устали, — сказал он. — Он протянул руку и схватил меня за рукав. — Не уходите еще, — сказал он. — Я хочу вам рассказать кое-что о моей матери. Я мало рассказал о ней в прошлый раз, и я чувствую потребность это сделать. Не затрудняйте себя записями, просто послушайте».

Его мать была хорошей матерью, исключая одной вещи: она никогда не относилась к нему, как к взрослому. Когда он был в Гарварде, рассказывал он, и даже когда уже жил многие годы в Нью-Йорке и был уже хорошо известен среди богемы, и уже отрастил себе бороду, она временами посылала ему посылки с копеечными конфетками, называвшимися «персиковые косточки», которые он любил в детстве. Это было типичным для нее.

«Моя мать сделала одну вещь, когда я был мальчиком, — проговорил он, — которую я не в силах ни забыть, ни простить. Вам это может показаться пустяком, не стоящим того, чтобы о нем второй раз вспомнить, но я думал об этом, должно быть, тысячи раз. Как-то вечером, после ужина, мы сидели в гостиной нашего дома в Норвуде. Я занимался и потом вдруг поднял голову, и увидел, что она на меня смотрит, очевидно, уже довольно долго, и слезы текут у нее по щекам. «Бедный мой сын», — сказала она. — Глаза Гульда сверкали. Он некоторое время молчал.

Затем он забыл о матери и заговорил о своем отце. Он говорил о нем как заведенный, казалось, не в силах остановиться.

Его отец был энтузиаст железных дорог, рассказывал он, и коллекционер расписаний поездов и фотографий паровозов. Норвуд расположен на железнодорожной ветке, которая тогда называлась «Железная дорога Новой Англии», а теперь на линии «Нью-Йорк — Нью-Хейвен — Хартфорд», и его отец был хирургом железнодорожного

ведомства и членом «Ассоциации железнодорожных хирургов».

«Однажды вечером, — сказал Гульд, — мой отец отложил свою газету, которая, наверняка, была бостонской «Ивнинг транскрипт», и объявил, что он собирается утром поехать в Бостон осматривать новый локомотив, который железная дорога только что приобрела и готова была пустить в работу. Затем отец объявил, что берет с собой меня. Это было, когда мне было лет девять или десять, задолго до того, как он поставил на мне крест, так сказать, и это был один из счастливейших дней моей жизни.

Мы встали, когда еще было темно, позавтракали вместе и пошли на самый ранний поезд, в Бостоне в вокзальном ресторане позавтракали второй раз. Отец заказал себе кофе и булочку с корицей, а мне горячий шоколад и тоже булочку с корицей. Затем мы пошли на запасной путь. Там была толпа железнодорожников, осматривающих локомотив, и мой отец знал одного из них. «Здравствуйте, мистер Делегенти, — сказал мой отец, — это мой сын Джозеф».

Гульд был так растроган этими воспоминаниями, что его голос сломался, глаза наполнились слезами, и он не в силах был продолжать. Я воспользовался случаем, коротко попрощался и отчалил.

На следующий вечер мы встретились с Гульдом опять в баре «Гуди». Мы встретились в шесть, и я слушал его до полуночи. Мы пропустили следующий вечер, воскресный. В понедельник мы встретились опять в шесть, и еще раз я слушал его до полуночи.

Во вторник я полагал, что мы договорились на восемь, но когда я пришел, оказалось, что я не ясно выразился, и что он ждал меня с шести и так страстно хотел начать говорить, что уже был в состоянии экзальтации. Надо отдать мне должное, я слушал его до закрытия «Гуди», до четырех утра. Я встретился с ним опять в четверг вечером и в пятницу вечером. В наших встречах установился канон. Гульд цитировал Устную Историю, постепенно наливаясь джином и пивом, затем терял интерес к Устной Истории и начинал все больше и больше рассказывать о себе, пока не переходил окончательно только к этой теме. Казалось, он думал, что никакая деталь из его жизни не может быть незначительной.

В следующий понедельник, это было 29-го июня, я принялся за статью о Гульде для раздела «Профили». В среду он позвонил с утра пораньше и сказал, что большую часть прошлой ночи потратил, перебирая в голове наши с ним разговоры, и что он был в шоке, поняв, что он забыл рассказать мне множество исключительно важных вещей. Так что он хочет прийти и дать мне дополнительную информацию. Я сказал, что я захлебываюсь, задыхаюсь и утопаю в информации. И умоляю его не говорить мне больше ничего, пока я не кончу черновой вариант статьи и он не прочтет его. Он сможет тогда указать на пропуски, сказал я.

В четверг утром ко мне вошла секретарша и сообщила, что он здесь и хочет поговорить со мной. «Он сказал, что это очень важно».

Я попросил ее сказать ему, что я ушел на похороны. Он сидел в приемной около часа, затем, уходя, оставил для меня секретарше записку. «Насколько мне помнится, я сказал вам, что название главы о Гринич Вилидж в Устной Истории — «Беспределльная белиберда». После долгих раздумий я хочу изменить это название, и я чувствую, что я обязан немедленно сообщить вам об этом решении. Новое название — «Сумасшедший дом без решеток или ночное и дневное сошествие в интеллектуальный подземный мир нашего времени». Если у Вас будет случай писать об этой части, пожалуйста, помните об этом».

В пятницу он позвонил, и я солгал ему. Я сказал, что уезжаю в отпуск и что меня не будет две недели. В эти две недели я приходил в свой кабинет рано утром и уходил поздно ночью, меня никто не прерывал, и я кончил статью для «Профилей». После этого я уехал-таки в отпуск.

Вскоре после моего возвращения Гульд позвонил. К этому времени статья была в гранках, и я попросил его прийти и прочесть ее. Он читал медленно и внимательно и затем сказал, что он доволен.

«Есть ли здесь что-нибудь, что вы просили бы меня изменить?» — спросил я.

«Ни единого слова», — сказал он.

На следующий день он заявился и сказал, что параграф о его знании морских чаек должен быть намного длиннее. «Люди захотят знать об этом гораздо подробнее», — сказал он.

Через два дня он пришел с подобным же заявлением относительно другого параграфа. Через три дня он пришел с таким же заявлением еще об одном параграфе. У него появилась привычка приходить, по крайней мере, раз в неделю и уговаривать меня добавить одну фразу здесь, один параграф там. Он никогда не просил меня ничего изменить; он только хотел, чтобы я добавлял. В те дни, когда он не приходил, он обычно звонил мне. Звук его голоса начал вызывать во мне дрожь.

Статья о Гульде была напечатана в «Нью-Йоркере» от 12 декабря 1942, под заглавием «Профессор Морская Чайка». За день, до того как этот номер появился в продаже в газетных киосках, я должен был уехать к себе на Юг, по причине болезни одного из родных. Когда я снова пришел в редакцию, на моем столе лежала пачка читательских писем. Там было сорок пять писем, адресованных мне, и семнадцать, адресованных Гульду. Среди адресованных мне — одно письмо было от самого Гульда.

«У меня всегда было чувство, что я впереди своего времени, — писал Гульд. — Соответственно, я всегда принимал как должное, что значительность Устной Истории не будет признана раньше чем в далеком будущем, через много времени после того, как я умру и покину этот мир. Но теперь, благодаря Вашей маленькой работе, я начинаю видеть признаки того, что это может произойти в течение моей жизни. Посторонние люди на улице, которые раньше, проходя мимо, глядели на меня, в лучшем случае, с удивлением, а в худшем — с откровенной враждебностью, теперь же все в большем количестве, оказывается, знают, кто я, и смотрят на меня с уважением. И время от времени кто-то останавливается и задает мне вопросы относительно Устной Истории. Серьезные, вдумчивые вопросы. А люди, которые действительно знают меня и знают с незапамятных времен, начинают видеть меня в другом свете. Я больше не просто — этот псих Джо Гульд, а — псих Джо Гульд, который может кончить тем, что будет считаться одним из величайших историков всех времен. Такой же

великий, как Фруассар*. Такой же великий, как Джон Обри**. Такой же великий, как Гиббон.

Я заметил даже перемену у радикалов Вилиджа. Вам, может быть, интересно узнать, что бармены и официантки в «Джефферсоне» опять начали шутить со мной. Иногда, когда шутят простые люди, в их вдохновенной дерзости есть что-то заразительно веселое. Это поднимает дух. Свобода от книжной премудрости, вот что это такое. В некоторых вещах я хотел бы знать хотя бы десятую долю того, что знают они.

Я все еще обхожу разные места по Шестой-авеню, но теперь мое главное место — таверна «Минотта», на углу Макдугал-стрит и переулка Минотты, в итальянской части Вилиджа. «Минотта» — старомодный бар-ресторан, который привлекает туристов. Хозяин хочет, чтобы они приходили сюда почаще, и поэтому я заключил с ним, вы могли бы это назвать, неписанное соглашение. С конца дня до часов девяти, десяти или даже одиннадцати я должен сидеть за столом и работать над Устной Историей, придавая собой вилиджскую атмосферу этому месту. Я, так сказать, местный представитель богемы, домашний. А за это он заботится о том, чтобы я бесплатно получал горячую еду, пока я ограничиваюсь спагетти с фрикадельками или чем-то подобным, а я ведь, при крайней необходимости, могу обходиться одной едой в день. И кроме того, здесь всегда есть люди, которые покупают мне пиво или стакан вина, или, если мне очень нужно, martini. И также, разговаривая с туристами и объясняя им, что такое Устная История, я получаю возможность заполучить новых членов «Фонда Джо Гульда»...

В этот же вечер, после работы, положив в карман письма к Гульду, я отправился в таверну «Минотта». Гульд сидел на самом видном месте — перед дверью, напротив стойки бара, и из переулка Минотта через окно было видно, как он сосредоточенно писал в своей тетради.

Я отдал ему письма, и он взглянул на них с опаской. Затем, после прочтения нескольких писем, он пришел в большое возбуждение, стал быстро открывать одно за другим, просматривая и удовлетворенно бормоча что-то себе под нос. Все письма, так или иначе, были хвалебными.

Одно было от женщины из Норвуда, которая училась с ним вместе в старших классах школы. Оно было написано карандашом, на линованной бумаге и было на шести или семи страницах. В нем содержались новости о людях, о

* Французский историк XIV века.

** Английский антиквар и писатель XVII века.

которых, по словам Гульда, он не слышал с тех пор, как уехал из дому, и само письмо было очень дружественным. Лицо Гульда сияло, пока он читал его.

«Ваш дом — все еще один из самых красивых в Норвуде, — писала эта женщина. — Люди моего возраста и старше называют его «Домом доктора Гульда». Сейчас это дом престарелых учителей, медсестер, вдов и, вообще, обеспеченных женщин, не имеющих семьи. Помните ли Вы миссис Анни Фолкнер? Она владелица этого дома и сама следит за ним. В нем живет восемнадцать женщин. Внутри он выглядит почти так же, как и при Вас. Часть мебели — та же, как например, большое зеркало в холле, с золотыми купидонами. Если память мне не изменяет, у Вас были состоятельные родственники в Бостоне и в других местах в Массачусетсе, и рано или поздно, может быть, кто-то из них оставит Вам что-нибудь, и если это произойдет (Вы знаете не хуже меня, что подобные вещи случаются в таких старинных семьях, как Ваша, с большим количеством родственников, среди которых полно тетушек и кузин — старых дев, которые могут оставить Вам что-то, как они обычно оставляют своим обожаемым кошкам или собакам, или церкви «Христианское учение») — почему бы Вам в таком случае не приехать и не выкупить обратно старый дом, и не жить какую-то часть года в Норвуде? Я была очень горда, читая об исторической книге, которую Вы пишете, и я слышала то же самое от других, и я предсказываю, что со временем в Норвуде будет стоять Ваша статуя...»

Некоторые авторы писем вкладывали доллары. «Купите себе выпивку за мой счет», — писали они, или что-то подобное.

Я сказал Гульду: «Я надеюсь, что вы напишете всем этим людям и поблагодарите их».

«Напишите! — воскликнул он. — Я собираюсь сегодня же вечером заняться тем, чтобы установить корреспонденцию с каждым из них. Может быть, я смогу убедить их стать постоянными членами «Фонда Джо Гульда».

Гульд подошел к стойке бара показать одно из писем своему знакомому. Тетрадь, в которой он писал, осталась лежать открытой, и я заглянул в нее. На первой странице было аккуратно выведено заглавными буквами: «СМЕРТЬ ДОКТОРА КЛАРКА СТОРЕНА ГУЛЬДА. ГЛАВА ИЗ УСТНОЙ ИСТОРИИ ДЖО ГУЛЬДА». Я подсчитал, что вижу эту главу уже в четвертом варианте. Когда он вернулся, я сказал: «Я

вижу, что вы все еще работаете над главой о смерти вашего отца». Это его рассердило.

«Что ж тут особенного? — спросил он. — Позавчера ночью я вступил по этому поводу в дискуссию с Максвеллом Боденгеймом* и другими завсегдатаями «Гуди». Благодаря постоянному заглядыванию через мое плечо, Макс знает, что я уже годы работаю над темой смерти моего отца. Он знает, что я откладываю это на время и потом возвращаюсь к этому опять. И он хохочет, что я трачу на это так много времени. «Не говори мне, что ты все еще пытаешься похоронить своего отца», — сказал он, издеваясь надо мной. Сам Макс написал целую полку книг — то есть целую полку романов, целую полку никудышных романов, целую полку толстых никудышных романов — и он воображает, что это дает ему право учить всех остальных. Я сказал ему, что все, что я пытаюсь сделать, — это написать на эту тему маленький шедевр, который будет жить вечно. И это все. «Качество, — сказал я, — не количество». Я сказал ему: «Одно стихотворение из шести строк, которое совершенно в своем роде стоит больше, чем любое количество больших, растянутых, аморфных книг».

У меня мелькнула мысль, что это странное заявление для автора такой большой, растянутой, аморфной книги, как Устная История.

Я принес Гульду письма в понедельник вечером. Однако вскоре после обеденного перерыва секретарша просунула в дверь голову и объявила, что Гульд — в приемной и хочет знать, нет ли для него писем. У меня упало сердце. И я помню, как я подумал: «О Господи, теперь я пропал! Он будет приходить каждый день и спрашивать о письмах. И каждый раз, когда он приходит, он говорит, говорит и говорит. И он будет это делать год за годом, пока я не умру, или не умрет он».

«Пожалуйста, пусть он войдет», — сказал я. Он вошел в мой кабинет, я отдал ему письма, и он посмотрел на их обратные адреса. «Я ответил всем этим людям, которые мне написали, как и собирался, — сказал он, — и это первые их ответы».

«Если вы собираетесь продолжать с ними переписку, — сказал я, — не лучше ли пользоваться адресом таверны «Минотта»?

* Писатель и поэт (1893—1954).

«Если вы не возражаете, — сказал он, в голосе его звучало негодование, — я буду по-прежнему пользоваться адресом «Нью-Йоркера» как своим. Сейчас люди в «Минотте» относятся ко мне хорошо, но я могу им надоесть, и они перестанут пускать меня, и тогда мне бы не хотелось приходить туда и спрашивать о письмах ко мне. Подумайте, — сказал он. — Вы тот, кто все это затеял. Я не искал вас. Это вы искали меня. Вы хотели написать статью, и вы написали, и вы должны отвечать за последствия».

«Пожалуйста, простите меня, — сказал я, — вы правы». В следующий момент голос Гульда звучал примирительно. «Другими словами, — сказал он, хихикая, — если вы ложитесь с собаками, вы должны ожидать, что встанете с блохами».

После этого, как я и опасался, Гульд стал приходить постоянно. Тема его была всегда одна и та же — он сам.

Я продолжал надеяться, что Гульд когда-то выговорится, но шли месяцы, а он не выказывал даже малейших признаков этого. Несмотря на разницу в возрасте, беседа со мной, он чувствовал, что разговаривает с человеком, который знал его всю жизнь. За глаза он называл всякими именами многих людей в Вилидже, и, говоря «Злопыхатель» или «Копеечник», или «Старая Тетка-Кухина-Сестренка-Сузи-Белль-Сузи Су», он знал, что я представляю, о ком идет речь.

Из-за того что я так много знал о его прошлом, я понимал, что сам стал частью этого прошлого. Говоря со мной, он мог вернуть былое, оживить его. Я понял, что у меня нет возможности избежать этого порочного круга — чем больше он говорит со мной, тем лучше я знаю его жизнь, и чем больше я знал, тем более необходимым становилось для него говорить со мной. Я испугался и решил как можно скорее освободиться от него, сидящего у меня на шее, и если нужно будет, посадить его на шею кому-нибудь еще.

Лучшим способом было бы найти редактора или издателя, заинтересованного в его Устной Истории. Гульд однажды сказал мне, что приносил большую кипу страниц Устной Истории в четырнадцать издательств и уно-

сил обратно и с тех пор отказался от надежды найти издателя.

«Половина сказали, что это непристойно и выходит за всякие рамки, и чтобы я забирал все это как можно скорее, — рассказывал он, — а другие жаловались, что они не могут читать мою руку».

Мне пришла идея, что Макссуэлл Перкинс, редактор издательства «Скрибнер», который работал с Томасом Вольфом, может быть, заинтересуется Гульдом, и я позвонил ему первому. Его секретарь сказала, что его нет в городе. Я рассказал ей немного о Гульде и спросил, не примет ли мистер Перкинс Гульда и не поговорит ли с ним?

«Нет, — ответила она, — не думаю».

«Почему?» — спросил я.

«Мистер Гульд уже был здесь. Он как-то, не так давно, приходил сюда и настаивал на том, что хочет видеть мистера Перкинса. Но вместо мистера Перкинса его приняла я, и он вручил мне для передачи мистеру Перкинсу две грязные тетради, в каждой из которой было по главе из его Истории. Мне показалось, что он рассчитывал на большой аванс от мистера Перкинса под эти тетради. Я не думаю, что мистер Перкинс страстно желал бы видеть его опять».

Один из моих друзей, по имени Джон Удберн, был редактором в издательстве «Харкорт, Брейс», я решил позвонить и ему. Удберн сказал, что он не раз уже думал о том, что несколько глав, дающих представление об Устной Истории, могли бы составить небольшую книжку, и что он хотел бы поговорить с Гульдом.

«Попроси его прийти завтра, в двенадцать, — сказал он. — Я должен был пойти в ресторан с одной особой, о чем давно мечтал, но я отменяю это и обойдусь сэндвичем, и мы сможем поговорить с ним, хотя бы полчаса. Я хочу задать ему ряд вопросов относительно Устной Истории. Никогда не знаешь — может, из этого что-нибудь и получится».

Я позвонил в этот же вечер Гульду в «Минотту» и сказал ему о назначенной встрече. Он хотел знать, имею

ли я представление о правилах в «Харкорт, Брейс» относительно выплаты аванса до гонорара, и если они выдают, то какой аванс ему следует просить. И еще он хотел знать, видел ли я когда-нибудь договор «Харкорт, Брейс», и если видел, то было ли там указано, что вся сумма аванса выплачивается полностью по подписании договора между автором и издательством или только определенный процент, а остальное — по представлению всей рукописи.

Я умолял его не говорить с Удберном о подобных вещах — это было бы абсолютно преждевременным — а использовать время, чтобы описать Устную Историю и ответить на вопросы издателя.

На следующий день Удберн позвонил мне. Он был вне себя. Гульд не появился.

Вечером я пошел в «Минотту», и увидев Гульда, спросил, что случилось? Он сказал, что он пошел в книжный магазин, взял несколько книг издательства «Харкорт, Брейс», просмотрел их и пришел к заключению, что «Харкорт, Брейс» было бы не подходящим издательством для Устной Истории и что он решил не ходить туда. При этом, говоря «не подходящим», он подчеркнул, что считает «Харкорт, Брейс» не достойным того, чтобы публиковать Устную Историю. «О, ради Бога, мистер Гульд!» — воскликнул я. — «Харкорт, Брейс» — одно из лучших издательств в стране, и вы это знаете».

У меня был другой приятель в издательском деле — Чарльз А. Пирс, из «Дуэлл, Слоун и Пирс»; через несколько дней я позвонил ему и обсудил это дело с ним. Оказалось, что он тоже думал о возможности выпустить книгу, составленную из выбранных глав Устной Истории.

«Я бы хотел поговорить с Гульдом и обсудить эту идею, — сказал Пирс, — но я не хочу назначать ему свидания, если он не пришел к Удберну, он, почти наверняка, то же самое проделает и со мной. Кроме того, я предпочитаю просто побеседовать с ним, тогда он не станет с самого начала думать об авансах, гонорарах, процентах, правах на кино, правах на радиопередачи по Северной Америке и правах на переводы на все языки мира и так далее. Кто,

он думает, он такой — Мэри Роберте Райнхарт*? Давай сделаем так. В следующий раз, когда он придет и рассядется, и будет похоже, что он собирается еще посидеть, позвони мне, и я приеду на такси. Я сделаю вид, что заскочил случайно».

В пятницу, во второй половине дня, около 3-х часов, 3-го сентября 1943-го года, Гульд появился в моем кабинете. Он сказал, что потерял свою авторучку и что он хочет, чтобы я сделал пожертвование в «Фонд Джо Гульда», чтобы он мог купить себе новую. Также ему нужно еще несколько тетрадей, сказал он. Затем он уселся в кресло-вертушку и начал говорить. Я извинился и пошел в соседнюю комнату позвонить Пирсу. Через двадцать минут Пирс просунул голову в дверь и сказал, что он был рядом и решил заскочить, чтоб сказать «привет». «Войди, пожалуйста», — сказал я и представил его Гульду.

Пирс и Гульд поговорили несколько минут об одном поэте из Вилиджа, их общем знакомом, и затем Пирс сказал, что он уже годы слышит об Устной Истории и что он хотел бы почитать что-нибудь из нее.

«Что-нибудь из нее! — сказал Гульд. — Каждый хочет прочесть «что-нибудь из нее». Никто не хочет просто прочесть ее. С этого момента я больше никому не позволю читать «что-нибудь из нее». Или читать все, или ничего».

«Хорошо, — сказа Пирс, — я прочту. Вероятно, у меня уйдет на это много времени, но если вы принесете все ко мне или скажете, где я могу это взять, я могу начать читать сегодня или завтра».

«Целиком это слишком объемисто», — сказал Гульд.

«Приносите частями, — сказал Пирс. — Когда я кончу читать одну часть, я черкну вам открытку, и вы принесете следующую. Я так часто работал с авторами толстых книг».

«Она хранится далеко, на Лонг-Айленде, куда очень тяжело добираться», — сказал Гульд.

«Мы возьмем машину в «Кэри Лимузин», на Гранд-Сентрал, — сказал Пирс, — и поедем, и возьмем рукописи.

* Популярная писательница (1876—1958). Считалась одной из самых высокооплачиваемых авторов.

Если вы не слишком заняты, мы можем поехать сейчас же».

«Я не хочу привозить ее обратно в Нью-Йорк, — сказал Гульд. — Я не думаю, что это было бы для нее безопасное место. Я вообще не думаю, что это безопасное место для чего бы то ни было. Я ожидаю, что это место в какой-то день превратится в дым».

«У нас есть несгораемые шкафы, в которых мы храним рукописи, — сказал Пирс, — и вы можете хранить это в одном из них. Кроме того, у нас есть несгораемый сейф, в котором мы храним договоры и другие важные бумаги, и вы можете хранить все там».

«Для чего? — сказал Гульд, — после того как вы все получите, вы, вероятнее всего, не сможете разобрать мой почерк».

«Это не проблема, — сказал Пирс, — у нас есть сотрудница, которая дьявольски хорошо читает неразборчивые почерки. Это ее гордость. Может быть, мы сможем опубликовать книгу выдержек из Устной Истории».

«Ну уж нет! — сказал Гульд. — Абсолютно нет! Это должно быть опубликовано целиком. Все или ничего».

«Ну хорошо, — сказал Пирс, — если вы не позволите мне прочесть ее, — а вы, кажется, не хотите, чтобы я прочел — как я могу решить, возможно ли опубликовать ее всю?»

Гульд перевел дыхание. «В глубине души я всегда был убежден, что Устная История будет опубликована после моей смерти, и я собираюсь остаться при этом убеждении. — На минуту он заколебался. — В ней есть откровения, — продолжил он, — которые я не хотел бы, чтобы мир узнал, пока я жив».

Это остановило Пирса.

«Если вы когда-нибудь передумаете, — сказал он Гульду, — пожалуйста, позвоните мне».

Гульд угрюмо посмотрел на него и ничего не сказал.

Я был выведен из себя. Как только Пирс вышел из кабинета, я набросился на Гульда.

«Вы говорили мне, что носили кипы из Устной Истории в четырнадцать издательств, — сказал я. — Какого черта вы это делали, со всеми вытекающим из этого неприятно-

стями, если вы всегда были убеждены, что Устная История должна быть опубликована после вашей смерти? Я начинаю думать, что Устной Истории не существует». Это замечание вырвалось у меня неосознанно, и вряд ли я понимал смысл своего высказывания — я просто выпускал из себя пар от раздражения — но в следующий момент, взглянув на лицо Гульда, я уже совершенно точно знал, что я напоролся на правду об Устной Истории.

«Боже мой! — воскликнул я, — ее не существует». Мне сделалось нехорошо. «Нет такой вещи как Устная История, — сказал я. — Ее не существует».

Я посмотрел на Гульда. Он посмотрел на меня. Его лицо ничего не выражало.

«Женщины, которая владеет фермой с курами и утками, не существует, — сказал я. — И ее брата, у которого был инсульт, не существует. И ее племянницы не существует. И поляка-фермера с его женой, которые смотрят за курами и утками, не существует. И куры, и утки не существуют. И подвал, где хранится Устная История, не существует. И сама Устная История не существует».

Гульд встал и подошел к окну. Он стоял там, смотря через стекло, повернувшись ко мне спиной.

«Она существует, я полагаю, в вашем сознании, — сказал я, постепенно приходя в себя от этого открытия, — но вы всегда были слишком ленивы, чтобы записывать ее».

Гульд повернулся лицом ко мне и что-то сказал. Но его голос был едва слышен. Если я услышал правильно (я часто потом думал, правильно ли я услышал), он сказал: «Это не вопрос лени». Затем, очевидно, решив не говорить ничего больше, он отвернулся опять.

В этот момент постучал в дверь и вошел один из редакторов с корректурой моего рассказа. «Это должно быть сделано немедленно?» — спросил я. «Срочно», — сказал он.

Я понял, что не могу отложить корректуру, и спросил Гульда, не подождет ли он в приемной, пока я кончу эту работу. Он взял свою папку и направился к двери.

Чтение корректуры заняло около получаса. Окончив, я

немедленно пошел в приемную. Гульда не было. Секретарша сказала, что он посидел минут пять и затем, не сказав ни слова, ушел. «Ну что ж, — подумал я, — в таком случае, я освободился от него навсегда».

Я вернулся в свой кабинет, сел в кресло, и опершись локтями на стол, обхватил голову руками. Для меня всегда было мучительным видеть людей, уличенных во лжи, или выведенных на чистую воду, или пойманных с поличным, или застигнутых на месте преступления, и теперь, обдумав все, что произошло, я почувствовал стыд за самого себя, зато, что я потерял самообладание и набросился на Гульда. Мой гнев исчез, и я чувствовал себя подавленно. Я был одурочен Гульдом, как и бесконечное число других людей за все эти годы. Я не думал, что на этот счет могут быть еще какие-то сомнения.

Однако, подумав, я очень скоро пришел к заключению, что все эти годы он говорил об Устной Истории, произнося декларации о ее длине, ее огромности, ее важности для потомства и сравнивая ее с такими работами, как «История упадка и разрушения Римской Империи», не только для того, чтобы обманывать таких людей, как я. Он делал это также и для того, чтобы обмануть самого себя. Должно быть, он давно обнаружил, что у него нет гениальности, или таланта, или уверенности в себе, или работоспособности, или устремленности, чтобы создать такую грандиозную, великую работу, какую он видел в своем воображении, и поэтому он возвращался к писанию все тех же, так называемых, глав эссе. Писал и переписывал их. И то ли потому, что он был слишком ленив, то ли потому, что он был слишком перфекционист, он оказался не в состоянии кончить даже их. Все же большую часть времени он, по видимому, смутно верил, обманывая самого себя, что Устная История действительно существует — и устные главы, и главы эссе. Устная часть, может быть, и не записана на бумаге, но он держит ее всю в голове, и теперь в любой день он начнет ее записывать.

Мне не трудно было представить, как это могло быть, потому что это напомнило мне, как когда-то я сам намеревался писать роман. Мне исполнилось тогда двадцать

четыре года, и я был под гипнозом джойсовского «Улисса». Мой роман должен был быть о Нью-Йорке. Об одном дне и об одной ночи молодого репортера в Нью-Йорке. Он — южанин и тоскует по родному Югу. Он думает о себе как об изгнаннике с Юга. Он был когда-то верующим, верующим баптистом, но теперь — не верующий. Тем не менее он все еще склонен воспринимать разные вещи в религиозных терминах, и он часто видит город как ад, как геенну.

Он влюблен в девушку-скандинавку, которую он встретил в городе, и она так не похожа на знакомых девушек с Юга, что она кажется ему таинственно-непостижимой, так же как таинственно-непостижимым кажется ему Нью-Йорк.

Больше года я обдумывал этот роман. Когда голова моя была свободна от другой работы, он немедленно начинал складываться в моей голове. Иногда во время поездки в метро я сочинял три или четыре главы. Почти каждый день я отвергал по несколько персонажей и придумывал по несколько новых. Но правда состояла в том, что фактически я никогда не написал ни единого слова.

Время шло, я был занят другими делами. Но это не мешало мне в течение нескольких лет постоянно предаваться мечтаниям об этом романе. В своих мечтах я уже закончил его, и он был издан, и я его видел. Я видел его титульный лист, я видел его переплет — зеленый с золотыми буквами.

Вспоминая все это, я горел от почти непереносимого стыда и я все больше и больше ощущал духовную близость с Гульдом.

Предположим, он написал бы Устную Историю, думал я; возможно, это не была бы великая книга, как он провозглашал о ней на всех углах — великие книги, даже приближающиеся к великим, даже хорошие книги или даже приближающиеся к хорошим, так поразительно редки. В лучшем случае, его книга была бы, может быть, занятой. Через несколько лет после публикации экземпляры ее забили бы полки в отделе уцененных книг во всех букинистических магазинах страны.

В любом случае, решил я, что если и есть что-то в мире в достаточном количестве для человечества, или даже в избытке, то это книги. Когда я воображал себе водопады книг, Ниагары книг, речные потоки книг, океаны книг, тонны книг, груженные машины книг, товарные составы книг, которые в данный момент вышли во всех издательствах мира (но только несколько из них стоили того, чтобы взять их в руки и просмотреть, не говоря уже о том, чтобы прочесть), я начал чувствовать, что то, что он не написал ее — достойно восхищения. Одной книгой меньше захламляется мир, одной книгой меньше занимается пространство и собирается от этого пыль, одной книгой меньше кочует нечитанной из книжных магазинов в дома, затем в букинистические магазины, затем в лавки старьевщиков, и снова в дома, и снова в букинистические магазины, и снова в лавки старьевщиков, и опять в дома, и так до бесконечности.

Внезапно я почувствовал прилив искреннего уважения к Гульду. Он отказался остаться в Норвуде, прожить жизнь «Гульдом-Пузырьком Для Анализа», городским дурачком. Если ему суждено было играть роль дурака, он предпочел сыграть ее на большой сцене, перед более дружественной аудиторией. Он появился в Гринич Вилидже, нашел для себя маску, надел ее и держался ее. Экцентрик — Автор Великой, Таинственной, Неопубликованной Книги — такова его маска. Прячась за этой маской, он создал, как мне думалось, персонаж куда более сложный, чем большинство персонажей, созданных современными ему романистами и драматургами.

Я думал о том разнообразии ликов, в каких он видел себя все эти годы, и о разнообразии ликов, в каких его видели другие. Кем видел его директор школы в Норвуде — отвратительным маленьким ублюдком. Кем видел его Эзра Паунд — местным орешком. Кем видели его всезнайки-радикалы из Вилиджа — реакционным паразитом. Необычайное разнообразие точек зрения, я стал мысленно перечислять их. Он был катаральным ребенком, он был сыном, осознавшим, что он — разочарование для своего отца, он был моллюском, земляным орехом, полпинтой,

коротышкой, поэтом Джо Гульдом, историком Джо Гульдом, Джо Гульдом — исполнителем диких танцев индейцев племени Чиппеуо, он был Джо Гульдом — крупнейшим в мире авторитетом в языке морских чаек, он был изгнанником, он был типичным примером одинокого ночного странника, он был крысенком, он был одним-единственным членом Партии Джо Гульда, он был постоянным представителем богемы в таверне «Минотта», он был профессором, он был Морской Чайкой, он был профессором Морская Чайка, Мангустой, профессором Мангустой, он был малым из Бельвью.

Я все еще продолжал этот список, когда секретарша приоткрыла мою дверь.

«Мистер Гульд только что вернулся, — сказала она, — он был все это время внизу, в кафетерии, и пил там кофе».

«Приведите его немедленно, — сказал я. Затем неожиданно, возможно, благодаря моему новообретенному уважению к Гульду, я передумал. — Нет, нет, — сказал я, — я пойду и приведу его сам».

Я поднялся, и пока я вставал, мне пришла в голову мысль, которая заставила меня снова сесть. Я вдруг понял, что если я задам Гульду вопросы, которые я собирался задать, и если он будет откровенен и признает, что Устной Истории не существует, что это, действительно, миф, — то я окажусь в положении, когда мне надо будет что-то предпринять. Я буду вынужден сорвать с него маску. Я нашел эту мысль для себя невыносимой. Устная История была хранилищем его жизни, его спасительным якорем, и я не хотел увидеть его тонущим. Я не хотел разглашать его тайну. Я не хотел, так сказать, порвать его талон на обед или разбить его миску с супом. Я вообще не хотел принимать в этом деле какую-то сторону. Он никому не вредил. Он жил за счет своих друзей, это правда, но только крохами с их стола. Если он проживет долго, он, может быть, еще и напишет Устную Историю. Лучше все оставить, как есть — в неопределенности. Возможно, это было трусостью, но если и так, что ж, пусть так. Теперь я был благодарен ему, что он ни в чем не признался, когда я накинулся на него, — он не сказал

ни да ни нет, он сказал только, что это не вопрос лени. И нет такого закона, по которому я обязан стараться вывернуть его наизнанку или вытряхивать из него чистую правду. Предположим, он решил все отрицать, и предположим, он отвернется от меня и станет поносить меня, предоставляя мне сделать следующий шаг. Я могу быть уверен в чем угодно, но как бы я мог что-либо доказать? Пока я пытался решить, что мне делать, без стука вошел Гульд.

— «Вы намерены сделать взнос?» — спросил он.

— «Да, намерен», — сказал я.

Я дал ему столько, сколько он хотел. Он не поблагодарил, а сказал то, что обычно говорил, когда кто-нибудь делал пожертвование в «Фонд Джо Гульда»: «Это очень кстати». Затем он подошел к креслу, уселся в него и положил у ног свою папку.

«Вы сказали, что у вас были ко мне вопросы?» — спросил он.

«Были, — сказал я, — но у меня их больше нет. Я думал, что я хочу знать некоторые вещи, но теперь я думаю, что не хочу. Давайте забудем об этом».

Он поднял свою папку и, не попрощавшись, вышел.

Некоторое время после этого Гульд мне не доверял. Теперь он приходил только за взносами в «Фонд Джо Гульда», как я подозреваю, когда совсем был без денег и не мог разыскать никого из своих старых покровителей. Чтобы ему было легче, я стал пересылать ему письма в «Минотту». Иногда я накапливал несколько писем и под предлогом, что хочу знать, как он поживает, проходил мимо «Минотты» и отдавал их ему.

Первые несколько раз я вел себя так, как будто ничего не случилось, присаживался, как бывало, за его стол, вне зависимости от того, был ли он один или там был кто-то еще. Но я скоро заметил, что если он был не один, мое присутствие его смущало. Если кто-то спрашивал его что-нибудь об Устной Истории или просто упоминал ее в разговоре, он смотрел на меня растерянно и пытался изменить тему. Я думаю, он боялся, что в любой момент я

могу встать и объявить, что никакой Устной Истории не существует, что это только его воображение, и все это — ложь. Я делал его застенчивым; я вставал на его пути; я разрушал его стиль.

Как только я понял это, я никогда больше не подсаживался к нему, если он не был один. Если кто-то садился с нами, я смотрел на свои часы и притворялся, что удивлен, как было поздно, и уходил.

Однажды вечером Гульд внезапно сделался опять прежним Гульдом. Я сидел за его столом, когда пара туристов, муж и жена, отошли от стойки бара и, подойдя к нему, задали ему несколько вопросов об Устной Истории. Не взглянув на меня и без всяких промедлений, он начал описывать им Устную Историю и через мгновение уже сравнивал себя с Гиббоном — говоря о «счастливой близости» его позиции по отношению к Нью-Йорку в сравнении с «несчастной отдаленностью» гиббоновской позиции по отношению к Римской империи.

Я испытал огромное облегчение, услышав все это, не только потому, что я увидел, что он преодолел свое недоверие ко мне, но также и потому, что понял, что он снова уверенно вошел в свою роль. Более того, я восхитился присутствием духа в нем. Он выглядел неудачливым, но жизнерадостным, уверенным в себе немолодым человеком. Он играл свою роль с душой. На моих глазах из нищего, маленького, красноглазого пропойцы-бродяги он превратился в выдающегося историка. И при этом самое большее, что он мог надеяться выколотить из этих туристов — это несколько стаканов вина и один-два доллара.

Весной следующего года, 1944-го, случайная встреча Гульда с его старой знакомой послужила толчком к изменению и значительному улучшению его жизни. Около 8-ми часов утра он вышел из гостиницы «Защитник», которая находилась в доме номер 300 по Бауэри-стрит, где он провел ночь, и собирался начать свой ежедневный обход за взносами в «Фонд Джо Гульда». Он был голоден, страдал от невозможности опохмелиться, от обостривше-

гося конъюнктивита и сильной простуды. Он намеревался сначала пойти к станции метро на Шеридан-сквер и постоять там около часа у входа, вылавливая друзей и знакомых, спешащих на работу.

По пути, на Бикер-стрит, пытаясь собраться с силами, он присел на ступени жилого дома, перед которым стояли тележки с овощами. Он запрокинул голову и стал пускать в глаза капли, и в этот момент женщина, по имени миссис Сара Островская-Берман, вышедшая из своей квартиры на Юнион-сквер, чтобы купить сладкого итальянского лука, под названием чипполини, подошла к тележке, и вдруг увидев Гульда, стремительно направилась к нему и села рядом с ним.

Миссис Берман была женой Ливая Бермана, поэта, писавшего на идиш, а сама она была художницей. Она приехала из России, когда была еще девочкой, и зарабатывая на жизнь работой на швейной фабрике, сама себя учила живописи. Хотя ее картины были написаны неумело, но в них было воображение и какие-то черты галлюцинаций, ими восхищались и их очень высоко ценили некоторые люди искусства. Она была нежная, тихая женщина, несколько не от мира сего, и в ее облике было что-то материнское, хотя она не имела детей.

В конце двадцатых, начале тридцатых годов она часто в гостях, в Вилидж, встречала Гульда и несколько раз беседовала с ним, но с тех пор не видела его много лет и теперь была потрясена происшедшей в нем переменой. Она спросила, как обстоят дела с его Устной Историей, и он застонал, потряс головой и сказал, что сейчас у него нет сил говорить об Устной Истории. Затем спросила о его здоровье, и он задрал штанину и показал ей нарывы, недавно возникшие у него на ногах.

Миссис Берман взяла такси и повезла его в свою квартиру. Она приготовила для него завтрак, вымыла ему ноги и положила лекарство на его нарывы. Она дала ему чистые носки и пару старых ботинок ее мужа. Дала ему денег. Затем, после его ухода, она села и составила список людей, которые в те же годы, что и она, знали Гульда, включая и тех, кто уехал в другие штаты или в Европу, и остаток дня провела за писанием им всем страстных писем. «Джо Гульд в очень плохой форме», — писала она в одном из этих писем. — Он тратит время и энергию не на Устную Историю, а на то, что бегаёт по всему городу, собирая по гривеннику и по четвертаку на самое необходимое, и это убивает его. Я всегда чувствовала, что подсознательное нашего города пытается обнаружить себя через Джо Гульда. И что люди из подполья в нашем городе, может быть, пытаются говорить с нами через него. Люди, которые с самого начала не принадле-

жали ни к какому месту. Люди, проводящие дни в этих страшных, темных барах. Бедные старики и старухи, сидящие в парках на скамейках, униженные, горестные и сумасшедшие, — те, которые никогда не получили свою долю, те, которые всегда были выкинутыми из жизни, сидящие там, мечтающие о том, чтобы убить каждого проходящего, даже маленьких детей. Но есть огромная опасность, что Джо Гульд может никогда не кончить Устную Историю, и что анонимные голоса никогда не прозвучат для нас. Что-то должно быть сделано для него немедленно. Если этого не произойдет, то скоро, в какое-то утро он (и вместе с ним некоторые из нас) будут найдены на Бауэри-стрит мертвыми».

Среди тех, кому написала миссис Берман, были двое ее старых друзей, когда-то бывших мужем и женой, но теперь разведенных, — Эрика Фейст и Джон Ротшильд. Мисс Фейст была родом из Германии, она приехала сюда в начале двадцатых годов и стала художницей. Ротшильд был родом из Новой Англии, в Гарварде он делил какое-то время комнату с Малколмом Каули*; вскоре после того, как он приехал работать в Нью-Йорк, в гостях в Вилидже он познакомился с Гульдом и с тех пор был постоянным членом «Фонда Джо Гульда». Он был директором бюро путешествий под названием «Открытая дорога и Ко».

Через неделю у миссис Берман раздался междугородный ночной звонок. Это звонила мисс Фейст, которая после развода переехала из студии в Вилидже на ферму в Пенсильвании, в округе Бакс. Мисс Фейст сказала, что когда она была замужем за Ротшильдом, она знала и очень уважала его старого друга, одну очень скромную и очень занятую, работающую женщину, которая происходила из богатой семьи со Среднего Запада и которая получила большое наследство, — иногда инкогнито она помогала бедным художникам и интеллектуалам, — и что она, мисс Фейст, уже поговорила с ней относительно Гульда. Независимо от нее, сказала она, Ротшильд тоже уже говорил с этой женщиной о Гульде. Мисс Фейст сказала, что эта женщина согласилась помогать Гульду и она будет давать ему шестьдесят долларов в месяц. Но она поставила два условия. Первое — Гульд никогда не

* Американский критик и поэт.

должен знать ее имени или, вообще, что-либо о ней, что могло бы дать ему возможность узнать, кто она. Второе — чтобы кто-то благоразумный и ответственный, живущий в Нью-Йорке, кто знает Гульда, получал ежемесячно от нее чек и еженедельно выдавал Гульду деньги, следя за тем, чтобы он тратил эти деньги на комнату и еду, а не на выпивку. Это должен быть кто-то, кого Гульд уважает и с чьим мнением считается. Когда миссис Берман услышала это, она сказала: «Кто-то, вроде Вивиан Маркье». И мисс Фейст сказала: «Совершенно верно».

Миссис Вивиан Маркье была старым другом Гульда и владелицей «Галереи Маркье» на Пятьдесят Седьмой-стрит. В молодости она была социальным работником и жила в Вилидж. Она познакомилась с Гульдом в 25-м или в 26-м году и с тех пор ему помогала и снабжала его одеждой; несколько ее знакомых имели близкий к Гульду размер, время от времени они давали ей для Гульда свои старые костюмы и рубашки. Он заходил в ее галерею по несколько раз в неделю за пожертвованием в «Фонд Джо Гульда».

На следующий день мисс Фейст позвонила в галерею миссис Маркье и объяснила ей ситуацию. Миссис Маркье сказала, что она и сама беспокоится о Гульде и что она была бы рада выдавать Гульду деньги и следить за их тратой. Девичья фамилия миссис Маркье была Уард, и она была родом из Лоуренса, на Лонг-Айленде. Ее муж, Эли-Пол Маркье, был француз. Он был гравёром, а также большим гурманом и поваром-любителем. Через него она была знакома с большим числом французов из ресторанного бизнеса. Одним из них был человек по имени Жерар, который сдавал комнаты в трех домах по Уэст Тридцать Третьей-стрит, между Восьмой и Девятой-авеню, как раз напротив Главного Почтамта, дома назывались «Апартаменты Жерара». Это были старые дома, облицованные коричневым песчаником, под номерами 311, 313 и 317. В подвале номера 311 у него был необычно дешевый ресторан, который был известен под тем же именем «Апартаменты Жерара».

Миссис Маркье поговорила с Жераром о Гульде. Жерар призывал иметь дело с людьми, которые обходились чрезвычайно малым; большинство его жильцов принадлежали к этой категории. Он сказал, что за шестьдесят долларов в месяц он может предоставить Гульду комнату и стол, и еще оставлять ему небольшую сумму на сигареты и транспорт. Его комната будет стоить три доллара в неделю, завтрак — двадцать пять центов, второй завтрак и обед — по пятьдесят центов.

Миссис Маркье согласилась посылать Жерару чек в конце каждой недели, оплачивая его расходы, а Жерар согласился вычитать из чека то, что Гульд ему должен. А то, что будет оставаться, отдавать Гульду деньгами. Если Гульд пропустит еду, с него не будут брать за нее. Если он будет пропускать еду слишком много раз, чтобы оставлять деньги на выпивку, Жерар сообщит об этом миссис Маркье.

Не прошло и недели, как Гульд был поселен в комнату на пятом, последнем, этаже в доме номер 313. Во времена, когда в этих облицованных коричневым песчаником домах жило по одной семье, все комнаты на этом этаже были заняты женской прислужкой. Комната Гульда, по всей видимости, предназначалась молодой, новой служанке. Эта комната была расположена за лестничной клеткой, с окном не в стене, а в потолке, и в ней хватало места только для кровати, стула, стола и комода.

Сначала Гульд не получал удовольствия от житья в «Апартаментах Жерара» и от всего остального, связанного с его новым образом жизни, потому что его мучила тайна личности его благодетеля. Он думал только об этом. Некоторое время он приходил, по меньшей мере, каждый день в «Галерею Маркье» и задавал миссис Маркье как будто невинные вопросы, надеясь получить какой-то ключ к разгадке. Она умоляла его прекратить эти хождения, но он не мог. Догадкой, казавшейся ему наиболее правдоподобной, было то, что его благодетель — кто-то из Гарварда, и миссис Маркье укрепляла в нем эту мысль.

Но однажды, вместо того, чтобы сказать «ваш благодетель», она забылась и сказала «она», и это воспламенило воображение Гульда. В течение нескольких недель он проводил по полдня в Публичной библиотеке, просматривая газеты и пытаясь обнаружить информацию о богатых женщинах, вообще, и о богатых женщинах, в частности, которые были покровительницами искусства, но так никогда и не обнаружил.

Несколько дней он был одержим идеей, что эта женщина была одной из двух его кузин, богатых старых дев, которые вдвоем жили в Бостоне. Он всегда боялся их, не видел и не слышал о них почти с тех пор, как окончив Гарвард, хотел занять у них денег на вторичную поездку в индейские резервации, в Северную Дакоту, и они ему отказали.

Тем не менее, в конце концов, собравшись с духом, он позвонил им по междугороднему телефону за их счет. Одна из них приняла звонок и слушала его в течение одной минуты, пока он крутился, пытаясь выяснить то, что хотел. Затем она прервала его и сказала, что она не представляет, к чему он ведет, но что бы это ни было, она не хочет об этом слушать и что если он когда-нибудь еще раз позвонит ей или ее сестре, она пожалуется на него в полицию.

Через два или три дня, лежа в постели и не в силах уснуть, он вспомнил об одной пожилой женщине, считавшейся очень богатой, которую он встретил однажды в гостях на Вашингтон-сквер и с которой вел приятную беседу об Эдгаре Аллане По. Он решил, что это она. На утро, после серии телефонных звонков он выяснил, что она давно умерла.

Следующее, что взбрело ему на ум, что это, может быть, женщина, которая заинтересовалась им после чтения моей статьи в «Профилях», и что я знаю, кто она, поэтому он пришел ко мне и просил меня назвать ее имя. Он требовал ее имя. Через много лет я чисто случайно узнал имя его благодетельницы, ходил к ней и разговаривал с ней, но тогда я не знал, кто она, и я сказал это Гульду. Он ушел, не поверив мне, и вернулся через несколько дней с длинным письмом, которое он написал этой женщине. Письмо начиналось следующим вступлением, написанным только заглавными буквами:

«ПОЛНОЕ ПОЧТИТЕЛЬНОСТИ ПОСЛАНИЕ ОТ ДЖО ГУЛЬДА К НЕИЗВЕСТНОЙ БЛАГОДЕТЕЛЬНИЦЕ (КОТОРАЯ БУДЕТ ПРЕВОЗНОСИТСЯ ПОТОМСТВОМ ЗА ЕЕ ВЕЛИКОДУШИЕ К АВТОРУ УСТНОЙ ИСТОРИИ, ОСТАНЕТСЯ ЛИ ОНА АНОНИМОМ ИЛИ НЕТ) С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ДАВАТЬ ВМЕСТО 60 ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ 720 В ГОД. ГЛАВНЫМ АРГУМЕНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО ЭТО ПОЗВОЛИТ ЕМУ УЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ И ЖИТЬ ВО ФРАНЦИИ ИЛИ ИТАЛИИ, ГДЕ ПРИ НЕБОЛЬШОМ БЛАГОРАЗУМИИ, ЭТИ ДЕНЬГИ МОГУТ СТОИТЬ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ».

Я уговаривал его порвать письмо и забыть о годовых суммах и жизни за границей, и обо всем остальном, иначе

эта женщина может прослышать, что он недоволен, это рассердит ее и она прекратит давать деньги.

Он сказал, чтобы я перестал давать ему советы, он сам знает, что делать. Затем, через мгновение, его лицо приняло страдальческое выражение и он воскликнул: «Я скорее предпочел бы узнать, кто она, чем получать эти деньги! — Он замолчал, пока снова не овладел собой. — Как бы вы себя чувствовали, — сказал он затем, — если бы вы знали, что где-то в мире существует женщина, которая настолько заботится о вас, что она не хочет, чтобы вы умерли с голоду, и в то же время по какой-то причине, не хочет иметь с вами никакого дела и даже не хочет, чтобы вы знали ее имя?» Он пристально следил за мной. — «Женщина, которая в молодости родила незаконнорожденного ребенка, возненавидела за это его отца и отказалась от этого ребенка, может вести себя так, — сказал он. — Если она состарилась, сделала богатой и всеми уважаемой и неожиданно прочла статью в «Нью-Йоркере», что ее ребенок теперь мужчина средних лет, живущий в бедности на Бауэри-стрит... — Он остановился на минуту. — Я знаю, что это звучит безумно, но когда я был маленьким, я часто представлял себе, что я усыновлен, и теперь я снова стал представлять себе то же самое»

Он оставил письмо у меня на столе и ушел. Через несколько дней вернулся, попросил письмо назад, понес его к миссис Маркье, попросил ее прочесть письмо и переслать его этой женщине. Миссис Маркье обычно была добра к Гульду, но на этот раз она говорила с ним резко, и то, что она сказала ему, по-видимому, привело его в чувство, потому что с тех пор он держал свое любопытство при себе и больше не заикался о своей благодетельнице.

В течение следующих шести месяцев, по разным причинам, я чаще был вне Нью-Йорка и не видел Гульда до декабря. В тот день я проходил мимо ресторанчика «Джефферсон» и вдруг услышал настойчивый стук металла по стеклу: я взглянул и увидел Гульда, который сидел за столиком, и глядя на меня, стучал монетой по стеклу, чтобы привлечь мое внимание. Я вошел и подсел к нему.

«Держитесь и не падайте в обморок, — сказал он, я куплю вам чашку кофе».

Это был тот самый столик, за которым мы сидели, когда я впервые разговаривал с ним. Его лицо и руки были грязными, как обычно, но у него был хороший цвет лица, глаза были ясные, и он немного прибавил в весе. Как всегда, костюм на нем был на один-два размера больше, чем надо, чьи-то обноски — костюмная рухлядь — но хорошего покроя, из дорогой материи, типа шотландской шерсти, это был хороший костюм в свое время. И даже жилет был на Гульде. Он был в шляпе с вдавленной тульей, и поля шляпы с одной стороны загибались кверху, а с другой — книзу, исключительно щегольски-залихватская шляпа, почти любой старожил Вилиджа узнал бы ее с первого взгляда — это была одна из старых шляп Е.Е. Каммингса. Я сказал Гульду, что в таком прекрасном виде я его никогда не видел. Я был поражен чувством собственного достоинства, прозвучавшим в его ответе.

«О, со мной все в порядке, — сказал он, улыбаясь самодовольно. — Все прекрасно. Сначала мне не очень нравилось в «Апартаментах Жерара, или «Апартаментах Ж», как их называют тамошние обитатели, слишком в стороне от всего, в еде слишком много крахмала и чертовы лестницы неприятны — но я привык. На самом деле, я вполне счастлив. В Вилидже я обхожу те же места, что всегда, и наскребываю пожертвования в «Фонд Джо Гульда», но это уже больше не вопрос жизни и смерти. Я даже больше не захожу к некоторым людям, которые дают по гривеннику или к тем, которые говорят: «может быть, завтра». Я ударяю по тем, в которых уверен, но и к ним я хожу теперь не так часто, как раньше. И вот, что странно. Я думал, что погибну в глазах Вилиджа, если станет известно, что у меня есть покровитель, который платит за мою комнату и стол, и я старался держать это в тайне, но не смог; я рассказал нескольким друзьям, а они — другим, и теперь один за другим они все узнали — и что бы вы думали — вместо того, чтобы уменьшить свои пожертвования или даже вовсе ничего не давать, они стали гораздо щедрее, чем раньше. Люди, которые давали мне четвертак и при этом ворчали, дают по полтиннику и даже по доллару, причем охотно. Вы знаете старое фундаментальное правило: «У кого есть — у того приумножится».

Теперь у меня в кармане иногда по три, четыре, пять, шесть, семь долларов. Я больше ни у кого не прошу сигарет, не говоря

уже о том, чтобы курить подобранные окурки; я покупаю свои собственные сигареты. Иногда я даже захожу куда-нибудь, заказываю себе спиртное и плачу за себя. И вообще я больше стал следить за собой. По утрам, обычно, если я не пил накануне, я встаю около одиннадцати, плотно завтракаю и затем иду в Публичную библиотеку читать газеты или проверить, что мне нужно, или же я иду на выставки, в галереи по Пятдесят седьмой-стрит, посмотреть, нет ли там хороших картин с обнаженными, или даже иной раз иду пешком в Метрополитен или Фрик*, или в Музей Естественной Истории, или в Музей Американских Индейцев, или же просто гуляю по улицам.

Через некоторое время я возвращаюсь в «Апартаменты Ж» и ложусь на часок, затем у меня ранний обед, и потом я сажусь в метро и еду в Вилидж. В Вилидже я провожу время до четырех утра, пока не закрываются бары и все не расходится по домам, и тогда я тоже направляюсь обратно в «Апартаменты Ж». По сравнению с тем, что было, я веду жизнь миллионера. Он промышлял мотив печальной старой песенки, которую пел Бесси Смит**, и затем пропел несколько слов: «Когда я был миллионером», — пел он своим скрипучим голосом старого янки, — «я тратил деньги, не считая...» «Конечно, — продолжал он, — одну вещь я скрываю, — это то, что я не знаю, кто мой патрон. Теперь мне наплевать, кто она, но у меня есть собственная гордость. Люди продолжают спрашивать меня, и я отвечаю, что мне запрещено говорить. Это очень известное имя, говорю я, и они знают это имя — одна из самых богатых женщин в мире. Я называю ее Мадам Х, и намекаю, что мы общаемся. Вы знаете людей богемы. Они провозглашают, что они презируют деньги, но они абсолютно теряют над собой контроль и теряют голову, как только появляется малейший намек на отдаленное указание самого мимолетного следа запаха денег.

Как только стало известно, что у меня есть покровитель, и не просто покровитель, а женщина-покровитель, и не только это, а богатая женщина-покровитель, знакомые поэты и художники подзывают меня и покупают мне спиртное, и просят рассказать Мадам Х об их работах. Я пытаюсь быть полезным, насколько могу. «Дай мне несколько твоих лучших стихов», — говорю я, если это поэт, или, — «дай мне несколько твоих лучших рисунков», — если это художник, — «и я возьму их с собой, когда в следующий раз пойду навестить Мадам Х в ее огромном доме, рядом с Парк-авеню».

Я беру стихи или рисунки в свою комнату в «Апартаментах Ж», кладу их на комод и оставляю лежать одну-две недели и потом возвращаю тому гению, который их произвел. «Мадам Х посмот-

* Частный музей западно-европейской живописи.

** Американский исполнитель блюзов.

рела твою работу и просила меня очень тебя поблагодарить за то, что ты дал ей возможность это увидеть». «Но что она сказала об этом?» — спрашивает гений. «Она абсолютно запретила мне говорить тебе, — отвечаю я, — но мы столько лет друзья, и я слишком хорошо тебя знаю и слишком тебя уважаю, чтобы врать тебе, поэтому я скажу тебе точно, что она сказала. Она сказала, что она не могла обнаружить в твоей работе ни тени таланта, и она сказала, что она думает, что было бы очень неправильно с ее стороны хоть как-то поощрить тебя».

Глаза Гульда сверкнули, и он хмыкнул. «О! — сказал он, — я показал некоторому числу людей их место. Я таким образом расквитался со многими».

Я почувствовал некоторую неприязнь к Гульду, не потому что он расквитался с кем-то — это как раз меня не тронуло; я уважаю реванш — а из-за его самодовольства, и я задал ему зловерный вопрос: «Как продвигается ваша Устная История?» — спросил я.

«Прекрасно! — сказал он, не моргнув глазом. — Я очень продвинулся в ней. — Его папка была сзади него, на стуле, и он похлопал по ней. — За последнее время я добавил к ней огромное количество слов. Она растет не по дням, а по часам».

Шло время, Гульд все более привыкал к тому, что за его комнату и стол платит неизвестная личность. Он относился к этому как к чему-то само собой разумеющемуся и смотрел на это как на постоянное условие.

Однажды утром, в ноябре 1947-го года, к тому времени он уже прожил в «Апартаментах Жерара» около трех с половиной лет, он вдруг позвонил мне, и в тот момент, как я услышал его голос, я понял, что что-то случилось.

«Миссис Маркье позвонила мне вчера и просила немедленно прийти к ней в галерею, — сказал он. — Я пришел, и она сказала, что несколько недель назад она говорила с Мадам Х, и та подумывает о прекращении выплаты мне субсидии, но что мужчина и женщина, которых знает миссис Маркье и которые старые друзья Мадам Х, пытались уговорить ее продолжать помогать мне. Миссис Маркье не хотела говорить мне об этом, пока не узнает точно, что решила Мадам Х. И вчера она выяснила.

Мадам Х написала ей, что она выслала чек на декабрь, но что это последний. — Гульд затих на мгновение, и я услышал глубокий вздох. — Я спросил миссис Маркье, почему Мадам Х отвернулась от меня. Я умолял ее сказать мне. Она ответила, что она просто не знает. — Он помолчал опять. — Не знать, кто она была, было достаточно неприятно, — сказал он, — но не знать, почему она отвернулась от меня, совсем ужасно. — Он опять замолчал. — Это худшая новость за всю мою жизнь, — сказал он. — У меня ничего не держится в желудке, с тех пор как я услышал это».

Гульд звучал убито, возмущенно, очень несчастно и униженно. Было что-то в его голосе, паника, которая передалась и мне, и я почувствовал себя нехорошо.

Во второй половине дня я взял такси и поехал в «Апартаменты Жерара». Служащий, который пылесосил ковер в вестибюле, сказал, что Гульд выходил, но что, может быть, он уже вернулся. «Поднимитесь и посмотрите, — сказал он, — его комната открыта, он никогда не запирает». Гульда не было. Стоя в дверях и глядя в его комнату, я заметил несколько тетрадей на комод и вошел взглянуть на них. Там было пять тетрадей. Я позволил себе открыть первую страницу лежащей сверху. И увидел знакомое название: «СМЕРТЬ ДОКТОРА КЛАРКА СТОРЕРА ГУЛЬДА. ГЛАВА ИЗ УСТНОЙ ИСТОРИИ ДЖО ГУЛЬДА». Я открыл вторую. Она называлась: «ОПАСНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОМИДОРОВ. ГЛАВА ИЗ УСТНОЙ ИСТОРИИ ДЖО ГУЛЬДА». Я открыл третью. Она называлась: «СМЕРТЬ ДОКТОРА КЛАРКА СТОРЕРА ГУЛЬДА. ГЛАВА ИЗ УСТНОЙ ИСТОРИИ ДЖО ГУЛЬДА». Я открыл четвертую. Она называлась: «СМЕРТЬ ДОКТОРА КЛАРКА СТОРЕРА ГУЛЬДА. ГЛАВА ИЗ УСТНОЙ ИСТОРИИ ДЖО ГУЛЬДА». Я открыл пятую. Она называлась: «СМЕРТЬ ДОКТОРА КЛАРКА СТОРЕРА ГУЛЬДА. ГЛАВА ИЗ УСТНОЙ ИСТОРИИ ДЖО ГУЛЬДА». Я положил тетради в том же порядке, в каком они лежали, и вышел из комнаты. «Да простит его Господь, — сказал я, — да простит нас всех».

Когда в конце декабря субсидия Гульда окончилась, он сказал Жерару, что хочет остаться в «Апартаментах Жера-

ра». Он откажется от стола, по крайней мере, на время, но направит свои усилия на то, чтобы сохранить за собой комнату.

Было очевидно, что он надеялся удвоить свои усилия по сбору пожертвований в «Фонд Джо Гульда». Однако он забыл старое фундаментальное правило, которое упомянул однажды: «У кого есть — у того приумножится», и совершил ошибку, сказав своим друзьям, что потерял патрона. Соответственно, многие, испугавшись, что теперь он будет слишком зависеть от них, уменьшили свои жертвования. Очень скоро ему стало трудно набирать сумму в три доллара, чтобы платить еженедельную ренту, а Жерар не разрешил ему платить за ночь отдельно.

«Вы наказываете меня, потому что я не живу так, как живут другие люди, — сказал он Жерару. — Большинство людей живет на недельной оплате или на месячной, я же живу на дневной, а иногда даже на почасовой».

«Я все это знаю и хотел бы помочь тебе, — ответил Жерар, — но «Апартаменты Жерара» — не ночлежка».

К концу февраля Гульд задолжал Жерару. Кроме того, у него несколько раз загоралась постель, потому что он засыпал с сигаретой. В марте он опять устроил пожар, и Жерар, воспользовавшись этим, попросил его съехать.

В то время в районе Десятой-авеню и Сорок второй-стрит было несколько очень дешевых гостиниц. В одной из них, в «Уатсон», в доме номер 583, по Десятой-авеню, можно было снимать комнату, то есть маленький кубик, меблированный металлической кроватью, за тридцать пять центов в ночь, и Гульд начал ее снимать.

Однажды ночью, выйдя из бара в начале Вилиджа и чувствуя себя слишком усталым, чтобы идти к метро и ехать в «Уатсон», Гульд пошел на Бауэри-стрит и получил койку в ночлежке. Таким образом он обнаружил себя в том же точно положении, в каком был в мае 1944-го года. На следующий день он решил, что он будет оставаться в ночлежках на Бауэри-стрит, поскольку это так близко от Вилиджа, и с этого момента почти каждый его шаг был шагом вниз.

Всем, кто знал Гульда все эти годы, было очевидно, что он изменился.

«Что с тобой происходит, Джо? — услышал я, как его как-то ночью в «Гуди» спросил один из представителей местной богемы. — Ты не выглядишь самим собой». «Я и не являюсь самим собой, — ответил он. — Я никогда и не был самим с собой».

Как-то вечером я вошел поужинать в один ресторанчик в Вилидже, под названием «Чамли». Я сидел в зале и глядел сквозь арку в бар в соседней комнате, там была толпа шумных, смеющихся, слишком возбужденных мужчин и женщин, сидящих или же стоящих около стойки, и в конце стойки я заметил мрачное бородатое лицо Гульда. Он стоял один, держа пиво и наблюдая других, на нем был рваный костюм и пальто, словно из старой собачьей подстилки. Он был согнутым и выглядел поразительно чужим среди всех остальных. Он выглядел, как дух Джо Гульда, навесивший с того света бар «Чамли». Он выглядел, как зомби.

Теперь ему требовалось все больше и больше времени, чтобы приходить в себя после выпивки. Он постоянно оставался в состоянии легкого опьянения. В этом состоянии он легко раздражался, и его речь становилась все более бессвязной. Он стал отпускать злобные или неприятно откровенные замечания в адрес своих старых друзей, и стал говорить людям (перед которыми всегда притворялся, что они ему нравились), что он, на самом деле, думал о них.

Однажды, в кафетерии, уставившись через стол на человека, с которым он был знаком с молодых лет в Вилидже, он сказал: «Ты давно протитуйруешь свой талант».

«Ты делаешься все хуже и хуже, — сказал он Максвеллу Боденгейму. — Двадцать пять лет назад ты был поэтом лучше, чем сейчас, а ведь и тогда ты ни к черту не годился».

В другой раз он сказал Боденгейму, что тот вообще никакой не поэт. «Ты только притворяешься поэтом, — сказал он. — Жеманный рифмоплет. Ты такой микроскопи-

ческий поэт, что тебя можно разглядеть только в лупу. И ты пугающе необразован. Ты не умеешь расставить знаки препинания в предложении, и все, что ты в жизни прочел — это Флойда Делла*, Этель М. Делл** и Рубайят***».

В те годы я обычно ездил домой в Вилидж на автобусе, идущем по Пятой-авеню. Я сходил на своей остановке на Десятой-стрит около половины восьмого. Гульд знал это и обычно один раз в неделю поджидал меня. Когда я сходил с автобуса, он выходил из темноты портика стоящей на углу церкви Вознесения и устремлялся мне навстречу. Он шел со мной некоторое время, я давал пожертвование, и после этого он исчезал в ночи.

В середине декабря этого года я вдруг обнаружил, что уже несколько недель не видел Гульда на автобусной остановке, но не придавал этому значения. Это не было необычным для Гульда исчезать из Вилиджа на несколько дней или недель, а то и месяцев и затем неожиданно появляться и давать какие-то странные объяснения своего отсутствия.

«Я гулял по побережью со старой графиней, — объяснил он однажды свое отсутствие. — Мы с графиней провели три недели, изучая морских чаек».

В другой раз, когда его не было почти все лето, он говорил людям, что он плавал на яхте. «На яхте Джей. Пи. Моргана****», — сказал он.

В январе 1953-го года я был в гостях у одного психиатра, которого я знал еще с тех пор, когда молодым репортером писал заметки о больнице Бельвью и о ее приемном покое. Среди гостей была одна женщина-психиатр, работающая в государственной больнице Пилгрим на Лонг-Айленде. Она сказала, что давно уже собиралась мне что-то сообщить. «У нас в больнице один ваш старый друг, — сказала она. — Человек, о котором вы писали, автор «Устной истории мира», или как там он называет ее, Джо Гульд».

* Американский писатель.

** Английская писательница, с 1911 г. и до смерти писала по роману в год.

*** Цикл четверостиший Омара Хайяма.

**** Американский финансист, магнат и филантроп.

Она сказала, что в середине ноября Гульд как-то днем упал на Бауэри-стрит, и что его подобрала «Скорая помощь» из больницы Колумбус. В Колумбусе поставили диагноз, что он страдает «смещением понятий и дезориентацией», и так как у них нет психиатрического отделения, его перевели в психиатрическое отделение Бельвью. В Бельвью продержали его под наблюдением примерно до Дня Благодарения и затем переправили в государственную больницу Пилгрим.

«Что с ним? — спросил я, — что за болезнь?»

«Ничего странного или необычного, — сказала она, — артериосклероз и общее одряхление организма. То же самое, что будет с многими из нас, если мы проживем достаточно долго. Только с ним это случилось слишком рано — ему только шестьдесят три».

Я сказал, что хотел бы его навестить.

«На нашем месте я бы этого не делала, — сказала она. — Он сейчас в состоянии такого подозрения ко всем, что это может принести ему больше вреда, чем пользы. Он, вероятно, даже не узнает вас. И если узнает, попытка говорить с вами измучит его. На самом деле, если вы хотите принести ему пользу, не говорите его друзьям в Вилидже, где он».

Я решил, что последую ее совету и буду держать при себе все, что знаю о Гульде.

Со временем я рассказал некоторым людям, что Гульд в больнице Пилгрим. Я сказал им по секрету. Первый человек, которому я сказал, был старый друг Гульда, по имени Эдуард Готтлиб, который был главным редактором «Лонг-Айленд пресс», ежедневной газеты, выходящей в Квинсе, на Джэмэйке. В юности Готтлиб жил в Вилидже, писал стихи для маленьких журнальчиков и проводил дни в обществе людей богемы, среди которых познакомился с Гульдом. После того, как он понял, что он не поэт и никогда им не будет, он сделался газетчиком. Он проработал в «Пресс» двадцать пять лет, начав с репортера и кончив главным редактором, и все эти годы раз в месяц, а иногда и два, Гульд садился в метро, ехал на Джэмэйку, заходил к нему в кабинет и получал от него пожертвование. Я рассказал Готтлибу по двум причинам. Он звонил мне несколько раз, спрашивал о Гульде, и в его голосе была действительная тревога, так что я чувствовал себя виноватым, что не говорю ему. Но главная причина, по

которой я решил рассказать ему — это то, что я знал о его осведомленности относительно государственных психиатрических больниц.

В 1943-м году его газета произвела расследование государственной больницы Гридмур в Квинсе, которое привело к улучшению условий не только в Гридмуре, но и в других государственных больницах, включая и Пилгрим, и губернатор Дьюи назначил его членом Коллегии наблюдателей в Гридмуре.

Я однажды беседовал с ним об этом расследовании и знал, что у него много друзей среди медицинского персонала и администрации в Пилгриме. Я подумал, что он может оказаться полезен Гульду.

Готтлиб сказал, что он поговорит со своими друзьями в Пилгриме и сделает для Гульда все возможное. «Судя по всему, — сказал он, — боюсь, не очень-то много можно сделать. Боюсь, что бедняга Джо собрался отдать концы».

После этого, время от времени, Готтлиб звонил мне и сообщал новости о Гульде. «Худший симптом Джо — его апатия, — сказал он однажды. — Он, главным образом, сидит, уставившись в одну точку. Однако время от времени, доктора говорят, что-то происходит у него в уме, на лице его появляется улыбка, он поднимается и начинает носиться по палате, машет вверх и вниз руками и производит странные, скрипучие звуки, пока не доводит себя до изнеможения. Кажется, что он хочет сказать что-то этими звуками. Врачи, сестры и больные не понимают, конечно, что он делает — для них это полнейшая мистика — но я-то знаю, и я уверен, что вы знаете тоже».

В воскресенье, 18-го августа 1957-го года, около одиннадцати часов вечера, мне позвонил Готтлиб и сказал, что ему только что сообщили, что умер Гульд. Мы поговорили несколько минут о том, как все это печально, и затем я спросил, не оставил ли Гульд каких-либо бумаг.

«Нет, никаких. Как сказал человек из больницы: «Ни клочка». Я надеялся, что он оставит. Я надеялся, в частности, что он оставит какие-нибудь инструкции относительно того, что он хочет, чтобы было сделано с его Устной Историей. Он когда-то говорил, что он хочет, чтобы две трети были переданы в библиотеку Гарварда и одна треть — в библиотеку Смитсонов, но мне не кажется правиль-

ным разделять ее подобным образом. Когда ученые начнут пользоваться ею как источником информации, это будет большим неудобством для них; сначала ехать в Кембридж смотреть одну часть, потом в Вашингтон — смотреть другую. Может быть, какая-то из этих библиотек сможет преодолеть это препятствие и получить всю работу целиком. Кстати, где находится Устная История?»

Я сказал, что не знаю.

В голосе Готтлиба зазвучала тревога. «Я был абсолютно уверен, что вы знаете, — сказал он. — Я был абсолютно уверен, что Джо сказал вам».

Я повторил, что я не знаю, где Устная История, и что я не знаю никого, кто бы знал.

«Ну что ж, — сказал Готтлиб, — мы должны найти ее. Мы должны начать звонить тем людям, которые знали его лучше всех, назначить собрание, выбрать комитет и начать немедленно действовать. Возможно, что она разбросана по разным местам. Часть ее, возможно, все еще хранится в подвале, на ферме около Хантингтона, куда он отвез ее во время войны — в этом каменном подвале, о котором он всегда говорил, подвале на ферме с утками — и какая-то часть, может быть, хранится в студиях его друзей, в Вилидж, а части ее могут храниться в кладовых, в тех отелях и ночлежках, в которых он жил. Признаюсь, я не представляю, с чего начать. Первое, что нам надо сделать — это составить список адресов, где он жил. Может быть, вы бы начали немедленно составлять этот список? Вы ведь поможете с этим, не правда ли? Вы войдете в комитет?»

Я не знал, что сказать. Готтлиб был энергичным человеком, таким, который доводит начатое дело до конца, и по его тону было ясно, что завтра же, с раннего утра, он начнет организовывать комитет и что очень скоро члены комитета будут рыскать по всем фермерским домам, на всем Лонг-Айленде, и по всем студиям, в Вилидж, и по всем ночлежным домам, по Бауэри-стрит. Он был бы избавлен от многих забот, расскажи я ему тогда же, что знал об Устной Истории. Я бы сохранил его самого и его комитет от преследования химеры, но одна из нескольких

вещей, которые я усвоил за свою жизнь, — это то, что всему на свете есть свое время и место, а я не думал, что в тот момент было время и место сказать одному из вернейших друзей Гульда, что я не верю в существование Устной Истории.

Джо Гульд еще не был похоронен в могиле, он, так сказать, еще не остыл, и было не время раскрывать его секрет. Секрет должен был сохраняться. Пусть они ищут Устную Историю. В конце концов, думал я, может быть, я ошибаюсь. Чем черт не шутит, — и эта мысль заставила меня улыбнуться — может, они найдут ее.

Готтлиб повторил свой вопрос, на этот раз уже нетерпеливо: «Вы войдете в комитет, не так ли?»

«Да, — ответил я, продолжая играть роль, которую взял на себя в тот день, когда открыл, что Устной Истории не существует, — роль, от которой я освобождаюсь только теперь, — конечно, войду».

(1964)



Василий АГАФОНОВ

МОСКОВСКИЕ КАРТИНКИ — ГОД 1997

Москва оккупирована. Банками. Они взымают с каждого перекрестка. «Славянский», «Российский», «Столичный», «Московский»... И в каждой щели «Менатеп». Существует банк «Ингушский», впору ожидать «Чеченский». Но в этом, кажется, нет нужды: чеченские деньги везде и нигде. Назойлив, вездесущ «Российский Кредит». Его призывы в извивах исламской зелени. Уж не намек ли, что российские деньги субсидируют тайное пламя Газавата? Широко раскинувшись от левого плеча Министерства Иностранных Дел, он угрюмой совой нависнул над Садовым Кольцом. «Обмен валюты». «Обмен валюты». «Обмен валюты». Глаз устаёт и невольно прочитывает истину: «Обман валюты». Бушует и табачная индустрия. На всю ширь улиц разворачивает пальмы и бассейны: «Войди в светлый мир КЕНТ». Более привычная россиянам «ЯВА» уверяет скромно и настойчиво: «Всегда любима, всегда с тобой». Чуть

ли не 50% американских сигарет теперь потребляется в России. «Домовой», «Интим», «Глазурь» и вдруг разухабистый плод какой-нибудь воровской малины: торговый дом «Витек».

Ночь проходит достаточно тихо: ни тебе стрельбы, ни милицейских завывов. Но свою криминальную норму в пять-шесть трупов Москва поставляет исправно. И не обязательно ночью. Накануне при свете дня, на территории учреждения военно-морской связи «славяне» положили шестерых «азеров». Все убиты из почитаемого у профессионалов пистолета ТТ. Выстрелом в голову. Четверо — в историческом домике Папанина. А в Подмоскovie несколько 16-летних оболтусов спалили 17 дач. Рубили топором холодильники, крушили мебель. Почему? Объяснить не смогли: да так как-то все... Но в ежедневном мрачном абсурде случается и забавное. Какого-то финна с ящиком водки постовые не пускали на родину. Финн плюнул, устроился в местном лесу, зажег костер. Неделю пропивал он свой ящик в 24 бутылки, после чего налегке и весело отправился восвояси.

...Утро столицы. Граждане выгуливают ротвейлеров и афганцев. Собаки и хозяева уверены, хорошо упитаны, забиты в кожу. Я тоже в коже вороной. По одежде и по роже всем родной. Сизый лед тяжелой поступью круша, на Тверскую выхожу я неспеша...

«Академическая книга». Натурально, требует посещения. И прямо с полки глядит на меня «Хазарский словарь». Первоначальная мысль — надо же, до каких изысков доехало. Но «Хазарский словарь» оказался знаменитым лингвистическим трюком, давно и прочно завоевавшим мировое признание. И тут же мистически-лирически-порнографическая пестреть, хохломские гуси-лебеди, лаковые лики Палеха. Та же картина плюс Гжель, плюс турецкие ятаганы «золотой» осечки в магазине «Глобус» на Мясницкой, бывшей Кирова. Плюс какие-то яйца зелено-го камня.

Все смешалось в российском коммерческом винегрете и Слово, Дело, и поделки. Квадратные метры для многих учреждений культуры стали единственным обо-

ротным капиталом, «последней надеждой выжить», а коммерческие «структуры» потребляют эту разменную монету выживания с удовольствием и в количествах неограниченных.

Так на что же похожа Москва? Популярный российский шоумен Юлий Гусман, с явным ожиданием дифирамбов бешеному строительству вовсю обновляющейся столицы, спрашивает пожилого зека:

— Вы сидели. Вас не было в Москве 15 лет. Как по вашему она изменилась, что напоминает?

Зек почти не думает и мгновенно отвечает:

— Лагерь. На каждом шагу мусора!

Гусман в шоке и быстро переводит разговор на другую тему. Но милиции и всякого рода военизированных образований в Москве действительно много. На рынках, вокзалах, у станций метро, в неожиданных тупиках вас встречают люди с автоматами, а в припаркованных машинах сидит задумчивый народ в штатском. Паспорт — непременный атрибут пешехода и водителя. Вы предъявляете его в переулке, на улице, в магазине... или в милиции, куда попадать не рекомендуется.

В силу некоторых обстоятельств, я и там побывал. Рядовое отделение, розовые юнцы с автоматами, все раскопано, полы сняты, хлюпающие доски, зеки в наколках, волочащие мусор.

— Вы, что же, американцы, с этим НАТО совсем нас разорить хотите? — обращается ко мне плечистый майор. И тут же без перехода.

— А как там в Америке? Да, небось нашего бардака там нет.

— В Америке, — утешал я его, — как в Греции: есть все.

Вездесущий В. Познер, регулярно выступающий на канале, контролируемом Березовским (и довольно забавно называемом «Общественным Российским Телевидением») изобрел передачу «Человек в маске». Однажды я ее просмотрел. Герой выступления — милиционер. Маска плотно закрывает его лицо. Специальное приспособление изменяет голос. Рассказывал он вещи несусветные. Милиция убивает, насилует одиноких женщин, спаивая их

клофелином, сидит на зарплате у мафиозных «группировок». Забирают только мелкую шуштуру, не имеющую возможности откупиться.

В дежурке пьют, режутся в карты, игнорируя отчаянные призывы сограждан о помощи. Подавляющее большинство милиционеров не москвичи и москвичей ненавидят люто. Герой передачи несколько раз менял места службы, но везде наблюдал ту же наглую беспредельную уголовщину. Тусклым голосом призывал он граждан, особенно женщин, быть осторожнее и по возможности милицию избегать. А как ее избежишь?

Вышел я на Малую Бронную. Зашел в магазин «Мое удовольствие». Никакого удовольствия не получил. У новоявленного памятника Есенину толпились нарядные школьницы. Явились коляски с младенцами. Их воркующие мамы стайками распространились вдоль чугунных скамеек. И эти мирные картины приятно грели мое несколько ожесточенное сердце. Тверская тоже пестрела оживленным народом. В ее зеркальных витринах гуляло солнце, сверкая в невиданных хрусталях и камнях. Толпа текла к Красной площади. Я не стал ей противиться. Многоотонный апофеоз маршалу Жукову восторгов не вызвал. В этой имперской глыбе чувствовалось страстное желание показать класс. Но класс этот не поднимался выше третьего. Удивительная страна, всякий раз думал я, наблюдая срежиссированные приливы народного восторга. Хвастливая до смешного. Сентиментальная до слезливости. Дифирамбы неистовы. Достоинства баснословны. Истинные добродетели не узнаны.

— Да, раньше проще было, — вздыхал один мой знакомец. — Раньше как? Клали в кормушку 120 рублей, приливали портвейна, и People крутил гайки. Куклы наверху махали руками, а People внизу делал самолеты. Самолет полетел, упал. Все заняты.

В Москве идет бешеное неудержимое строительство. Но когда приглядишься внимательней, видно, что это строительство сплошь и рядом осуществляется в старых стенах. Стихия необузданного присвоения бывших дворянских гнезд, купеческих хором и т. п. Вот и блистают они

зеркальными окнами и свежей лепниной на фоне всеобщей недоплаты и озабоченности.

В Москве теперь не просто ремонтируют, а осуществляют «евроремонт». (Так ныне именуют исполнение пожеланий заказчика.) В связи с этим требуются и предлагаются «евродвери», «евроокна» и прочие детали «евростроительства». А у роскошных экипажей, забивших грязные тротуары, уверенная поступь отнюдь не «евро» крутых. И уж кстати о роскошных экипажах. Статистика уверяет, что дилеры продают около пятисот Бэ-эм-вэ, а регистрируется порядка десяти тысяч. Впрочем, все эти прописи и воровская статистика бубнится устало и незаинтересованно.

Снег еще лежит и приятель предлагает откатать денек на горных лыжах. Начало апреля. Едем на станцию Турист, подмосковные Альпы, где верхний бугор в 250 метров. Приятель мой физик, зарплата триста тысяч. В институте, со смехом говорит он, объявлен конкурс на замещение должности завлаба. Требуемая квалификация — доктор физмат наук, зарплата — 450 тысяч. (Уборщица, между прочим, получает минимум 800 тысяч.)

— Как же вы живете на такую зарплату?

— Да мы не живем. Крутимся. К тому же ее и не платят.

— А что означает крутимся?

— Ну, вот сейчас приедем мы на подъемник. Ключи у меня. Всякий желающий им воспользоваться должен отстегнуть мне 20—30 тысяч.

Электричка забита народом. Рожи откровенно уголовные: пьют, режутся в карты. На них никто не обращает внимания. Вообще, не заметно в народе панического уголовного страха. То ли притерпелись, то ли в насущных заботах жизни настолько устали, что на все наплевать.

В проходе пожилые тетки выкликают газеты и рецепты изготовления наливки. За окном снега, ржавое железо, заборы, новые кирпичные дачи, старый мусор. От станции мы должны двинуться местным автобусом. Автобус имеется, но вечно стоит или с проколотыми шинами, или с неисправным мотором, или просто без всякой причины. Местное население занимается извозом. Несколько раз-

болтанных «Жигулей-Москвичей» ожидают седоков. Торг крут и недолог: «двадцать тысяч с рыла». Признаться, эта скачка по ледяной дороге надолго останется у меня в памяти. Все помыслы седока — живым добраться до места, кучера — лишний раз обернуться. Деревушка невелика. Там и сям, в разных стадиях продвижения, замершее домостроительство. Продираемся к пожилому вагончику. Склон завален снегом. Надеваю туземные лыжи, чтобы притоптать этот склон. Приятель мой запускает подъемник. Это проволока, свободно бегущая по желобковым колесам. За нее надлежит цепляться бугелем, специальным крючком на брезентовой тяге. Когда несешься со склона, всю эту сбрую обматываешь вокруг себя. Подъем местами довольно крут и, если проволока сваливается с колеса, то вы валитесь в овраг.

Обратно на станцию снова добирались с помощью местного извоза. День угасал, становилось довольно холодно. Взяв бутылку «Полынной», свирепого «володимирского» продукта, мы устроились у ларька «Аленушка». Там же и закусывали шоколадкой «Аленушка», изготовленной в Германии.

В сумерках, в расслаблении и тепле возвращения, под сладость немецкого шоколада и уютный перестук электрички, мы добирали «Полынную». Случайно я поднял глаза и увидел женщину с очень русским, очень милым и усталым лицом. И внезапно меня охватила такая жгучая любовь и жалость к России! Душа моя распахнулась и полетела... к роковой ее неустроенности, к неизбывной судьбе...

— Что вы кушаете?

— Гамбургер.

— С сыром?

— С сыром.

Но «Мак» уже пройденный этап. Меня водили в одно очень модное заведение напротив храма Христа Спасителя. Золотые его купола существенно повышают стоимость сервиса. Помимо разноцветного спиртного, блинов и хрестоматийной икры, было много стекла, пальм и служителей в красном, охотно откликавшихся на призыв «Прохор».

Оставив в заведении тысячу баксов, хозяева застолья увлекли меня в ночной клуб, расположенный в одном из крыльев МХАТа. Здесь, между баром, выполненным в кокетливой манере резной беседки, гигантским телевизором, игральными автоматами и массивными бильярдными столами, я и был предоставлен самому себе. Молодые люди, сплошь меня окружавшие, чувствовали себя вполне по-домашнему. Неторопливо перемешивая коктейли, гоняли костяные шары. Как мне объяснили, в клубе варились и обсуждались «дела». Лишний шум его членам совсем не нужен. Равно как и лишние люди. На всякий случай решил я покинуть интимные кулуары, поскольку был я безусловно «лишним».

Время от времени посещаю дом графа Ростова на Поварской (то бишь «Дом Литератора»). Вечер. Вспоминают Мастера и его Маргариту. Малый зал полон. На сцене изможденный профиль Михаила Афанасьевича Булгакова. Шелест воспоминаний, пожилая поэтесса Ногтева и неожиданный рассказ о завещании. Умирая, Булгаков взял с жены слово: чего бы это ей ни стоило, «Мастер и Маргарита» должна быть опубликована. Часть гонорара за публикацию он завещал первому человеку, придущему на его могилу. Елена Сергеевна добросовестно отдежурила на кладбище и «засекла» некоего инженера из Ленинграда. Ему и был вручен гонорар. На деньги эти инженер купил старый «Паккард», восстановил его и назвал «Михаил Булгаков».

Вдруг обнаружилось, что я иду в театр Маяковского на премьеру Людмилы Гурченко. Стареющая звезда решила показать себя в какой-то заплесневелой пьесе Сомерсета Моэма, для чего пьеса и была срочно музыкально разработана.

Билеты, несмотря на стоимость от 30 до 150 тысяч, были мгновенно раскуплены. Гурченко любят. Подходя к театру, я заметил интригующую вывеску: «Книги — гравюры, 20 метров», и указующая стрела. Время у меня еще было и я соблазнился вывеской. Стрелка ныряет в развороченную подвальную лестницу. Спускаюсь в эту преисподнюю, переступаю трубы, тяжеленные арки, обнажен-

ный и битый кирпич. Под арками резные шкафы с книгами. На столах грудой гравюры. Да, говорю, помещение ваше впечатляет. А как же, с гордостью и вызовом отвечает мне владелец.

Перебираю стопку гравюр. Это в основном иллюстрации, выданные из старых книг. Все-таки лихость русского предпринимательства поражает. Делать здесь явно нечего, и я продолжаю свой путь к театру. Театр полон. Очередь в гардероб чуть ли не в полчаса. Некто хмурый, мясистый, с пачкой зеленых и местных банкнот оттирает меня плечом. В руках его громадный в целлофане букет роз. Видно, почитатель. Наконец бинокли розданы, верхнее платье устроено и можно проследовать в кресло. Начинается действие. Невероятно манерные, в шифон закрученные «леди» томно обсуждают любовников. Пять минут, десять, пятнадцать... Где ж героиня? Но вот зал взрывается кликами, водопадом оваций. Бенефициантка вздымает руки и поощрительно выстукивает каблукками. Бедный Моэм. Я тоже бедный. Мне нестерпимо скучно. Гурченко безусловно талантлива, но ведь и время беспощадно. Тихо выскальзываю в пустое фойе. Вот где истинная благодать! Что, не нравится? спрашивает пожилая билетерша. Вы мне тогда билетик верните, я своего родственника проведу.

В Москве существует частный музей современного еврейского искусства: живопись, графика, культовые предметы. Располагается он в квартире владельца, собирателя, поэта и песенника Александра Фильцера. Собрание насчитывает более пятисот единиц хранения. Для пополнения коллекции владелец регулярно обходит многочисленные антикварные магазины. Однажды по моей просьбе берет и меня с собой. И вот мы в центре антиквариата, на Старом Арбате. Витрины перегружены фасонистым серебром и ювелирными изделиями наших бабушек. Стены не вмещают икон и живопись. Углы выгибаются позлащенной мебелью. Где же «Новые русские»? Куда они все запропастились? Когда-то здесь, у лелеемой старины, часто сталкивались на охоте секретарь Союза писателей, гимнист, «Дядя Степа» Михалков и «портре-

тист всех времен и народов», академик (да кажется уже и президент) Илья Глазунов.

Наши цели, не говоря о возможностях, много скромнее: Фильцер ищет всего лишь субботний сосуд для вина. Обсуждается и возможность пристроить старинный резной сундучок. Продавцы-молодцы — все, как один: изящны, лощены, пресыщены. Нам услужает Михаил Юрьевич. (Как выяснилось, не поэт.) Сундучок сходу отвергается, не товар. А сосуды пожалуйста. Сосуды предъявлены и тщательно осмотрены. Михаил Юрьевич открывает лондонский каталог. Нет, вздыхает Фильцер, неподъемно. Вот если сдать сундучок! И мы идем в снисходительно указанное и скромное антикварное заведение.

Кудаа? — встает монументальный страж. Да вот сундучок... Ааа, ну проходите! Весь антикварный бизнес существует под строгой протекцией людей в милицейской форме. Скучая, сидят они при входе, вздымаются на дыбы и, получив одобрение хозяев, вяло машут разрешающей рукой. Идем в сиреневую мглу пузатых бюро и резных шифоньеров. Дородная Ирина Ивановна (о чем сообщала карточка на просторах ее груди) решает кроссворд, склонившись над газетой «Мегаполис экспресс».

— Вот сундучок, — выступает вперед Фильцер, выворачивая его из венчальных тряпок. Ирина Ивановна, глянув косвенно: «Нет, не надобно. Своих девать некуда».

— Ну хотя бы тысяч двести, — тянет Фильцер.

— Полгода лежать будет. У нас их пяток, и не вашему чета.

— А что вы ищете? Какое слово? — оживляется Фильцер. — И как вообще можно читать такую дрянь как «Мегаполис экспресс»?

— Идите, идите, — наступает Ирина Ивановна. И мы плывем к выходу.

— Дрянь конечно, — согласно несется нам в спину, — но хоть кроссворды интересные.

Если бросить рассеянный взгляд на ларьки с прессой, то покажется, что Москва уже догнала Манхэттен. По части безудержной лихости, горластости, наглого панибратства лидирует «МК», то бишь «Московский комсомо-

лец» Павла Гусева. Кроме дешевого политического портрета или текущего комментария, все его пространство отдано коммерции и, помогающей ее перевариванию, «желтизне» (секс, порно, сплетни).

Средства массовой информации заметно лишились самой информации, потускнели, безошибочно ассоциируются с именами своих хозяев — все тех же гусинских, березовских, алекперовых и т.п. и «Дубовой мебелью из Фламандии». В утешение и развлечение — генералы, со смаком играющие в евреев: еврей Ельцин, еврей Родионов, еврей Солженицын...

В воскресенье столица пустынна. На Новом Арбате в парадных магазинах, перегруженных когда-то вождельными хрустальными, Гжелью, Кубачинским серебром, уже мало кого встретишь. Похоже, что идет вытеснение коренных обитателей. Пенсионеры не имеют средств, сдают квартиры и уезжают в деревню. Москва наводнена «инородцами». Остановил с десятка машин. Никто не знает где площадь Восстания.

...Но вот на экранах ТВ засветилось явление в Думе Рэма Вяхирева, руководителя Газпрома. Маленький номенклатурный человек, с красной физиономией и двойным подбородком, жаловался на «происки ЦРУ» и Всемирного Банка в деле расчленения замечательной национальной монополии. Сорвал аплодисменты. Газпром, поставляя одну треть всемирной добычи газа, должен в казну 17 триллионов. Сама казна имеет в нем 40% долю, о которой нисколько не заботится. Вольно или невольно телевидение все же дает почувствовать некоторые аспекты российской действительности, будь то организованно-полированный быт генерала Громова, труп женщины, сожженной в позе любви маньяком из Самары или грозная статистика, приводимая министром здравоохранения. Статистика впечатляет: 50% юношей не способны к деторождению, возрастной рубеж наркоманов опустился до 12 лет, нация не воспроизводит самое себя, дети в забро-се. Разговор с восьмилетним мальчуганом.

— Ты в школу ходишь?

— Да она закрыта.

— А почему ты не дома?

— Да там мамка пьет. И хлеб отбирает...

Но не все так скверно в России. На вопрос о том, что же самое главное в жизни, Дмитрий Шостакович как-то отвечал: Мудрость. Любовь. Творчество. Смерть. Бессмертье. Так в чем же надежда? Может в Творчестве? В той силе, которая заставляет нищую интеллигенцию до отказа заполнять концертные и лекционные залы? В Мудрости? В той глубокой искренности, которую излучает, скажем, Сергей Юрский, грустно констатируя, что «вместе с Цензурой мы уничтожили и Редактуру». Что наше время — время «дутых, тусовочных фигур». Что «за тусовочное присутствие человек получает все, а за невероятные достижения — ничего». А может спасение просто в Любви?

...Вечер Алексея Баталова. Баталов, почти семидесятилетний, обаятелен, лучезарен. Лица молодых женщин в зале, девушек, старух умиленно ожидающие. С непередаваемой интонацией Баталов вспоминает свой дом, постоянно присутствующих Ахматову, Раневскую, Пастернака... Открытый дом, где в один из дней он заваривал чай тридцать два раза. Дом, где великолепная Фаина Раневская могла произнести фразу: «Я так долго живу на свете, что еще помню порядочных людей». Он вспоминает войну и себя, совсем юного, выступающего в госпитале среди тяжелораненых. Выступающего и пронзительно понимающего, что он стоит там только потому, что «кто-то отдал за него свои ноги. Зал плачет, зал улыбается. На сцену летят цветы.

Вы самый любимый герой женщин России, декларирует зал. Баталов поднимает руки, будто защищаясь и, в то же время, обнимая этот шквал любви...

— Милые, милые. Вы теперь идите, а я вам буду читать стихи...

Так в чем же судьба России? В Смерти, Бессмертии, Любви?

ность, употребляя такие выражения, как «Я не в курсе» вместо того, чтобы просто сказать «Я не знаю» или «Вы не подскажете, как пройти» туда-то и туда-то, или «Алло, вас беспокоит Валентин». Дурной стиль тоже свидетельство оскудения.

Оскудение проявляется среди прочего в огрублении и обыностранщивании. К огрублению отнесу прежде всего направленность к ударению на последнем слоге у некоторых существительных во множественном числе. Так употреблявшееся еще в прошлом столетии слово «дóмы» со временем превратилось в «домá» (что в наши дни звучит вполне естественно), однако эта направленность продолжается с сохранением в некоторых случаях двоякого множественного числа, *учители — учителя, профессора — профессора, лекторы — лектора*, и пр. Дело, видно, идет к тому, что скоро узаконятся «печа», «портфеля» и «бюст-гальтера».

Такое же тяготение к ударению на последнем слоге во множественном числе можно наблюдать в словах «вор», «бор», «нора», «пора» (очевидно, по аналогии с довольно большим количеством слов на «ы», скажем, «дары», «пиры», «сады», «труды», «рабы», «жлобы», «столы», «волы»). И уж вовсе режет ухо ударение на конечном «ы» в словах иностранных. Так слышишь иногда «снобы́», «клубы́» (не в смысле «клубы дыма», конечно), «призы́» (и даже «приза́»).

То же тяготение к ударению на конечном «ы» встречаем в кратких прилагательных «правы́», «добры́», «щедры́», и т.д. Те, кто произносит «правы» с ударением на последнем слоге, не помнят, наверно, слова Чацкого: «*Вы правы, из огня тот выйдет невредим, кто с вами день пробывать успеет*», или слова Татьяны к Онегину «*Вы были правы предо мной...*», или северянинское «*Виновных нет, все люди правы В такой благословенный день...*»

Правда, в знаменитой песне Юза Алешковского «*Товарищ Сталин, вы большой ученый*» слово «правы» употреблено с ударением на «ы» («*Но прокуроры, кажется, правы*»), однако это просто стилизация речи не слишком грамотного зека.

Письмо в редакцию

«ГДЕ-ТО ЧАСОВ В ДЕВЯТЬ ВЕЧЕРА...»

В наши дни, когда проблема невероятного оскудения русской речи выглядит особенно острой, мне, читателю и радиослушателю, равнодушно к судьбе России и ее языка, хотелось бы поделиться некоторыми печальными наблюдениями.

Собственно, оскудение языка и речи происходило всегда. В нашем столетии оно пошло особенно широко в связи с развитием промышленности и распадом крестьянства. В итоге речь крестьян утрачивала образную сочность, а речь горожан крестьянскими выражениями и словами, как правило, не обогащалась.

Мало, кто помнит теперь, имена родства и их значение — «деверь», «шурин», «невестка», «золовка», «сноха» и т.д. Или, скажем, такие народные выражения, как «Семь верст до небес, и все лесом», «Молодец дочерей отец». Зато немало таких, кто говорит с претензией на изыскан-

Огрубление языка можно заметить в тяготении к звуку «ё». Нередко слышишь: «современный», «осёдлость», «всёй». Помню, как в седьмом классе школы мы запрезирировали учителя (заменившего нашего любимого математика) за то, что он сказал «апофёма». Мы так его и прозвали — «апофёма».

Путаница происходит, по всей вероятности, оттого, что в 18 году отменили ять. До 18 года вряд ли кто-либо произнес бы «осёдлый», так как это слово писалось через «ять». Именно благодаря «яти» четко различались «е» и «ё». Также вы не услышали бы «намереваться» (закрепленное, увы, в его нелитературном варианте в современных толковых словарях), ибо корень «мер» в этом случае писался через «ять», а на «ять» обычно падало ударение. **У Даля читаем: намереваться, пск. намеряться, хотеть, желать, быть немёрну.**

Четко различались «всѣ» и «все» (скажем, «всѣ тѣ, которые...» и «все тѣ же самые»). Диктор ни разу не ошибся бы в произнесении этих слов.

С отменой «яти» исчезло ощущение родства русского языка с другими славянскими языками, ощущение происхождения слов, восприятия языка, как организма, развивающегося в истории.

Отмена «и с точкой» также свидетельствует о пренебрежении к истории языка. Путаются слова «Мир» и «мир». Некоторые полагают даже, что «Война и мир» Маяковского называется так же, как «Война и мир» Толстого.

И отмена твердого знака на конце согласной, который, казалось бы, уж и вовсе не нужен, тем не менее также достойна сожаления, ибо теперь неграмотный человек, постигающий грамоту, не застрахован от смягчения конечных согласных, скажем, в таких словах, как «уйдут», «вернут», «принесут» и пр.

Графика иногда тоже довольно дурно влияет на произнесение. Например, в словах «жюри», «парашют», «брошюра» многие произносят «ю». Объясняется это, очевидно, тем, что ни в семье, ни в школе никогда не обращали внимание на то, что в русском языке, в отличие от других славянских и прочих европейских языков, гласные после

шипящих не сужаются. По той же причине мы слышим иногда сужение «и» после «ц» в словах «революция» и «медицина».

В русском языке оно должно звучать как «ы». Такое же сужение гласного после шипящего (очевидно под влиянием неверной произносительной манеры в словах «жюри», «брошюра» и «парашют») мы слышим иногда в тех словах, где графика это не стимулирует, например, в слове «Азербайджан». И в самом деле, что это за «Азербайджан» такой!

А как некрасиво звучат иногда слова «уезжать», «приезжать», «подъезжать». В них слышится «зья», тогда как, во-первых, не может быть, как уже отмечено, «я» после «ж», и, во-вторых, по фонетическим законам русского языка «з» ассимилируется с «ж», и произносить следует «уезжать», «приежжать», «подьежжать», «ежжу».

Огрубление языка и речи заметно в способе произносить буквы русского алфавита «Ф» в утвердившихся акронимах «ФЗУ», «ФРГ», «ФБР», «ФСК», «ФСБ». Как же можно произносить «Фэ Зэ у», «Фэ эР Гэ», Фэ Бэ эР», «Фэ эС Ка», Фэ эС Бэ»? Нет в русском алфавите буквы «Фэ»! А все дикторы так говорят. И только покойный Анатолий Максимович Гольдберг, весьма популярный в шестидесятые и семидесятые годы обозреватель БиБиСи, говорил всегда «эф Эр Гэ».

И до чего ж некрасиво звучит акроним «США». По законам фонетики «с» должно сливаться с «ш», и произносить следовало бы «ШША». Но это не происходит, ибо тогда теряется смысл акронима. Чтобы выделить «С», норовящее слиться с «Ш», кое-кто произносит «СэШэА», а это и вовсе некрасиво. Как тут быть? Да очень просто: научиться произносить «эС-Ша-А». Все дело в привычке. И пора же перестать официальным учреждениям идти на поводу у неграмотных масс, как в случае с «Фэ-Зэ-У», «Фэ-эР-Гэ», и пр. Наконец, диктор или оратор может быстро произнести «Соединенные Штаты Америки». К сожалению, эти неправильности обрели права гражданства, что свидетельствует о некультурности советских государственных руководителей, которые, кстати, никог-

да не умели склонять числительные, особенно многозначные.

Что же касается обыностранивания, то оно происходило всегда. Известно, что, скажем, словосочетание «Студент медицинского (или: юридического, биологического, физического и пр.) факультета Петербургского Императорского Университета» представить себе в исконно русско-славянском виде невозможно, и что шишковские «мок-роступы» — нелепость. Однако в тех случаях, когда вместо иностранного слова вполне можно употребить добротное русское слово, отстоявшееся в языке, слово английское свидетельствует о дурнотонной американизации русской речи (что отражает американизацию российской жизни вообще), и, стало быть, об оскудении языка.

Зачем говорить «спонсор», «спонсорство», когда есть традиционные русские слова «попечитель», «попечительство», и что это за «брифинги» и «рейтинги», «имиджи» и «спикеры», «инвестиции» и «импичменты». Неужели в русском языке нет слов, которые выразили бы те же самые понятия!

Характерный пример того, как обыностраивание языка приводит к его оскудению, а заодно и к оскудению мышления, мы наблюдаем в слове «проблема», к которому свелись все его возможные синонимы — трудность, затруднение, беда, неприятность, забота, озабоченность, тревога и т.д. То же самое, кстати, наблюдается и во всех западных языках, где слово «проблема» стало всеобъемлющим. На днях в автобусе молодая женщина спросила своего хныкающего ползунка: «What's the problem?» Мне это сразу напомнило отмеченный Чуковским вопрос прохожего к маленькому мальчику: «По какому вопросу плачешь?»

Иногда слышишь по радио и телевидению, а также видишь в печати «продукты питания». Ужасное словосочетание! Лет сорок назад, когда я переводил книгу немецкого этнолога Ганса Дамма «Канака, люди южных морей» (Hans Damm, Kanaka, Menschen der Südsee) старый интеллигент академик Борис Васильевич Токарев на полях моей рукописи надписал: «Продукты питания не едят, а выбра-

сывают в выгребные ямы». Мне стало очень стыдно, и с тех пор я никогда это словосочетание не употребляю. Заменяю его на «продовольствие», «продовольственные продукты» или просто «продукты».

Широко распространилось слово «туалет». Это то, что можно было бы назвать псевдоэвфемизмом. Стали стесняться слова «уборная». Очевидно, от того, что, по мнению стесняющегося, «туалет», звучащий не по-русски, обозначает нечто более гигиеничное. Впрочем, это было всегда, всегда была мадам Ларина, которая звала Полиною Прасковью и произносила порой в нос русский «Н» как «Н» французский. Однако никогда прежде не было такой массовой мещанской стихии. Такая же псевдоэвфемистичность по части отхожего места наблюдается ныне и в немецком, и в английском. В Англии, где я живу, многие обнаруживают некоторую неловкость, когда спрашиваешь, где «lavatory» или «loo» и подчеркнуто отвечают: «toilet».

Оскудение языка можно наблюдать в универсальном употреблении слова «поскольку». Сегодня, как правило, все причинные союзы свелись к этому слову. А ведь есть еще такие, как «ибо», «так как», «потому что», «ввиду того, что» и, наверное, еще другие. «Поскольку» не заменишь разве что в обороте «Постольку, поскольку», в остальных случаях это слово свидетельствует об оскудении речи.

Американизацию русской речи мы наблюдаем также в произнесении некоторых географических названий с легкой, а вернее, нелегкой, руки некоторых радиостанций. Почему надо говорить «Перу́» и «Бóстон», когда в русском языке они всегда назывались «Пéру» и «Бостóн»? Помните, у Маяковского: *«А все-таки жаль перуанца. Зря ему дали галеру. Судьи мешают пенью и танцам. И мне, и вам, и Перу»*. Уж как ни кровожаден был наш лучший, талантливейший, а русский язык знал неплохо.

По стихам больших поэтов, кстати, в филологии принято устанавливать ударения. А разве мы танцевали под «вальс-бóстон»? Если по-английски «Бóстон», это не значит, что так и по-русски. А недавно стали говорить «Алма-Аты», очевидно, чтобы потрафить казахам.

В сталинскую эпоху заменили исконно русские названия кавказских городов Тифлис и Эривань местными названиями Тбилиси и Ериван, заодно и Гагры стали Гагрой. Разве это не пренебрежение традициями языка и культуры? Слава Богу, не заменили «Париж» на «Пари».

По радио западных стран нередко слышишь не собственные русскому языку обороты «Ранее в этом месяце», «Позднее в этом месяце», «В прошлом месяце», «Ранее сегодня», «Позднее сегодня» — все это вне традиции русского словоупотребления. По-русски следовало бы сказать «В первых числах...» и далее дать название соответствующего месяца. Либо — «В начале — допустим — сентября»... Либо «В середине» и т.д. «В течение...» и далее название месяца. Вместо «Ранее сегодня» — «Сегодня утром» или «Сегодня днем» в зависимости от времени сообщения.

Странное впечатление производит слово «где-то» в сочетании с каким-нибудь годом — «где-то году в сорок пятом», «где-то часов в девять вечера». Что это за дурацкая мода такая! «Где-то под Москвой», «где-то в Сибири» — это естественно, но временнóе «где-то» — непонятно, откуда и когда оно появилось.

Даже Окуджава в своей волшебной песне «Прощание с новогодней елкой» поет: «Даже поверилось где-то на миг...»

Путают нередко «одеть» и «надеть». И Окуджава, наш всенародно любимый поэт, опять-таки отражая весьма досадную речевую действительность, при жизни пел: «Дождусь я лучших дней И новый плащ одену». Эту особенность речевой действительности заметила еще Ахматова. О. Михаил Ардов в своей уникальной «Легендарной Ордынке» (Р.М. 21—27.5.1993) вспоминает ее слова «Одевать можно жену или ребенка, а пальто или башмаки надевают».

Наш другой замечательный поющий поэт, покойный Александр Аркадьевич Галич, в своей «Больничной цыганочке», давая точные речевые характеристики простому шоферу, тем не менее даже ему вкладывает в уста «надеваю», тогда как от человека социальных низов мож-

но было бы ожидать «одеваю». Но Галич, с присущим ему снобизмом в данном случае, видно, правдой жизни пренебрег ради бережности к языку. Изображая шофера большого начальника, Галич поет: «Надеваю я утром пижамочку, выхожу покурить в туалет» («туалет», кстати, тут у него, как и все остальное, кроме «надеваю», речевая характеристика предельно точная).

Коробит распространившееся в последнее время словосочетание «провести переговоры» («Сегодня в Баден-Бадене Ельцин провел переговоры с Колем»), и дошло даже до того, что стали говорить «провести телефонный разговор» («Вчера Гейдар Алиев и Тер-Петросян провели телефонный разговор»). Почему бы не сказать: «Сегодня в Баден-Бадене Ельцин вел (или «имел», или «у Ельцина были») переговоры с Колем». Все это звучит, как беспомощный перевод с английского.

Мое письмо, разумеется, не претендует на серьезный лингвистический анализ. В нем всего лишь попытка обратить внимание на дурной стиль, попытка призвать к бережному обращению с родной речью.

Владимир ВИШНЯК

CASA DE COLON

Читатель, вероятно, обратил внимание, что в серии вернисажей «Время и мы» неким особняком стоят темы, про которые можно было бы сказать, что они располагаются на перекрестках искусства и истории, искусства и жизни. Темы эти — не живопись и не архитектура, но они по-своему отражают духовный мир людей, их прошлое и настоящее и чаще всего связаны с малоизвестными уголками нашей планеты или явлениями мировой культуры (иногда это искусство прошлого, иногда чудом сохранившиеся памятники архитектуры, иногда дожившие до наших дней остатки древних цивилизаций). Чем привлекают они редакцию? Один израильский историк на мой вопрос: для чего существует наука «история»? — ответил так: «Потому что это интересно!» Примерно то же самое и с этими темами: редакция обращается к ним потому, что это интересно. Многие из читателей, возможно, помнят нашу публикацию о знаменитом «Помукале» — расположенном в Турции городе трех цивилизаций (Рима, Византии и Эллады). Или, например, сохранившиеся в столице Венгрии архитектурные памятники Будды, помогающие понять причудливые пути истории мировой культуры.

Надеемся, что вызовет у читателей интерес и сегодняшний Вернисаж, посвящаемый затерявшемуся на одном из Канарских островов Лас Пальмас музею «Casa de Colon». Музей (или Дом) Колона. Чем прославился этот человек, имя которого я слышал впервые в жизни? И при чем тут Канарские острова? И почему вдруг Лас Пальмас? Из приобретенного в гостинице справочника «Гран Канариа» я не без интереса узнал, что адмирал Дон Кристоаль Колон, по-видимому, настолько почитаемый на Канарских островах, что в его честь был открыт специальный музей,

— это никто иной, как Христофор Колумб. (А Кристоаль Колон — это испанское имя Колумба.)

Итак, путешествия Колумба к Новому свету, первое из которых завершилось 12 октября 1492 года высадкой на острове, названном Колумбом Сан-Сальвадор, проходили именно через Канарские острова, губернатор которых Антонио де Торрез был одним из друзей Кристоаля Колона. Здесь не место описывать роль Канарских островов в развитии торгового мореплавания конца пятнадцатого века, их необыкновенно удачное торговое и географическое расположение: приведем лучше один интересный факт того времени. Как утверждают достоверные источники, на пути к Новому Свету на колумбовской каравелле «Ла Пинта» был поврежден руль, и Колумб вынужден был пришвартоваться в порту Сан Себастьяна на острове Гомера. Именно в те дни у него впервые зародилась привязанность к Канарским островам, куда отныне он заходил заправляться водой и провизией и вообще передохнуть перед каждым из своих плаваний к Новому Свету. Что же представляет собой «Casa de Colon» (в стенах которого я провел один из апрельских дней)? Большое белое здание, исполненное в типично испанском стиле, фасад которого привлекает внимание двумя деревянными балконами и великолепно инкрустированным в готическом стиле главным входом. Над ним исполненное опять же в готическом стиле окно, со многими мифологическими сюжетами, а на самом верху — гербовый щит. Здание это, существующее по крайней мере с 15 века и впоследствии пережившее несколько реставраций, как раз и принадлежало военному губернатору Канарских островов. Именно здесь и останавливался Колумб.

На внутреннем дворе: выполненная в стиле испанской готики колоннада с балками, пушка образца 15 века. У задней части здания, выходящей на тихую безлюдную площадь, расположен маленький поэтичный фонтан, и тут же небольшая церквушка 17 века, башня которой увенчана средневековым колоколом и внутри которой расположен главный алтарь (Edmida de San Antonio Abad). Согласно источникам, именно у этого алтаря адмирал Кристоаль Колон участвовал в церковных мессах перед отплытием в очередное плавание к Новому Свету.

Экспонаты «Casa de Colon» обладают почти непередаваемым обаянием подлинности. Запах времени, настроение эпохи. Буквально во всем. Вот передо мной модели колумбовских каравелл «Санта Мария» (флагманское судно), «Ла Пинта» и представленная едва ли не в натуральную величину «Ла Нинья», на борт которой я не преминул залезть.

На стенах — карты всех четырех плаваний Колумба к Новому свету: первое — 1492 год, открытие Багам, Сан-Сальвадора.

1493-й год (во флотилии уже 17 судов, экипаж — 1500 человек), 1498 год — открытие Южной Америки и, наконец, четвертое плавание 1502 год, — когда во время крушения Колумб теряет все свои корабли.

В залах музея — словно вывезенные из 15 века песочные часы, навигационные приборы, обмундирование моряков, оружие, гигантские якоря, гербовые щиты — и что самое интересное: вахтенный журнал Колумба с записью, сделанной 12 октября 1492 года, частичный перевод из которого приводится в изданной недавно в Москве «Хронике человечества» Бодо Харенберга. Вот несколько строк, принадлежащих Колумбу и относящихся к моменту великого открытия:

«Так как каравелла Пинта была быстроходнее двух других кораблей и шла впереди нашего судна, там раньше увидели берег... Первым увидел землю матрос по имени Родриго да Триана, хотя я еще раньше, в десять вечера, заметил с кормовой надстройки нашего корабля свет... Я был твердо убежден в том, что нахожусь недалеко от земли»

Как мы узнаем из того же вахтенного журнала, — это были Багамские острова, высадка на которые 12 октября 1492 года ознаменовала собой открытие Америки.

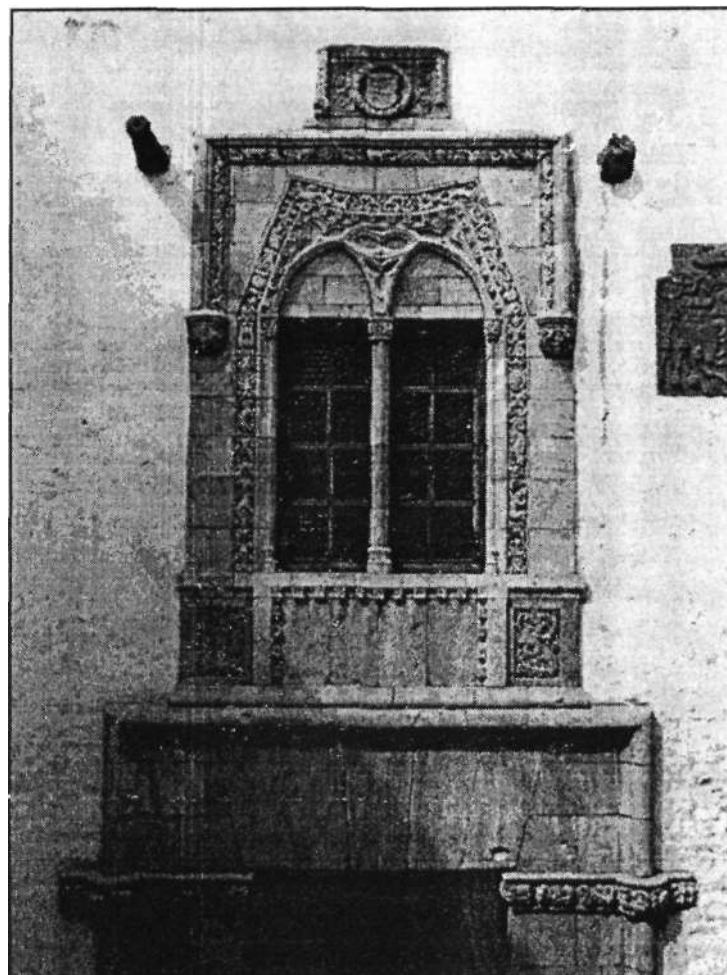
В. ПЕТРОВСКИЙ



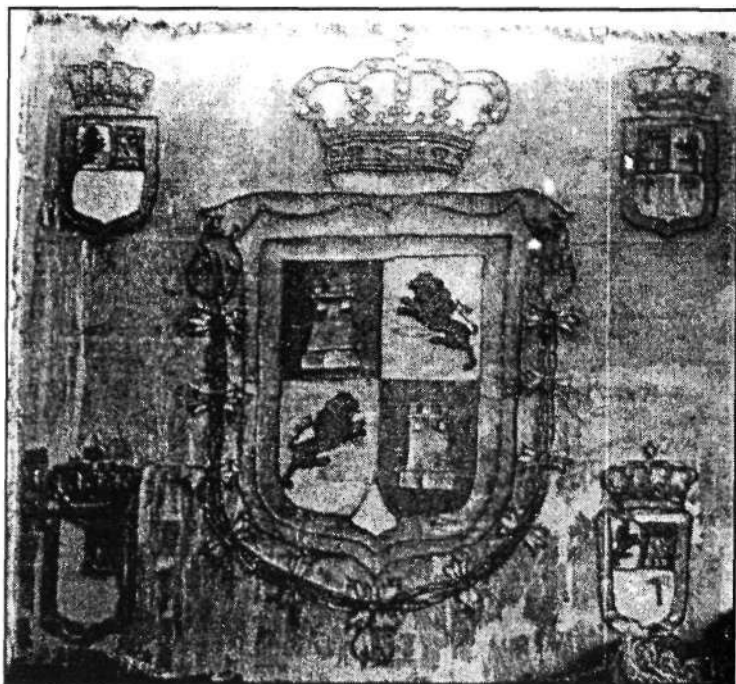
Колумб. Приписывается Себастьяно дел Пьомбо, 16 век



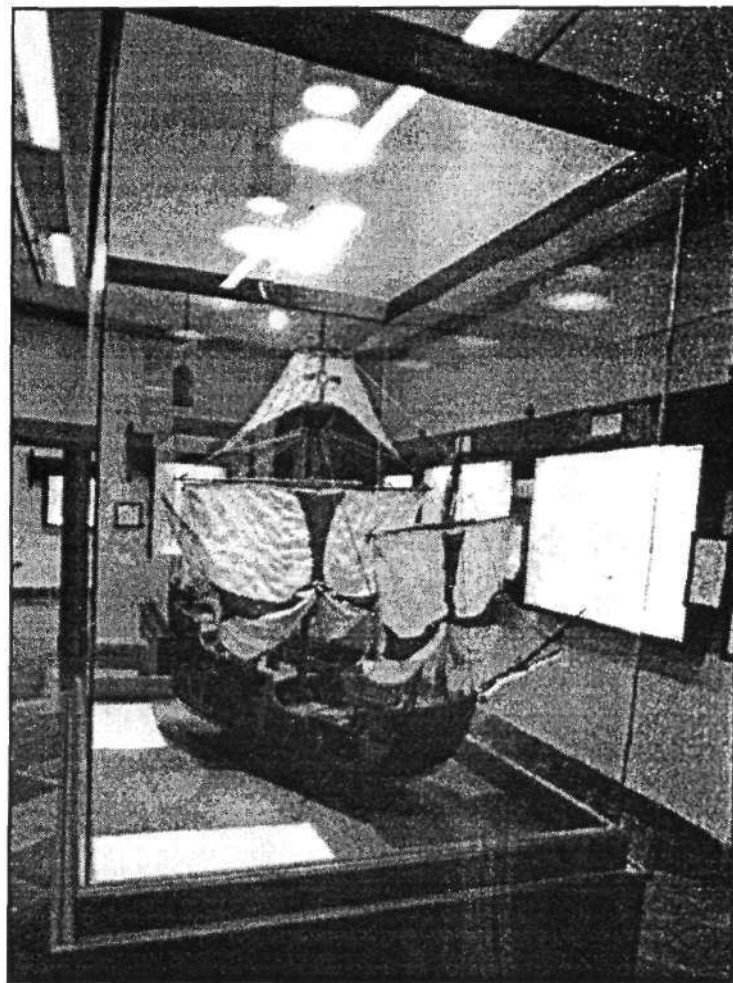
Фасад музея Casa de Colon



Инкрустированное в готическом стиле окно над главным входом



Старинный гербовый щит (Casa de Colon)



Модель одной из каравелл Колумба



Церковь Edmita de San Antonio Abad



Вход в музей с декорированным порталом

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ИННА ЛЕСОВАЯ. Родилась в 1947 году в Киеве. Окончила факультет графики Московского полиграфического института. В 1975 году вступила в Союз художников. Занимается живописью, графикой, разрабатывает модели кукол для детей.

В последние годы написала несколько повестей («Вверх по Фроловскому спуску», «Верочка», «Четыре воспоминания о детстве», «Следствие») и роман («Бессарабский романс»). Периодически публикуется в журнале «Время и мы».

РУФЬ ЗЕРНОВА. Родилась в 1919 году, в Тирасполе. В 1936 году окончила десятилетку и уехала в Ленинград. Поступила в ЛИФЛИ (Ленинградский Институт Философии) на романское отделение. Весной 1938 года попала в число отобранных добровольцев, которых послали переводчиками в Испанию, где тогда шла гражданская война. Во время военных действий была ранена.

В 1949 году вместе с мужем И.З. Серманом была арестована и за антисоветскую агитацию приговорена к 10 годам лишения свободы (муж — к 25 годам). В 1954 году оба были освобождены. Писать начала в лагере. Первый рассказ «Тонечка» был опубликован в первой книге рассказов, в 1963 году. По этой книге была принята в Союз Советских писателей, из которого в 1976 году вышла и уехала в Израиль, где и живет в настоящее время.

ВЛАДИМИР ДОБИН — поэт и журналист. Родился в Москве в 1946 году. Автор трех поэтических книг («Христос», Москва 1989 г., «Полдень», Тель-Авив, 1995 г., «Поздний свет», Тель-Авив, 1995 г.). Его стихотворения и поэмы опубликованы во многих российских изданиях, в том числе в журнале «Смена», альманахе «Поэзия», в «Литературной газете», «Московском комсомольце», в «Антологии русского верлибра» (Москва, 1991 г.), в коллективных сборниках.

С 1992 года Владимир Добин живет в Израиле, где его произведения опубликованы в журнале «Алеф», альманахе «При свецах» (Тель-Авив), в различных газетах.

Владимир Добин — член Союза писателей Израиля.

Руководитель израильского отделения журнала «Время и мы».

ГРИГОРИЙ МАРК. Родился в 1940 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский электротехнический институт. Активно участво-

вал в диссидентском движении. Печатался в «Литературной газете», «Дружбе народов», «Звезде», в журнале «Время и мы» и др. Вышло два поэтических сборника.

НОЙ РУДОЙ, 1921 г. рождения, инвалид Второй мировой войны, автор 4 поэтических книг, «Современник» (Утоление боли, 1981), «Советский писатель» (Возраст, 1985), «Военное издательство» (РУБЕЖ, 1986), «Прометей» (Короли, короли, 1990). Его стихи неоднократно публиковались в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Юность», и переводились на иностранные языки.

Ной Рудой — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, автор около 300 научных работ, в том числе 5 монографий. В США живет полтора года.

ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ. Один из основателей советской социологии в 60-е годы в России. Стал известным в стране своими национальными опросами общественного мнения в 60—70-е годы. В эти годы он опубликовал около 10 книг и множество статей, в частности, в «Литературной газете». В 1972 году эмигрировал в США, где стал одним из ведущих экспертов по России. В частности, на протяжении многих лет он консультирует американское правительство по проблемам России. Работая по вопросам социологии в Мичиганском государственном университете, он опубликовал за время деятельности в Америке 12 книг и десятки статей. Его статьи печатались в New York Times, Washington Post и других ведущих американских газетах.

АНДРЕЙ ГРИЦМАН. Родился в 1947 г. в Москве. Окончил 1-й Московский медицинский институт. С 1981 г. живет в США. Работает врачом, а также преподает. Поэт, переводчик и эссеист. Пишет по-русски и по-английски. Публикуется в русских зарубежных изданиях. Участник многих американских поэтических семинаров и фестивалей. В 1995 г. поступил в Литературный институт на отделение поэзии Университета Норвич в Вермонте. Статьи по современной американской поэзии. Недавно в издательстве «Петрополь» вышел поэтический сборник Андрея Грицмана «Ничейная земля».

ЛЕВ АННИНСКИЙ. Родился в 1934 году в Ростове-на-Дону. В 1956 году окончил филфак МГУ. Автор пятнадцати книг, среди которых: «Ядро ореха» (1965), «Обрученный с идеей» (1971, 1986, 1988), «30-е—70-е» (1978), «Лев Толстой и кинематограф»

(1980), «Лесковское ожерелье» (1982, 1986), «Локти и крылья» (1990), «Билет в рай» (1989) и многие другие. Один из ведущих авторов журнала «Время и мы».

МАРК ГОЛИН. Окончил Рижский медицинский институт в 1965 году. Работал врачом-психиатром в Латвии. С 1983 г. ведет частную психиатрическую практику в Нью-Джерси.

ДЖОЗЕФ МИТЧЕЛЛ родился в 1908 году в Фермонте, в Северной Каролине. В 1929 году он приехал в Нью-Йорк. В течение 8-ми лет работал газетным репортером и писал рассказы. В 1937 году поступил на работу в журнал «Нью-Йоркер», с которым оставался связанным всю жизнь, он писал, главным образом, биографические очерки для раздела «Профили». С 1943 по 1965 было издано 4 сборника его очерков и рассказов. Полный сборник его произведений «Up in the Old Hotel» («Наверху в старом отеле») вышел в 1992. Д. Митчелл был Председателем Интернационального Общества по Изучению Жизни и Языка Цыган и членом Комитета по Охране Памятников Архитектуры Нью-Йорка. Он умер 24-го мая 1996 года.

ЛИЯ ЛЕВИНА-БРОДСКАЯ. Окончила МГУ, отделение Истории искусства. Работала в Музее Изобразительных Искусств и в Институте Истории Искусства Академии Художеств. Автор книг: «Сюй Бэй-хун» (1957) — о китайском художнике 20-го века. «О рисунке» (1964) — очерк истории западно-европейского и русского рисунка. В 1974 эмигрировала в США. Преподает в Русской Школе Норвичского университета в Вермонте.

ВАСИЛИЙ АГАФОНОВ. Родился в Москве в 1942 году. Получил биологическое и математическое образование в Московском университете. Писатель и журналист. Опубликовал несколько романов и книгу рассказов. Печатался в журналах «Континент», «Стрелец» и других периодических изданиях эмиграции. Регулярно выступает со статьями на темы российской и эмигрантской жизни в газете «Новое русское слово».

НОВАЯ КНИГА СТИХОВ

Ирины Машинской **ПОСЛЕ ЭПИГРАФА**

"...Музыка "после музыки" — после звука и после тишины. Не "лучшие ноты на лучших местах", не "лучшие слова на лучших нотах"— музыка неровного дыхания, на которую и зазвучит отголосок у читателя стихов, т.е. по определению не спортсмена и не любителя бега трусцой, а человека тоже с неровным дыханием..."

"...Это как подслушанные трамвайно-вагонные разговоры: без начала, без конца, а уж как интересно!.. "

Наталья Горбаневская

Заказы можно направлять по адресу:

"Слово — Word"

139 E.33rd Street #9 M

New York, NY 10016

tel. (212) 684 - 2356

тел. в Москве 705 — 38 — 06

в С.Петербурге 235-47-98

цена \$10



В издательстве
журнала «ВЕСТНИК»
вышла новая книга —
Владимир ЛЕВИН и Давид МЕЛЬЦЕР
**«ЧЕРНАЯ КНИГА С
КРАСНЫМИ СТРАНИЦАМИ»**

В книге впервые раскрывается деятельность еврейских подпольных организаций, восстания узников в Несвиже, Деречине, Лахве, организация массовых побегов евреев из гетто Минска, Новогрудка, Мира, Кобрин и др. В книгу включены документы о геноциде немцев в Белоруссии. Многие из них, почерпнутые в Национальном архиве Республики Беларусь, в рассекреченной части архива КГБ РБ и других, впервые вводятся в научный и литературный оборот. Наиболее ценной частью книги являются воспоминания немногих оставшихся в живых свидетелей страшной трагедии евреев Белоруссии, участников еврейского Сопротивления, живущих сейчас в США, Израиле и в Республике Беларусь. В книге рассказывается о праведниках, которые были готовы заплатить жизнью, спасая евреев. Оказывается, были целые деревни праведников.

«...Книга эта должна быть в каждой еврейской семье, и читать ее необходимо не только тем, кто все это пережил, но — что еще важнее — молодым, кому жить, творить... А тот, кто не может прочесть эти горькие и гордые страницы из-за незнания русского языка, пусть всмотрится в прекрасные лица, в умные и глубокие, грустные и веселые глаза мужественных и добрых евреев на многочисленных фотографиях, воспроизведенных в книге.» (С. Вигучин, НРС).

В книге 590 страниц, 50 фотографий и иллюстраций. Книга издана при содействии Американского фонда Memorial Foundation for Jewish Culture. Цена книги **\$15.00**. Стоимость пересылки внутри США — **\$2.00**, в другие страны — **\$3.00**.

Подписывайтесь на всеамериканский двухнедельный журнал на русском языке «Вестник»! «Вестник» выписывают в 48 штатах США, в Канаде, России, Европе, Израиле, Австралии. Стоимость подписки на год (26 журналов) в США и Канаде — **\$48**, на полгода — **\$25**. Во всех остальных странах стоимость подписки на год **\$59**, на полгода — **\$36**.

Высылаем бесплатные ознакомительные номера!

Желающие заказать книгу, или подписаться на журнал могут прислать чек или мани-ордер на адрес редакции: **Vestnik, 6100 Park Heights Ave., Baltimore, MD 21215-3624, USA.**

Принимаем основные кредитные карты.

Справки и заказы по тел. **(410) 358-0900**.



Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ТЕАТР АБСУРДА

**Комедийно-философское повествование о
моих двух эмиграциях. Опыт антимемуаров**

СОДЕРЖАНИЕ:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

Нью-Йорк; Правительство в изгнании; Шинау; Израиль; Бейт-Бродецкий; Рувен Веритас и другие; Снова Нью-Йорк; «Свободный мир»; Мой иностранный паспорт; Дядя Сол; Под знойным солнцем Тель-Авива; Что нужно бедному еврею?; Дом, в котором я жил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП «АВРОРЫ».

Инженер Сэм Житницкий; «Оплот Израиля»; Мы жили... Мы ждали; Судьбоносный день; Сага о черемухе.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62

Мой Атлантик-Сити; Лорд Шацман и его персонал; Про Мейерхольда и Ворошилова; Странная штука — жизнь; Лефортовская одиссея; Ленин-Бланк и наша эмиграция; Мать и мачеха; Пир победителей; Облака плывут, облака.

Книгу можно заказать в редакции «Время и мы».

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel. (201)592-6155**

Цена книги 10 долларов.
В книге 254 стр.

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

ПОКИНУТАЯ РОССИЯ. ЖУРНАЛИСТ В ЗАКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ

Второе издание книги Виктора Перельмана, которая в 1976 году вышла очень маленьким тиражом в Израиле, полностью раскуплена и уже давно исчезла с книжного рынка. Книга выходит в новой редакции, с предисловием Ефима Эткинда и послесловием автора. Автор книги, главный редактор журнала «Время и мы» и в прошлом известный советский журналист, рассказывает о своей жизни в СССР. Бывший корреспондент Московского радио, фельетонист газеты «Труд», спецкор и заведующий отделом информации «Литературной газеты» пишет о нравах советской печати, раскрывает малоизвестную широкому читателю кухню советских газет и руководящего ими партийного аппарата.

Значительная часть книги посвящается жизни советских писателей и «Литературной газеты», которую автор называет «Гайд-парком при социализме». Он рисует образы известных советских писателей и журналистов — Александра Маковского, Константина Федина, Сергея Михалкова, Леонида Соболева. Федора Абрамова, Алексея Аджубея и многих других. В книге рассказывается о нравах высшего суда партии — Комитета партийного контроля, — через который в годы молодости лично прошел автор книги. Он раскрывает процветавший там антисемитизм, рисует образ одного из тогдашних вождей страны, председателя КПК Н. М. Шверника, показывает обстановку ненависти и лжи, царившую в высшем суде партии.

По существу — это исповедь бывшего советского журналиста, который много лет служил, как он сам пишет, идолам лжи и который прошел долгий путь мучительного раздвоения и внутренней борьбы, прежде чем окончательно порвал с советским режимом.

В книге 320 страниц, цена книги — \$16. Заказы и чеки направлять по адресу:

Time and We, 409 Highwood Avenue, Leonia, N.J. 07605

Владимир СОЛОВЬЕВ, Елена КЛЕПИКОВА

БОРЬБА В КРЕМЛЕ -

ОТ АНДРОПОВА ДО ГОРБАЧЕВА

Вслед за американским изданием (издательство "Додд. Мид"), весной 1986 года "Время и мы" выпустило книгу Владимира Соловьева и Елены Клепиковой "Борьба в Кремле - от Андропова до Горбачева".

Для русского издания авторы предоставили дополнительные материалы, не вошедшие в английское издание книги.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДЕЛЫ ПОНИМАНИЯ ЧТО МИР ЗНАЕТ О КРЕМЛЕ И ЧТО
КРЕМЛЬ - О МИРЕ

О ТОМ КАК СТРАНА УПРАВЛЯЛАСЬ СО СМЕРТНОГО ОДРА
ДУЭЛЬ У ГРОБА АНДРОПОВА, ИЛИ О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО
В КРЕМЛЕ ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ МЕЖДУ ЕГО СМЕРТЬЮ И ЕГО
ПОХОРОНАМИ

ИНТЕРМЕЦЦО С КОНСТАНТИНОМ ЧЕРНЕНКО

ТАЙНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИМПЕРИИ - КГБ

ГАМЛЕТОВЫ СОМНЕНИЯ КРЕМЛЯ: КАК БЫТЬ С ПОЛЬШЕЙ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ КРЕМЛЕВСКИХ МАФИЙ, ИЛИ ПОЧЕМУ
В КРЕМЛЕ НЕТ ЕВРЕЕВ, ЖЕНЩИН, МОСКВИЧЕЙ И ВОЕННЫХ?

КОРОЛЬ УМЕР - ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТАВРОПОЛЬСКИЕ ПЕНАТЫ

БАЛОВЕНЬ ПОЛИТБЮРО

ТЕНЬ СТАЛИНА НАД КРЕМЛЕМ

КРЕМЛЬ, ИМПЕРИЯ И НАРОД, ИЛИ ПАРАДОКС НАРОДОВЛАСТИЯ

Цена книги — 16 долларов.

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We

409 Highwood Avenue

Leonia, NJ 07605, USA

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "АНТИКВАРИАТ"

- И. АКСЕНОВ. Пикассо в окрестности. — 12 долларов.
 М. БАХТИН. Творчество Франсуа Рабле и народная культура
 средневековья и ренессанса. — 36 долларов.
 А. БЕЛЫЙ. Христос воскрес. — 5 долларов.
 К. ВАГИНОВ. Труды и дни Свистонова. — 10 долларов.
 Е. ДУМБАДЗЕ. На службе Чека и Коминтерна. — 10 долларов.
 П.П. ЗАВАРЗИН. Работа тайной полиции. — 10 долларов.
 А. КОТОМКИН. О чехословацких легионерах в Сибири.
 — 10 долларов.
 П.Н. КРУПЕНСКИЙ. Тайна императора. — 7 долларов.
 В.И. ЛЕБЕДЕВ. Борьба русской демократии против больше-
 виков. — 12 долларов.
 Н. РЕЗНИКОВА. Пушкин и Собоньская. — 5 долларов.
 А.РЕМИЗОВ. Пляс Иродиады. — 12 долларов.
 И. СЕВЕРЯНИН. Колокола собора чувств. — 5 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. Ход коня. — 12 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. Гамбургский счет. — 15 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. Сентиментальное путешествие.
 — 20 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. Техника писательского ремесла.
 — 10 долларов.
 Э. и О. ШТЕЙН (составители). Чтобы Польша была Польшей.
 — 9 долларов.

Готовится к печати:

В. КРЕЙД (составитель и автор комментариев). Георгий Ива-
 нов — Несобранное. Ориентировочная цена — 25 долларов.

Деньги и чеки присылать по адресу:

E.SZTEIN'S ANTIQUARY

594 Chestnut Ridge Rd.

Orange, CT 06477. USA.

АНДРЕЙ ГРИЦМАН

«НИЧЕЙНАЯ ЗЕМЛЯ»

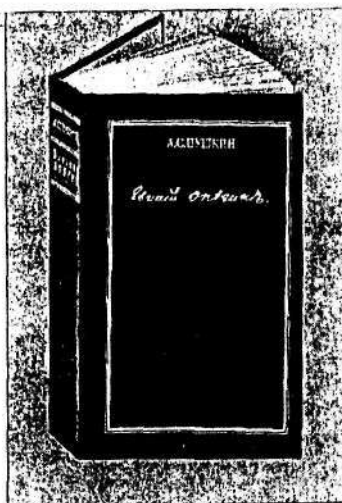
Поэтический сборник

Первая книга автора. Сборник составляют вы-
 бранные стихи, в основном, написанные в Америке
 за последние 5-6 лет. В сборнике три части: стихи,
 связанные с Москвой, «личные» стихи и нью-йоркс-
 кий цикл. Основная энергия стихов этого периода —
 жизнь между двумя мирами. Включено также не-
 сколько свободных переводов из современной аме-
 риканской поэзии. Автор — поэт и эссеист, занима-
 ется американской поэзией. Многие стихи, вошед-
 шие в этот сборник, были опубликованы в русско-
 язычных изданиях в США, а также в России.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПЕТРОПОЛЬ»,
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ, 45 СТР.

Книгу можно заказать в США по адресу:
 1218 Emerson Ave., Teaneck, NJ 07666,
 или в России в издательстве «Петрополь»,
 Санкт-Петербург, 189620,
 Г.Пушкин, 2, ул. Ломоносова, 30.

Цена книги в США \$4.



Издательство „АТРИУМ“
предлагает

вниманию коллекционеров
и любителей книжных редкостей
издание романа А.С.ПУШКИНА
„ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН“

Текст романа сопровождается
серией новых иллюстраций художника А.КОСТИНА;
впервые публикуемое
цветное факсимильное воспроизведение
рукописи „осьмой главы“;
фундаментальный комментарий
известного семиотика Ю.М.ЛОТМАНА.

Общий объем — 752 стр.
Тираж книги — 5000 экз.
999 экземпляров номерные

Контактный тел. (095) 258-1992

ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» - 1997

УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 63 долларов, с целью экономической поддержки редакции — 69 долларов; для библиотек — 94 доллара.

Цена в розничной продаже — 19 долларов.
Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, чеки высылаются по адресу: «Time and We».

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, NJ 07605, USA
TEL: (201) 592-6155

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия
Имя
Адрес

Подписной период
Прошу оформить подписку на журнал «ВРЕМЯ И МЫ» на
год. Высылать с номера Журнал высылать обычной (авиа)
почтой по адресу:

Подпись

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

MAIN OFFICE

409 Highwood Avenue, Leonia, NJ 07605, USA

(201) 592-6155

OCR и вычитка - Давид Титиевский, сентябрь 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

На первой странице обложки:

коллаж Вагрича Бахчаняна.

На четвертой странице обложки:

Внутренний двор Музея «Casa de Colon».

